РОДНАЯ ГАЗЕТА
№7 (701) · 1972

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

БЛОКАДА

О третьей книге романа А. Чаковского „БЛОКАДА"

Две предыдущие книги романа Александра Чаковского „Блокада" выходили в 1969 и 1970 годах. Первая книга включала довольно значительный отрезок времени — от середины 1940 года до начальных дней Великой Отечественной войны; вторая книга была посвящена изображению военно-политических событий на советско-германском фронте за период с конца июня по 9 сентября 1941 года.

Предлагаемая вниманию читателей „Роман-газеты" третья книга романа „Блокада" охватывает — по времени — еще меньший период: с 9 сентября по 5 октября. Именно в эти дни, выполняя приказ Гитлера о захвате Ленинграда, генерал фон Лееб бросил на штурм свои армии и танковые корпуса, стремясь мощным ударом наземных войск, при массированной бомбардировке города с воздуха, с ходу захватить важный военно-стратегический объект.

Художественный анализ событий — политических, дипломатических, военно-стратегических — основывается в романе „Блокада" на прочном фундаменте: автор дает широкую панораму обороны Ленинграда, показывает героизм армии и населения города, действия верховного и фронтового командования.

Новая книга о Великой Отечественной войне — произведение с большим историко-политическим размахом — содержит прямую публицистическую полемику с зарубежными фальсификаторами истории, которые нарочито умалчивают о героизме советских людей, пытаются свести итоги войны лишь к просчетам главарей третьего рейха, клеветнически толкуют действия советского командования и партийных органов. Полемика лежит и в основе концепции произведения. Так, когда командующий Ленинградским фронтом генерал армии Г. К. Жуков, анализируя ход боевых операций, разгадывает замысел генерала фон Лееба, когда в быстро меняющейся фронтовой обстановке Военный Совет Ленинградского фронта предвидит каждый новый маневр немецкого командования и заранее готовит отпор врагу на решающих участках, — мы видим силу и превосходство советской полководческой школы. Командиры этой школы, опираясь на героизм армии и народа, срывали заранее разработанное гитлеровцами „расписание войны"; проницательные мысли и действия Советского командования переданы в романе живо, как бы в процессе их рождения.

В связи с „Блокадой" возникает немало соображений, касающихся жанра социально-политического романа. Все очевидней в нашей литературе раздвигаются границы художественного видения событий минувшей войны — от солдатского окопа до штабов, в которые сходились все нити и в которых решались в неразрывном единстве проблемы государственных масштабов. Это закономерно: из года в год растет интерес к деятельности известных исторических лиц, и поэтому естественно стремление писателей анализировать историю во всех ее проявлениях.

Вводя в роман немало исторических личностей, А. Чаковский старается избегать их сюжетного соединения с вымышленными героями. Например, Сталин, Жданов, Ворошилов, Шапошников, нарком Военно-Морского Флота Кузнецов по ходу действия романа встречаются в основном с тем кругом лиц, с которыми они действительно могли видеться и обсуждать военные и политические дела. Исключение из этого правила — вымышленный образ секретаря горкома партии Васнецова, однако и за ним легко угадывается реальное лицо. Несомненный творческий интерес представляет также и то, как автор „Блокады" группирует и монтирует в художественном сюжете факты из мемуарных источников, — конечно, с писательским осмыслением их.

Читая третью книгу романа, убеждаешься, как много узнал автор у живых участников событий, причем „выспрошены" не только одни факты, но через них, с их помощью, поняты психологические реакции людей на совещаниях, в отдельных беседах, в моменты спокойные и тяжелые, в ситуациях устойчивых и тревожных. Интересно отметить и то, что от одной книги романа к другой автор постепенно обретает все большую уверенность психолога: обстоятельно изображены в третьей книге романа Сталин, Жданов, Шапошников, Жуков и другие исторические лица, причем художественное развитие этих образов основывается прежде всего на психологических характеристиках.

В романе действуют и представители старой рабочей гвардии — бывшие красногвардейцы-питерцы; вместе с рабочими нового поколения, интеллигенцией, кадровыми военными, в одном солдатском строю сражаются они у стен родного города. Все эти люди — живой мысли, твердой убежденности, самоотверженности, беззаветного героизма. Через их характеры и судьбы мы узнаем особенности обстановки на фронте, следим за напряженной жизнью на ленинградских предприятиях, которые даже под губительным огнем снарядов и бомб продолжали давать фронту танки, пушки и другую боевую технику.

При подходе к фигурам из вражеского лагеря автор не упрощает их, не преуменьшает военной силы гитлеровских армий. Главы романа, где дается анализ преступной политики правящей верхушки фашистской Германии, служат не только тому, чтобы дать максимально широкую картину первых месяцев войны, но и раскрывают непримиримую борьбу идеологий, военных доктрин, социальных систем.

...Итак, роман „Блокада" движется развернутым фронтом. В трех книгах идет еще только сорок первый год, овеянный тревогами, гудением огня и брони. Но уже сейчас очевидно, что автор все основательнее овладевает материалом и в дальнейшем, надо надеяться, будет обогащать накапливающийся в процессе работы творческий опыт.

Виктор ПАНКОВ

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№7(701)
1972
ИХЛ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

БЛОКАДА

РОМАН

Книга третья

Глава I

Ранним сентябрьским утром 1941 года с одного из ленинградских аэродромов поднялся самолет и взял курс в сторону Ладожского озера.

Небо было покрыто рваными облаками. Накрапывал мелкий осенний дождь.

Оставшиеся на летном поле люди некоторое время стояли неподвижно, провожая тревожно-настороженными взглядами низко летящий «дуглас»...

В пассажирском отделении самолета, в ближайшем к кабине пилотов кресле, сидел высокий сухощавый человек в адмиральской форме — нарком Военно-Морского Флота Николай Герасимович Кузнецов.

Положив на сиденье соседнего кресла портфель и фуражку, он повернулся к окну, раздвинул занавески. Самолет летел низко, едва не задевая крыши изб и кроны деревьев.

Вскоре сквозь мутный плексиглас Кузнецов увидел впереди зеркальную гладь огромного, точно море, озера.

«Ладога... — мысленно произнес Кузнецов и повторил с глубокой горечью: — Ладога!..»

Вот уже несколько дней только по этому суровому озеру мог сообщаться со страной блокированный с суши Ленинград. Вода и воздух — других путей отныне не существовало.

Книга первая опубликована в «Роман-газете», в №№ 11, 12 за 1969 год; книга вторая — в № 18 за 1970 год.

Приблизившись к озеру, самолет спустился еще ниже, — казалось, что колеса «дугласа» сейчас коснутся воды. В какое-то мгновение они и впрямь едва не вспороли водную гладь, но уже в следующую минуту самолет резко взмыл к черным облакам, нависшим над озером. Сверкнула молния. Самолет сильно тряхнуло. Теперь за окном уже ничего нельзя было разглядеть: все заволокла белесая муть.

Еще какое-то время Кузнецов смотрел в прямоугольник окна, задумчиво наблюдая, как на внешней стороне плексигласа пляшут круглые водяные капли.

Снова, на этот раз где-то совсем рядом, сверкнула молния, и самолет точно провалился в глубокую яму. Кузнецову показалось, что мотор стал гудеть глуше, но он знал, что это просто кажется: от перемены высоты заложило уши.

Кузнецов обернулся. Он увидел, как немолодой боец, согнувшийся на высоком вращающемся сиденье у пулемета, снял пилотку и провел тыльной стороной ладони по лбу, стирая выступивший пот, хотя в самолете было отнюдь не жарко. Адъютант Кузнецова, сидевший в одном из задних кресел, решив, что нарком хочет что-то сказать ему, застегнул воротник кителя, поднялся и пошел по проходу вперед.

Но Кузнецов молчал.

Адъютант вошел в кабину пилотов и, через минуту вернувшись обратно, доложил:

— Полный порядок, товарищ адмирал! По радиосводке до самого Тихвина сплошная облачность. А там уж и до дома рукой подать.

Кузнецов усмехнулся.

— Значит, порядок, говоришь?

— Так точно, товарищ адмирал! — преувеличенно бодро ответил адъютант и добавил, уже меняя тон на неофициальный: — Пока до Ладоги летели, как куропатку, могли подбить! Да и над озером очень даже запросто — как-никак без прикрытия идем.

В его бодром тоне были нотки осуждения: он считал, что, полетев без прикрытия, нарком проявил явное легкомыслие.

Но адъютант ошибался. Кузнецов хорошо представлял себе степень риска. Вражеская авиация бомбила Ленинград днем и ночью. Немецкие аэродромы находились теперь в непосредственной близости от города, и любой самолет, вылетающий из Ленинграда, подвергался реальной опасности быть сбитым. И прежде всего это, конечно, касалось машин гражданского типа: наскоро оборудованные пулеметными установками, они почти не имели шансов уцелеть в столкновении с боевыми машинами немцев.

Обо всем этом Кузнецов хорошо знал. И тем не менее не счел возможным брать прикрытие: слишком дорог был каждый истребитель в Ленинграде. К тому же небо сегодня, к счастью, было облачным, что облегчало перелет.

Но сейчас, сидя в кресле «дугласа», Кузнецов просто не думал об опасности. С той минуты, как он вылетел из Ленинграда, все его мысли были заняты одним — предстоящим докладом Сталину об обстановке, сложившейся на Балтике.

И хотя перед глазами наркома как бы независимо от его сознания возникали, сменяя одна другую, картины недавнего прошлого — он видел израненные после перехода из Таллина корабли на кронштадтском рейде, видел огромное, казалось, охватившее полнеба зарево над юго-восточной частью Ленинграда от горящих после вражеского налета Бадаевских продовольственных складов, — думал он сейчас только об одном: предстоящей встрече со Сталиным.

Адъютант, убедившись, что адмирал никак не реагирует на его слова, вернулся на свое место.

Кузнецов скользнул взглядом по альтиметру, прикрепленному к стенке, отделяющей кабину пилотов от пассажирского салона, машинально отметил, что черная стрелка ползет вверх, потянулся к лежащему на соседнем сиденье портфелю, вытащил из него большой блокнот и стал перелистывать мелко исписанные страницы...

Итак, он прибудет в Москву не позже десяти утра, с аэродрома отправится к себе в наркомат и оттуда доложит в секретариат Сталина о своем возвращении.

Сможет ли Сталин принять его сегодня же? Не изменился ли за эти две с лишним недели распорядок работы Ставки Верховного Главнокомандования?

...Из Москвы Кузнецов улетел в конце августа. Тогда, в августовские дни, столица еще мало напоминала фронтовой город.

Несмотря на то, что стены домов были оклеены военными плакатами, а по улицам то и дело проходили колонны бойцов, мчались в сторону Минского, Можайского и Волоколамского шоссе военные грузовики и выкрашенные в маскировочные цвета легковые автомашины, внешне гигантский город продолжал жить привычной мирной жизнью. По крайней мере, днем. Потому что вечером все менялось: десятки аэростатов воздушного заграждения придавали необычный вид московскому небу, к станциям метро устремлялись потоки людей, главным образом женщин с детьми, чтобы в безопасности провести ночь, а на опустевших улицах гулко звучали шаги комендантских патрулей.

Месяц спустя после того, как советские пограничные земли впитали в себя первую кровь наших бойцов и мирных граждан, немцы предприняли первый большой авиационный налет на Москву.

Это было поздно вечером, точнее, в ночь на 22 июля, и москвичам, которые к тому времени уже не раз слышали вой сирены и видели, как лучи прожекторов бдительно обшаривают небо, казалось, что этим все ограничится и на сей раз. И только когда стены домов стали содрогаться от бомбовых разры-

вов, а ночное небо осветилось пламенем пожаров, они поняли, что тревога не учебная.

С тех пор москвичи уже успели привыкнуть к бомбежкам, научились не бояться зажигалок, тушить пожары.

Каждое утро, прослушав сводку Совинформбюро, люди спешили к картам. Карты приобрели особую ценность. Их выдирали из школьных учебников, из старых энциклопедий, из книг, посвященных первой мировой и гражданской войнам. К ним с тревогой прикладывали школьные линейки, угольники, клеенчатые портняжные ленты, разделенные на сантиметры и миллиметры, полоски из школьных арифметических тетрадок «в клеточку», стараясь перевести масштабы карт в реальные расстояния. И каждое новое сообщение об оставленном городе, будь это Львов, Витебск, Минск или почти никому не ведомые «населенные пункты» Михалишки, Василишки, Лида, болью отзывалось в сердцах.

Если в июле столице угрожали лишь воздушные налеты, то в конце августа у москвичей появились реальные основания для более серьезной тревоги. Бои шли в районе Смоленска. Все новые и новые предприятия и учреждения эвакуировались из столицы на восток.

И все же, несмотря ни на что, жители столицы не допускали и мысли, что немцы могут захватить Москву.

«Родина-мать зовет!», «Все для фронта, все для победы!» — взывали лозунги и плакаты на улицах города, в цехах, в учреждениях. И этим стремлением помочь борьбе с врагом жили в те трудные дни все советские люди.

Почти из каждой семьи кто-нибудь ушел на фронт. Тысячи москвичей вступили в дивизии народного ополчения. Круглосуточно работали заводы, выпуская военную продукцию.

Газеты и радио сообщали о фактах беспримерного героизма бойцов и командиров Красной Армии. Героизм стал массовым. Все это вселяло надежду на скорый перелом в ходе войны.

Радовали и решительные действия советской дипломатии: подписание соглашения с Англией о совместных боевых действиях против гитлеровской Германии, встречи Сталина с приехавшим в Москву личным представителем Рузвельта Гарри Гопкинсом...

И, ложась спать в свои ли привычные постели, на казарменные ли койки в заводских общежитиях, на раскладушки, устанавливаемые на ночь в райкомах и парткомах, на деревянные лежаки, расставленные на платформах станций метро, люди верили в то, что благодаря вводу в бой новых, могучих резервов или революционным событиям в самой Германии положение решительным образом изменится.

Ранним утром, вслушиваясь в сводку Совинформбюро, торопливо развертывая свежие газеты, они с горечью убеждались, что перелом еще не наступил, но продолжали жить надеждой на день следующий...

Те из москвичей, чей путь на работу проходил через центр города, редко упускали случай пройти по Красной площади и с радостью убедиться, что, несмотря на очередной ночной воздушный налет, Кремль стоит неколебимо. И, пожалуй, не было человека, который непроизвольно не замедлил бы шаг и не бросил бы пристального, полного веры и надежды взгляда на возвышающийся над зубцами Кремлевской стены купол желто-белого правительственного здания.

В то время мало кому доводилось бывать в Кремле и тем более знать, где и какое учреждение там расположено. Но именно это здание, над куполом которого в мирное время привычно развевался огромный красный флаг, миллионы людей воспринимали как центр руководства страной.

И, проходя по Красной площади, москвичи с особым чувством обращали свои взгляды к окнам этого здания. Может, именно сейчас там, в одном из кабинетов, Сталин обдумывает нечто такое, что решительно изменит весь ход войны! Ведь не случайно принял он на себя обязанности наркома обороны, а совсем недавно — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Советского Союза! Может быть, именно в эти минуты Сталин и дает указания, которые по каким-то неизвестным, но важным причинам нельзя было дать раньше, указания, в результате которых все изменится к лучшему, произойдет желанный перелом. Так думалось москвичам.

Вера в могущество социалистического государства, в Красную Армию в то время у советских людей была неразрывно связана с верой в Сталина. И не только потому, что именно он стоял во главе Центрального Комитета в годы великих преобразований страны, героических трудовых свершений партии и народа, но и благодаря поощряемому самим Сталиным культу его личности.

И хотя в своей речи третьего июля он откровенно сказал народу горькую правду о положении, в котором оказалась страна в результате вторжения немецких полчищ, а все последующие события показали, что враг силен и победа над ним еще далека и потребует напряжения всех сил, воли и готовности стоять насмерть, — тем не менее привычная уверенность в могуществе и мудрости Сталина была столь велика, что в первые недели и даже месяцы войны от него ждали чуда.

Поэтому людям хотелось хотя бы мысленно проникнуть в Кремль и представить себе, что же делает там, в своем кабинете, Верховный Главнокомандующий...

И мало кто знал, что тогда, в августе, Сталин обычно проводил вторую половину своего рабочего дня не в Кремле, где еще только строилось убежище, достаточно надежное для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу Ставки во время бомбежек,

а в неприметном особнячке с мезонином, неподалеку от станции метро «Кировская», и всего лишь невысокая решетка-ограда отделяла этот близко стоящий к тротуару дом от потоков людей, текущих по улице Кирова.

В другом, расположенном рядом большом здании разместилось Оперативное управление Генерального штаба. Подземный переход соединял этот дом со станцией метро, также превращенной в служебное помещение Генштаба.

В последний раз Кузнецов видел Сталина в конце августа именно там, на Кировской.

Он помнил все подробности этой встречи, всё до малейших деталей.

Вот он, преодолев несколько выщербленных каменных ступенек, открыл дверь в небольшую приемную, где сидел помощник Сталина Поскребышев, поздоровался с ним.

Звонили телефоны. Не отрывая глаз от бумаг, Поскребышев снимал трубку и коротко отвечал: «Нет», «Сейчас занят», «Не знаю».

Все давно привыкли к тому, что только через кабинет Поскребышева можно проникнуть к Сталину, что его, Поскребышева, голос, как правило, звучал в трубке, прежде чем начинал говорить сам Сталин, что через его руки проходили все те бумаги, которые предстояло прочесть Сталину, и ему, Поскребышеву, передавал Сталин для дальнейшего исполнения важнейшие документы.

Всей своей манерой поведения, немногословием, сухостью Поскребышев как бы подчеркивал, что никогда не делает и не говорит ничего по собственной инициативе, а лишь то, что ему поручил сделать или сказать Сталин.

На лице этого низкорослого, с наголо обритой головой, говорящего грубым басом человека ничего нельзя было прочесть, оно всегда было сумрачно-строгим. И надежду на то, что тем или иным наводящим вопросом или другим искусным маневром у него можно выведать нечто такое, что пригодится в предстоящем разговоре со Сталиным, все, кому приходилось иметь дело с Поскребышевым, оставили давно.

Кузнецов, неоднократно бывавший у Сталина, естественно, хорошо знал характер Поскребышева и поэтому, прибыв к Верховному с намерением получить разрешение на выезд в Ленинград, даже не пытался выяснить, звонили ли в последние часы с какими-либо срочными сообщениями Ворошилов или Жданов и — что тоже было немаловажным — в каком настроении находится сейчас Сталин.

Кузнецов молча сел, скользнул взглядом по стенам приемной, по барельефам надменных горбоносых древних римлян, увенчанных лавровыми венками, по облупившимся лепным украшениям на потолке.

Он был здесь уже не в первый раз, но все еще не мог привыкнуть к обстановке, столь отличающейся от привычных кабинетов Кремля.

Недели три тому назад, впервые приехав в этот дом по вызову Сталина и вот так же ожидая, пока тот освободится, Кузнецов даже спросил Поскребышева, не знает ли он, кому некогда принадлежал этот захудалый, но с претензией на дворцовую роскошь особняк. Поскребышев недоуменно поглядел на адмирала, точно удивляясь, как его могут интересовать не имеющие никакого отношения к делу вопросы, сухо ответил: «Не знаю», — и на этом разговор был исчерпан.

Раздался негромкий, явно отличающийся от телефонного звонок, Поскребышев встал, одернул перепоясанную широким армейским ремнем гимнастерку, вышел из-за стола и, приоткрыв расположенную справа дверь, перешагнул порог.

Он отсутствовал лишь мгновение и, появившись, сказал:

— Пройдите.

...Кузнецову, который сидел сейчас в кресле самолета, откинувшись на спинку и прикрыв набухшие от бессонных ночей веки, показалось, что он вновь входит в кабинет Сталина, вернее, в ту непривычную комнату с двумя расположенными в противоположных углах каминами, старинной люстрой, имитирующей гирлянду свечей, и причудливо расписанным потолком, в которой теперь работал Сталин.

Увидя входящего Кузнецова, Сталин поздоровался с ним кивком головы и негромко сказал:

— Слушаю вас, товарищ Кузнецов.

Сжато, коротко Кузнецов обрисовал положение, в котором оказалась основная часть Балтфлота, базирующаяся в Таллине, куда кораблям пришлось перейти после захвата немцами Лиепаи, и высказал мнение, что ввиду непосредственной угрозы, нависшей над Таллином, находящийся там флот надо срочно выводить в Кронштадт.

Сталин молча слушал Кузнецова, медленно шагая по комнате, и наркому казалось, что в эти минуты Верховный Главнокомандующий думает о чем-то, не имеющем прямого отношения к его докладу.

Внезапно Сталин остановился и спросил:

— За Моонзундские острова и Ханко вы спокойны?

Смысл этого вопроса не нуждался в расшифровке: гарнизоны Моонзундских островов, полуострова Ханко и минное заграждение между ними закрывали вход кораблям противника в Финский залив.

— Все зависит от того, какими силами враг попытается прорваться в залив, — ответил Кузнецов. И, видя, что Сталин молчит, добавил: — Во всяком случае, необходимо немедленно перебазировать все корабли из Таллина в Кронштадт... И чем раньше, тем лучше!

В последних словах Кузнецова помимо его воли прозвучал косвенный упрек.

Кузнецов считал, что корабли следовало перебазировать из Таллина еще раньше, и ему было неясно, почему Ворошилов, в оперативном подчинении которого после создания Северо-западного направления находился Балтфлот, медлил и не просил у Ставки санкции на отвод флота. Потому ли, что верил в возможность отстоять Таллин, или потому, что не решался обратиться с этим к Сталину, который — это было известно Кузнецову — в последнее время не раз высказывал резкое недовольство отступлением войск Северо-западного направления. Положение Кузнецова осложнялось тем, что, помимо Ворошилова, в Ленинграде находился Жданов, которому как секретарю ЦК еще до войны были поручены вопросы, касающиеся Военно-Морского Флота...

События самых последних дней убедили Кузнецова в том, что дальше откладывать отвод флота нельзя. Об этом он и счел необходимым доложить Сталину.

Сталин понял упрек, глухо прозвучавший в словах Кузнецова, пристально посмотрел на него и спросил:

— Скажите, товарищ Кузнецов: в какой мере корабельная артиллерия оказала помощь нашим войскам, обороняющим Таллин?

— По нашим данным, морская артиллерия в Таллине выпустила по врагу не менее десяти тысяч снарядов, — ответил Кузнецов. — Кроме того, флот послал на сухопутный фронт шестнадцать тысяч моряков. Словом, товарищ Сталин, если сегодня Таллин еще в наших руках, то в этом немалая заслуга Балтийского флота.

— Вот именно, — с некоторой назидательностью сказал Сталин. — Между прочим, немцы объявили на весь мир, что захватят Ленинград не позже двадцать первого июля. Как вы думаете, почему им не удалось этого сделать?.. — Он помолчал, раскуривая трубку. — Одна из причин, несомненно, заключается в том, что они не смогли с ходу взять Таллин. Им пришлось перебросить в Эстонию из-под Ленинграда несколько авиационных соединений и три пехотные дивизии. Вам известно, сколько вообще немецких дивизий сковали защитники Таллина?

— Я не могу ответить точно, но полагаю...

— По данным нашей разведки, больше пяти, — резко прервал его Сталин. — Значит, мы не зря держали в Таллине флот... И, кроме того, на флоте лежит обязанность вывезти в Ленинград таллинский гарнизон. В противном случае он будет сброшен в море: сегодня уже ясно, что Таллина нам не удержать.

...Тогда, в темную августовскую ночь, им не удалось закончить разговор в той комнате с двумя каминами и лепным потолком.

Кузнецов продолжал о чем-то говорить — сейчас он уже не помнил, о чем именно, кажется, о необходимости воздушного прикрытия во время перехода флота из Таллина в Кронштадт, когда неожиданно появившийся Поскребышев сообщил вполголоса: «Тревога».

И хотя звука сирены еще не было слышно, Кузнецов понял, что с командного пункта МПВО сюда уже сообщили о приближении вражеских самолетов к Москве.

Сталин, обернувшись к Кузнецову, сказал:

— Продолжайте.

Кузнецов подумал, что Сталин, который не должен, не имеет права рисковать собой, оставаясь в этом ветхом особнячке во время воздушной тревоги, не уходит отсюда только из-за него.

«Товарищ Сталин, — хотелось сказать Кузнецову, — мы требуем от всех штабных работников во время тревоги переходить в бомбоубежище. Поэтому мы и сами обязаны...»

Но он не произнес этих слов, не произнес потому, что почувствовал в них оттенок косвенной лести. А противоречивость характера Сталина заключалась и в том, что терпимый к публичной лести по своему адресу и даже поощрявший ее, когда речь шла о «великом Сталине», «вожде и учителе», он не переносил подхалимства и угодничества в деловых разговорах, особенно когда они происходили с глазу на глаз. Поэтому Кузнецов промолчал.

Со стороны улицы Кирова, из-за плотно зашторенных окон, донесся глухой звук сирены. Потом загрохотали зенитки.

Снова появился Поскребышев. Настежь раскрыв дверь кабинета и укоризненно поглядев на Кузнецова, он перевел взгляд на Сталина.

Тот оглядел зашторенные окна, подошел к столу, тщательно, однако, без нарочитой медлительности выбил пепел из трубки в ладонь, сбросил его в медную пепельницу и, обращаясь к Кузнецову, сказал:

— Мы еще не договорили. Пойдемте.

Следуя за Сталиным, Кузнецов вышел во двор. Было темно, только время от времени небо вспарывали лезвия прожекторов. Зенитки грохотали где-то совсем рядом.

Справа и слева на мгновение вспыхивали и гасли лучики карманных фонариков, освещая Сталину путь, и тогда становились различимыми, вернее, угадывались стоящие по сторонам рослые, широкоплечие люди в военной форме и штатской одежде — сотрудники охраны.

Сталин, сопровождаемый Кузнецовым, не спеша прошел по деревянным мосткам, перекинутым через какую-то канаву, направляясь к соседнему зданию, где размещалось Оперативное управление Генерального штаба. У лифта, на котором им предстояло спуститься в подземный переход, ведущий на станцию метро «Кировская», Сталин сделал шаг в сторону, пропуская Кузнецова вперед.

...Вестибюль «Кировской» был по обе стороны отгорожен от поездных туннелей сплошными перегородками.

Москвичи знали лишь то, что, как гласило объявление у входа в метро «Кировская», «Станция закрыта» и поезда здесь не останавливаются.

И только считанным десяткам людей в те дни было известно, что на платформе этой станции находится узел связи Генерального штаба и что наскоро оборудованные здесь же кабины служат во время воздушных налетов рабочими кабинетами Сталина, Шапошникова и группы работников Оперативного управления Генштаба.

Там, внизу, и закончил Сталин свой разговор с Кузнецовым, дав адмиралу разрешение на выезд в Ленинград.

Прощаясь, Сталин сказал:

— Перед отлетом получите специальное поручение. И пакет. Для Ворошилова и Жданова.

Но вечером, накануне того дня, когда Кузнецов должен был лететь в Ленинград, в его кабинете раздался телефонный звонок. Говорил Поскребышев.

— Приказано задержаться, — сказал он. — В Ленинград вылетает комиссия ГКО, и вы в нее включены. О часе вылета вас известят.

— Ясно, — ответил Кузнецов и добавил: — Товарищ Сталин сказал мне о пакете, который я должен...

— Приказано передать: пакета не будет, — перебил его Поскребышев.

...Кузнецов вспомнил, как вместе с другими членами комиссии ГКО летел до Череповца, как там они пересели на поезд, как доехали до Мги, которая была объята пламенем пожаров, как, пройдя разрушенный участок пути, сели на дрезины и поехали навстречу высланному из Ленинграда бронепоезду, как вскоре узнали, что Мгу захватили немцы, перерезав тем самым последнюю железную дорогу, связывавшую Ленинград со страной.

...Но все это было уже в прошлом, и, казалось, в далеком прошлом. А в ближайшем будущем было одно: доклад Сталину об итогах пребывания в Ленинграде и Кронштадте. И о чем бы ни думал сейчас Кузнецов, что бы ни всплывало в памяти, мысли его неизменно вновь и вновь возвращались к предстоящему докладу, тезисы которого были записаны в блокноте, лежащем сейчас на коленях наркома.

Вышедший из пилотской кабины командир корабля доложил Кузнецову, что пролетели Тихвин, что в Москве облачность, однако не очень низкая, и Центральный аэродром готов принять самолет.

— Когда прибудем в Москву? — спросил Кузнецов и, отдернув рукав кителя, посмотрел на часы.

— Должны быть через час, товарищ народный комиссар, с поправкой на встречный ветер — через час двадцать, — ответил пилот. Он был немолод, одет в форму гражданской авиации и говорил, слегка окая.

Кузнецов чуть усмехнулся: за всю свою жизнь он не встретил летчика, который на вопрос: «Когда прибудем?» — ответил бы, не прибегая к осторожному — или суеверному? — «должны прибыть».

Через мгновение Кузнецов уже забыл и о пилоте и о том, что им было сказано, — он опять думал о предстоящем докладе.

Прежде всего надо было попытаться представить себе, что знает и чего не знает Сталин относительно положения Балтфлота.

Занятый флотскими делами, Кузнецов задержался в Ленинграде и возвращался в Москву позже других членов комиссии ГКО. Какую оценку боеспособности войск Ленинградского фронта дали они Сталину? Как охарактеризовали положение Балтфлота? И принял ли Сталин уже какие-нибудь решения?

Сегодня дальнейшая судьба Балтфлота зависит от судьбы Ленинграда. Ведь захват врагом Ленинграда даже на короткое время означал бы конец существования Балтийского флота! Наземные войска, рассуждая теоретически, могут отступать до тех пор, пока за ними есть земля. Даже попав в окружение, они могут разорвать удавное кольцо. Но кораблям Балтфлота отступать некуда. Подобно огромным рыбам, маневренным и могучим в родной водной стихии, лишаясь ее, они обрекаются на гибель.

...Самолет резко шел на снижение, но за окном все еще не было видно ничего, кроме белесого тумана.

Потом туман стал реже и как бы тоньше, — казалось, самолет с усилием прорывает его. И вот наконец Кузнецов увидел знакомое поле Центрального аэродрома. Навстречу бежали аэродромные постройки, взлетел и тотчас же исчез в облаках какой-то самолет. Потом адмирал увидел вдали, на взлетной полосе, бойца с красным и белым флажками в раскинутых руках и в ту же минуту ощутил резкий толчок, потом другой... Теперь самолет плавно, чуть вздрагивая, катился по бетону, выруливая к аэровокзалу, и Кузнецов услышал голос своего адъютанта:

— Прибыли, товарищ нарком!

Адъютант произнес эти слова нарочито бесстрастно, как бы подчеркивая, что лишь констатирует факт, но Кузнецов почувствовал в них с трудом скрываемую радость.

— Отсюда — куда, товарищ адмирал? — деловито осведомился адъютант.

— В наркомат, — сказал Кузнецов, беря свой набитый картами и документами портфель и засовывая в него блокнот.

Самолет остановился. Взревел на больших оборотах мотор и смолк. Наступила непривычная тишина.

Боец слез со своего высокого вращающегося стула и вытянулся, увидев, что адмирал встает и направляется к двери.

— Спасибо, товарищ сержант, — сказал Кузнецов, бросая взгляд на треугольники в петлицах пулеметчика.

— Служу Советскому Союзу!

— А если бы фрицы налетели, что сделал бы? — шутливо спросил Кузнецов.

— Что положено, товарищ адмирал! — серьезно, без тени улыбки ответил сержант.

Уже спускаясь по трапу, Кузнецов увидел, что к самолету торопливо направляется его заместитель адмирал Галлер.

Наскоро козырнув и пожав протянутую Кузнецовым руку, Галлер громко сказал:

— С благополучным прибытием, товарищ народный комиссар! — И тут же, точно обращаясь уже к другому человеку, произнес вполголоса: — Вам сейчас, Николай Герасимович, к Верховному надо ехать. Приказано — немедленно, как прибудете...

И, как бы предупреждая естественный вопрос, где именно в данное время находится Сталин, добавил:

— В Кремль.

Глава II

Машина Кузнецова ЗИС-101 мчалась по Ленинградскому шоссе, вспугивая идущий навстречу транспорт звуком специального сигнала, прозванного «кукушкой» или «лягушкой». Миновав улицу Горького, Охотный ряд и Моховую, ЗИС сделал резкий левый поворот и устремился к Боровицким воротам.

У ворот шофер чуть притормозил, давая возможность часовым заглянуть внутрь машины и увидеть хорошо знакомое им лицо наркома Военно-Морского Флота. Обогнув Ивановскую площадь Кремля, машина свернула в тупик и остановилась у подъезда, точнее, у крыльца, прикрытого железной крышей с кружевным металлическим козырьком.

Кузнецов быстро поднялся на крыльцо, потянул на себя дверь и очутился в знакомой прихожей. Мельком взглянув на вешалку, нарком убедился, что она пуста, — значит, у Сталина не было никого «извне», — торопливо повесил свою фуражку, подошел к расположенному слева, выступом, лифту и, увидев, что кабины на месте нет, не стал тратить время на ожидание — почти бегом, перепрыгивая через ступеньки, стал подниматься по лестнице.

Мельком взглянув по пути в огромное, во всю стену зеркало, Кузнецов на мгновение подумал, что недостаточно чисто выбрит — последний раз он брился ночью, перед вылетом из Ленинграда, — но тут же забыл об этом. Очутившись на втором этаже, он поспешно прошел через большую, овальной формы комнату для ожидания, которая на этот раз была пустой, и, повернув направо, зашагал по коридору, по левой стороне которого располагался кабинет Сталина.

— Кто-нибудь есть? — спросил, войдя в приемную, Кузнецов сидевшего за столом Поскребышева после того, как они обменялись краткими приветствиями. — Я получил приказание явиться прямо с аэродрома.

— Один, — коротко ответил Поскребышев, встал, исчез за дверью и, быстро появившись снова, сказал: — Пройдите.

Войдя в так хорошо знакомую ему большую, светлую комнату, Кузнецов ощутил чувство удовлетворения: в противоположность обстановке в особняке на Кировской, напоминавшей о том, что ситуация в стране столь тревожна, что даже Сталину пришлось сменить свое рабочее место, — здесь, в Кремле, все было устойчиво и привычно. Над письменным столом, заваленным бумагами и папками, висел портрет Ленина, читающего «Правду», на длинном столе для заседаний, покрытом зеленым сукном, были разложены карты, лежало несколько остро отточенных карандашей. На правой от входа стене, по обе стороны окна, висели появившиеся здесь уже после начала войны портреты Суворова и Кутузова.

Сталин заканчивал какой-то разговор по телефону. Он положил на рычаг трубку и своей неслышной походкой направился навстречу Кузнецову. Поздоровался, протянув руку, что было необычно.

Кузнецов произнес первые фразы, продуманные еще в самолете, но Сталин прервал его:

— Вы видели Жукова?

Этот вопрос был совершенно неожиданным: где и когда Кузнецов, только что прилетевший из Ленинграда, мог видеть бывшего начальника Генштаба, ныне являющегося командующим Резервным фронтом?

Кузнецов недоуменно поглядел на Сталина и ответил не очень уверенно:

— Согласно полученному приказу, я не заезжал в наркомат, а прямо с аэродрома направился к вам...

Поглощенный какими-то своими мыслями, Сталин сделал несколько шагов по красной ковровой дорожке вдоль длинного стола, потом остановился и, повернувшись к Кузнецову, резко сказал:

— Мы отзываем из Ленинграда Ворошилова. Командующим назначен Жуков. — Помолчал и добавил: — Очевидно, вы разминулись.

Эта новость была настолько неожиданной, что Кузнецов, ошарашенный, молчал. Может быть, за то время, пока он летел в Москву, положение в Ленинграде еще более ухудшилось?

Сталин хмуро сказал, как бы отвечая на его мысли:

— Врагу удалось прорвать нашу оборону севернее Красного Села. Он обстреливает Пулковские высоты. В Питере создалось очень тяжелое положение. — И повторил: — Очень тяжелое.

Положение, в котором оказался Ленинград, Кузнецову, только что вернувшемуся оттуда, было, естественно, хорошо известно. Однако того, что немцам удалось прорвать нашу оборону в районе Красного Села, он еще не знал. И то, что об этом он ус-

лышал здесь, в Кремле, равно как и исполненный глубокой горечи тон, которым сообщил ему о новой неудаче под Ленинградом Сталин, произвели на Кузнецова тяжелое впечатление.

Он стоял, подавленный услышанным.

Сталин тронул его за рукав, кивком головы указывая на стоящий слева у стены кожаный диван.

Кузнецов никогда не видел, чтобы Сталин или кто-нибудь другой когда-либо сидел на этом диване. Он знал, что все в этой комнате подчинено раз и навсегда установленному порядку. Во время заседаний участники обычно сидели вот у этого длинного, покрытого зеленым сукном стола, а докладчик стоял. Сам же Сталин медленно ходил взад и вперед по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы задать говорящему вопрос или бросить реплику.

Большой же, с высокой спинкой кожаный диван у стены всегда пустовал. Поэтому Кузнецов был удивлен, сообразив, что Сталин приглашает его сесть именно туда.

Он нерешительно опустился на диван рядом со Сталиным и положил портфель на колени.

— Какие корабли базируются сейчас в Кронштадте? — спросил Сталин.

Хотя Кузнецов отлично понимал, что будущее Балтфлота находится в прямой зависимости от положения на сухопутном фронте под Ленинградом, он, будучи наркомом Морского Флота, всеми своими мыслями был, естественно, обращен прежде всего к кораблям. Однако слова Сталина о смене командующего Ленфронтом, о поражении под Красным Селом оторвали его от чисто флотских дел. Проблема Ленинграда и Балтики в целом как бы заново встала перед ним.

Он понимал, что и Сталина волнуют не частности, сколь важны бы они ни были, но именно судьба Ленинграда. Поэтому вопрос Сталина прозвучал для него неожиданно.

Сосредоточиться мешало и то, что Кузнецов находился под влиянием безотчетного ощущения, будто Верховный Главнокомандующий еще до его прихода принял какое-то важное решение, которое уже ничто не в силах изменить. Кузнецов подумал, что Сталина сейчас интересуют не корабли как таковые, а нечто совсем другое, и о кораблях он спросил лишь для того, чтобы по ходу своих размышлений восполнить какое-то недостающее звено.

Но нужно было отвечать на поставленный вопрос.

Медленно, стараясь ничего не пропустить, Кузнецов перечислил названия и типы кораблей, находящихся сейчас в Кронштадте.

— В какой мере они участвуют в обороне Питера? — спросил Сталин, сжимая в кулаке, видимо, давно погасшую трубку.

— Поскольку в данное время противник на некоторых участках фронта находится на расстоянии артиллерийского выстрела от Ленинграда, то корабельная артиллерия... — начал Кузнецов, но умолк, почувствовав, что ему трудно и непривычно докладывать обстановку, не имея под рукой соответствующей карты.

Но все его карты, как и блокнот с подготовленными тезисами доклада, лежали в портфеле, который он так и не успел раскрыть.

— Вы разрешите, товарищ Сталин? — спросил он, открывая портфель и поспешно вынимая оттуда нужную карту.

Удобнее всего было бы разложить карту на столе. Кузнецов хотел встать, но Сталин сделал жест, предлагая остаться здесь. Тогда Кузнецов стал торопливо раскладывать карту на том небольшом пространстве дивана, которое отделяло его от Сталина.

— Вот, товарищ Сталин, — указал он. — Здесь, между островами Эзель, Даго и полуостровом Ханко на западе и островами Гогланд, Лавансари и другими в восточной части залива, оба берега и все водное пространство находятся в настоящее время в руках противника...

В этот момент Сталин, как бы следуя ходу своих, не имеющих прямого отношения к словам Кузнецова размышлений, прервал его.

— Следовательно, во время перехода из Таллина мы потеряли шестьдесят кораблей... — медленно проговорил он, не глядя ни на карту, ни на Кузнецова и не то спрашивая, не то просто констатируя факт.

— Пятьдесят девять, — уточнил Кузнецов, — пятьдесят девять из ста девяноста семи кораблей.

— Очень большие потери, — глухо сказал Сталин и добавил после короткого молчания: — Но они могут быть гораздо бо́льшими.

Кузнецову показалось, что Сталин оговорился, что он хотел сказать не «могут», а «могли быть», и это несколько ободрило его.

— Да, товарищ Сталин, — твердо сказал Кузнецов, — в создавшейся ситуации флот понес тяжелые потери, но они могли быть гораздо бо́льшими. Немцы наверняка рассчитывали потопить весь флот. Тотчас после выхода эскадры из Таллина они подвергли его ожесточенной бомбардировке. Торпедные катера и самолеты противника вели непрерывные атаки. Необходимого воздушного прикрытия получить не удалось...

Кузнецов взглянул на Сталина, и ему показалось, что его слова не нашли в нем отклика.

«Представляет ли он себе, — вдруг подумал Кузнецов, — что значит под ударами вражеской артиллерии и авиации погрузить на корабли двенадцать тысяч бойцов таллинского гарнизона и затем пройти по узкому Финскому заливу более трехсот километров, из которых почти сто двадцать густо заминированы, а оба берега на протяжении двухсот пятидесяти километров заняты противником?!»

Теперь только одна мысль, только одно желание владело Кузнецовым — доказать Сталину, что Балтийский флот в неимоверно трудных условиях

выполнил свой долг. Знает ли Сталин, что для того, чтобы обеспечить хотя бы относительную безопасность движения эскадры по этому водному коридору смерти, требовалось минимум сто минных тральщиков, а в распоряжении командующего флотом их было всего десять?.. Знает ли он о том, что матросам приходилось по нескольку часов находиться в ледяной воде, держась за плавучие мины, чтобы предотвратить их столкновения с кораблями?..

На какие-то секунды Кузнецов перестал видеть Сталина.

Перед глазами его плыли израненные, пробитые вражескими снарядами и торпедами корабли, он видел матросов и командиров, чьи головы и руки были покрыты пропитанными кровью повязками...

Он хорошо представлял себе тот ад, сквозь который прошли корабли, и знал, что не было и нет на свете другого флота, кроме советского, не было и нет других моряков, кроме советских, которые были бы способны на такой подвиг.

Всем своим существом Кузнецов ощущал, что его долг — рассказать об этом Сталину, долг перед живыми и перед теми, кто ныне лежит на дне Финского залива.

Ему хотелось, чтобы Сталин хоть на минуту представил бы себя на сотрясаемой взрывами корабельной палубе, у раскаленных орудий, увидел бы кипящее вокруг море, услышал бы стоны раненых, но не покидающих своих постов матросов и понял бы, что моряки Балтфлота сделали все, что было в человеческих силах — и возможное и невозможное.

И, будучи не в состоянии справиться с этим чувством, движимый лишь одним желанием — доказать Сталину, что флот до конца выполнил свой долг, Кузнецов начал горячо говорить...

Какое-то время Сталин слушал молча, потом поднял руку с колена и, дотронувшись до плеча Кузнецова, спросил с упреком и горечью:

— Зачем вы мне все это говорите, товарищ Кузнецов, зачем?!

Адмирал ошеломленно замолчал, но потом твердо ответил:

— Для того, чтобы доложить вам, что, несмотря ни на что, боевой дух балтийских моряков не поколеблен и что они готовы и дальше бить врага.

— И что же вы предлагаете? — Теперь Сталин глядел на Кузнецова в упор.

— Во-первых, использовать корабельные орудия для обстрела противника, который на юго-западных подступах к городу находится в пределах досягаемости артиллерийского выстрела. Во-вторых, выделить командованию Балтфлота потребное количество винтовок, автоматов, пулеметов, гранат и бутылок с противотанковой жидкостью, чтобы вооружить часть флотских экипажей и использовать моряков в пехотном строю.

Но в этот момент Сталин опять прервал его:

— Товарищ Кузнецов! Я знаю, что моряки выполнили свой долг до конца. Но сейчас речь о другом... — Он остановился. Чувствовалось, что слова эти даются ему с трудом. — Обстоятельства могут сложиться так, что... немцам... удастся ворваться в Ленинград.

В первое мгновение Кузнецову показалось, что он ослышался, не понял смысла того, что сказал Сталин, хотя в Ленинграде эта же страшная мысль не раз приходила ему в голову. Но одно дело, когда об этом думал сам Кузнецов, другое — услышать это з д е с ь, от С т а л и н а...

Кузнецов растерянно посмотрел на Верховного и увидел на его обычно спокойном лице выражение душевной боли. Губы Сталина были сжаты настолько плотно, что усы скрывали их почти целиком, вены на висках набухли, и было заметно, как пульсирует в них кровь, рябинки на щеках обозначились резче, чем обычно.

О чем думал сейчас этот человек, неподвижно сидя в углу широкого кожаного дивана, сжимая в руке погасшую трубку? О том, что Жукову вряд ли удастся коренным образом изменить ситуацию? Что положение на других фронтах исключает возможность переброски на помощь Ленинграду крупных подкреплений? Что, несмотря на весь героизм советских бойцов, враг уже овладел Красным Селом, развивает наступление на Пулково и его танковые части могут с часу на час ворваться на окраины города?

Кто знает, какой мучительной внутренней борьбы стоили Сталину только что произнесенные им слова...

Кузнецов молчал, весь как-то сжавшись в тревожном ожидании.

Сталин, делая, видимо, огромное усилие над собой и поэтому еще раздельнее и жестче, чем прежде, сказал:

— Прикажите подготовить корабли к взрыву.

...Пройдет время, и Кузнецов будет спрашивать себя: почему его так потрясли, привели в такое смятение слова Сталина? Почему вызвали столь сильное чувство протеста? Разве они были для него полной неожиданностью?..

Нет, Кузнецов хорошо знал, в каком тяжелейшем положении оказался Ленинград. Немцы приближались к его окраинам, и если бы им удалось овладеть городом хотя бы на день, то это, помимо всего остального, означало бы гибель Балтийского флота или, что еще страшнее, использование его против Красной Армии. Он знал о решении Военного совета Ленфронта подготовить к разрушению основные военно-промышленные объекты и взорвать их, если угроза проникновения врага в город станет неотвратимой. Он считал эти меры предусмотрительности необходимыми, отлично понимая, что оставлять врагу действующие заводы и электростанции, нетронутые мосты и боеспособные корабли было бы преступлением.

Да, несомненно, Сталин был прав, приказывая подготовить корабли к уничтожению.

Так почему же этот приказ так потряс Кузнецова?

Потому что за две недели пребывания в Ленинграде он проникся убеждением, что враг может войти в город только по трупам его защитников. Он знал, что сотни тысяч ленинградцев жили в те дни уверенностью, что никогда и ни при каких условиях город не будет отдан врагу.

Секретно проводимые подготовительные мероприятия на случай, если произойдет худшее, не противоречили этой убежденности, не колебали ее, не нарушали веры в победу.

Так почему же, когда аналогичный приказ коснулся кораблей Балтфлота, Кузнецов воспринял его как неожиданно обрушившуюся лавину? Только ли потому, что для него, военного моряка, корабли были главным в жизни?

Нет, не только. Кузнецова потрясло то, что приказ о подготовке кораблей к взрыву отдал именно Сталин.

Как и все советские люди, Кузнецов в то время видел в Сталине высший авторитет, высшую концентрацию воли и разума.

Зная о положении на фронтах, о тяжелейших сражениях, которые вели Красная Армия и Флот на всех направлениях с рвущимися вперед немецкими войсками, Кузнецов не мог не понимать горькую закономерность принятого Сталиным решения.

Но ему было трудно, неимоверно трудно воспринять только что полученный приказ лишь как логическую неизбежность. До тех пор, пока эти слова не были произнесены, еще можно было надеяться, что даже в самой трагической ситуации Сталин сумеет найти решение, которое не под силу другим людям, отыскать какой-то выход из создавшегося положения.

Но после того, как Верховный отдал приказ, Кузнецов с особой, гнетущей силой почувствовал, осознал не только умом, но и сердцем, что, несмотря на весь героизм защитников Ленинграда, несмотря на их беззаветную решимость умереть, но не пропустить врага, возможность захвата города немцами исключить нельзя.

Несомненно, Сталин понимал, что происходит в эти минуты в душе Кузнецова. Ведь речь шла о судьбе Балтийского флота, самого большого и мощного из всех советских флотов, созданных в результате многолетних усилий советского народа.

Но разве миллионы людей годами не вкладывали свой труд, свой ум, веру, страсть, искусство и в те заводы, электростанции и шахты, которые уже пришлось разрушить, взорвать, затопить, чтобы они не достались врагу?

Так что же еще мог сказать теперь Сталин наркому Морского Флота? Напомнить, что речь идет об исключительной мере и что она будет принята лишь в самом крайнем случае? Но разве это не вытекало не только из смысла, но и из буквы отданного им, Сталиным, приказа? Ведь он не сказал: «Взорвать». Он сказал: «Подготовить».

И как ни трудно, как ни горько было Сталину выговорить эти слова, он ни минуты не сомневался в том, что должен был их произнести.

Может быть, его решимость укрепляли воспоминания о тех самолетах, которые из-за допущенного им рокового просчета не были своевременно укрыты или перебазированы и, так и не взлетев, оказались уничтоженными врагом на аэродромах в первый день войны? Или он вспомнил о Николаевских верфях, где в руки немцам попали еще не достроенные корабли?

Сталин не умел и не хотел утешать. Он был убежден, что только дело, только энергичные, целеустремленные действия могут — в особенности в критические моменты — заставить человека обрести душевное равновесие, напрячь все свои силы.

Поэтому он сухо и твердо сказал:

— Ни один корабль не должен попасть в руки врага. — И повторил: — Ни один. Вы понимаете это?

Кузнецов все еще молчал. Тогда Сталин еще резче сказал:

— Вы лично отвечаете за выполнение приказа. И предупредите, что каждый, кто его нарушит, будет строго наказан. Вам все ясно?

Кузнецову показалось, что эти резко и даже с угрозой произнесенные слова относились уже не к нему и даже не к тем людям, которым предстояло минировать корабли. Что Сталин как бы давал понять уже не столь далекому от Москвы врагу, что страна не остановится ни перед чем, пойдет на любые лишения во имя конечной победы.

Тем не менее по форме своей слова Сталина были обращены непосредственно к Кузнецову. И поэтому на вопрос «Вам все ясно?» нарком ответил:

— Да, товарищ Сталин.

— Тогда, — сказал Сталин, вставая и направляясь к столу, — составьте телеграмму Трибуцу с приказом подготовить корабли к уничтожению.

И тут Кузнецов, сам не отдавая себе отчета в том, что делает, подчиняясь какому-то непреодолимому порыву, громко, на одном дыхании, сказал:

— Я такой телеграммы подписать не могу.

Теперь он тоже стоял, вытянувшись во весь свой высокий рост, и глядел в спину медленно удаляющемуся Сталину.

Тот резко повернулся. Его густые, с изломом, черные брови поднялись.

— Почему? — спросил Сталин, и в голосе его послышалось скорее недоумение, чем угроза.

— Потому что, — отчетливо, точно рапортуя, сказал Кузнецов, — Балтфлот оперативно подчинен командующему Ленинградским фронтом. И у исполнителей такого... — он остановился, подыскивая нужное, точное слово, — ...такого исключительного задания не должно быть и тени сомнения в том, что вопрос всесторонне обсужден Ставкой и решение

утверждено вами лично. Указания наркома Военно-Морского Флота здесь мало.

Он умолк, ожидая вспышки гнева.

Но Сталин молчал.

О чем размышлял он теперь, глядя на вытянувшегося в напряженном ожидании, смотрящего ему прямо в глаза адмирала? Не о том ли, что Кузнецов в эту тяжелую минуту хочет уклониться от личной ответственности? Но, может быть, он подумал и о другом — о том, что нарком, по существу, прав и заставлять его единолично подписывать подобный приказ было бы и в самом деле чрезмерным?

Несколько мгновений длилось это напряженное молчание. Наконец Сталин повернулся, сделал несколько медленных шагов по комнате и остановился у края стола для заседаний, на котором были разложены карты.

Кузнецов тоже сделал несколько шагов к столу и из-за плеча Сталина увидел, что тот смотрит на сухопутную, мелкого масштаба карту Северо-западного направления, на которой прочерченная красным карандашом линия фронта проходила непосредственно у самого Ленинграда. Наконец Сталин медленно проговорил:

— Хорошо. Поезжайте к Борису Михайловичу и подготовьте приказ за двумя подписями — его и вашей.

— Разрешите идти? — все еще с надеждой на то, что Сталин не ограничится этими словами, спросил Кузнецов.

— Идите, — коротко ответил Сталин и снова склонился над картой.

Среди высшего командного состава Вооруженных Сил, Красной Армии Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников пользовался огромным авторитетом. Всеобщее уважение вызывали не только его большие военные знания, многолетний опыт штабиста, но и его личные качества. В характере маршала сочетались мягкость с твердостью, решительность с осторожностью, преданность делу, требовательность к подчиненным с какой-то особой, именно ему свойственной тактичностью, деликатностью.

Шапошникова в военных кругах не просто уважали, его любили. Даже Сталин, который, как правило, обращался ко всем, за исключением двух-трех членов Политбюро, только по фамилии, всегда называл Шапошникова в глаза и заочно по имени-отчеству — Борис Михайлович.

В то время, когда происходил разговор Верховного с Кузнецовым, столь тяжкий для каждого из них, Шапошников находился в своем кабинете в том самом особнячке на Кировской, куда Сталин обычно приезжал во второй половине дня.

Этот небольшой двухэтажный дом с мезонином имел два входа. Один, ближний к улице Кирова, вел в приемную Сталина, другим подъездом, противоположным, пользовались те, кто шел к Шапошникову.

Собственно, эту низенькую дощатую дверь даже трудно было назвать подъездом, некогда она, по-видимому, служила черным ходом.

Именно туда, на Кировскую, и помчался из Кремля ЗИС-101, в котором находился Кузнецов, еще из приемной Сталина известивший по «вертушке» Шапошникова о том, что имеет поручение срочно с ним встретиться.

По узкой железной лестнице нарком поднялся в приемную Шапошникова.

Это была странная маленькая комната с причудливо расписанным потолком и стенами, покрытыми инкрустацией под золото и серебро, напоминающей арабские письмена.

В этой тесной комнатке на обычных канцелярских стульях, так не гармонирующих с экзотическим великолепием стен, сидело несколько военных. При появлении адмирала они встали.

— Борис Михайлович ждет вас, — поспешно доложил пожилой полковник, один из адъютантов маршала, с трудом поднимаясь со стула, зажатого между стеной и письменным столом.

Кузнецов открыл дверь, ведущую в кабинет Шапошникова, и перешагнул порог.

Маршал сидел, склонившись над большим письменным столом. Справа от стола, у стены, стоял, очевидно, оставшийся от прежней обстановки и так нелепо выглядевший здесь сегодня огромный, неуклюжий резной буфет. В противоположной стене находилась дверь, ведущая в кабинет Сталина, — эти две комнаты непосредственно сообщались между собой.

Шапошников был в белой сорочке, широкие коричневые подтяжки резко выделялись на ней. Китель с большими маршальскими звездами в петлицах висел на спинке стула.

Увидев входящего Кузнецова, Шапошников приподнялся, поправил пенсне, протянул адмиралу руку, поздравил его с благополучным перелетом из Ленинграда и тут же стал торопливо надевать китель.

— Простите, дорогой, что принимаю не по форме, — сказал он несколько смущенно, — жара адская...

Кузнецов в нескольких словах рассказал маршалу о только что состоявшемся разговоре со Сталиным. Шапошников слушал внимательно, не прерывая, но когда Кузнецов сказал, что необходимо составить телеграмму за двумя подписями, маршал замахал руками и уже совсем иным тоном, энергично и вместе с тем просительно проговорил:

— Нет, нет, голубчик, вы уж меня сюда не втягивайте! Моя сфера — армия, а это дело чисто флотское. У флота начальство свое, так уж испокон веков повелось. Приказ получили вы, вот и выполняйте...

— Но, Борис Михайлович, — возразил Кузнецов, — ведь Верховный приказал дать телеграмму, именно за двумя подписями — моей и вашей.

— Да? — недоверчиво, точно впервые услышав об этом, переспросил Шапошников и посмотрел на Кузнецова пристально, прищурив свои умные глаза за овальными стеклами пенсне.

Кузнецов несколько смутился. Все, что он только что сказал Шапошникову, было сущей правдой — никогда и ни при каких обстоятельствах он не позволил бы себе допустить неточность в передаче приказа Сталина. И все же Кузнецову было не по себе, потому что он все-таки утаил от сидящего перед ним пожилого, всеми уважаемого человека одну деталь: то, что первоначально Сталин приказал подписать телеграмму только ему, Кузнецову. Разумеется, сейчас это уже не имело значения — Сталин изменил свой приказ. И тем не менее после того, как Шапошников произнес свое недоверчиво-вопросительное «да?», Кузнецов почувствовал некоторую неловкость.

Поэтому он сказал насколько мог твердо и официально:

— Товарищ маршал, Балтийский флот в оперативном отношении подчинен Военному совету Ленфронта. Это факт. Вместе с тем как вид Вооруженных Сил он подчинен мне, и это тоже факт, от которого я не ухожу и уходить, естественно, не собираюсь. Но когда речь идет о судьбе целого флота — части Вооруженных Сил страны, это не может не касаться Генерального Штаба Красной Армии. Есть и еще одно обстоятельство. Я только что узнал, что Ворошилов отозван из Ленинграда и на его место назначен Жуков. Георгий Константинович не такой человек, чтобы безоговорочно принять распоряжение флотского командования. Поэтому я убежден, что приказ должен быть подписан не только мною, но и, по крайней мере, начальником Генерального штаба. Не могу себе представить, что вы думаете иначе.

Шапошников слегка покачал головой, склонился над лежащей перед ним картой так низко, что Кузнецов видел теперь только его коротко остриженные, разделенные посредине прямым пробором гладкие седые волосы. Потом поднял голову и тихо сказал:

— Нет, голубчик, я не думаю иначе.

— Тогда, может быть, вам кажется, что я не точно передаю приказ товарища Сталина? — с некоторой запальчивостью спросил Кузнецов и почувствовал себя так, точно тщетно пытается вытащить причиняющую острую боль занозу. — Или... или вы считаете такой приказ... преждевременным?

Последние слова Кузнецов произнес с прорвавшейся в голосе надеждой, хотя прекрасно понимал ее тщетность.

— Нет, Николай Герасимович, я так не думаю, — с горечью, но твердо сказал Шапошников. — Знаю, убежден, что ленинградцы будут защищать город до... последней возможности. И тем не менее на сегодня положение Ленинграда очень тяжелое... На войне, в особенности такой, как эта, храбрость должна сочетаться с предусмотрительностью. Ну, а если немцам все же удастся ворваться в город?.. Что тогда? Разве можно допустить, чтобы враг вошел в ворота действующих заводов, поднялся на палубы боевых кораблей и обратил их орудия против тех, кто жив и продолжает сражаться?.. Простят ли это живые мертвым? Снимут ли защитники Ленинграда с себя ответственность за будущее вместе со своим последним вздохом? Нет, — печально покачал головой Шапошников и повторил: — Нет, Николай Герасимович. Мы с вами старые солдаты и знаем, что нет!

— Но тогда почему же... — начал было Кузнецов, но осекся. Он хотел спросить: «Почему же тогда вы хотите устраниться от участия в том тяжелом, но неизбежном деле, ради которого я приехал к вам?..»

Но Кузнецов не произнес этих слов, поняв, что они ни к чему; старый маршал сказал сейчас то, о чем и сам он размышлял, выехав из Кремля: как ни горек приказ Сталина, он правилен и неизбежен.

Однако Шапошников, видимо, и без слов понял смысл обращенного к нему вопроса.

— Потому, — тихо сказал он, — что война есть война, Николай Герасимович, и не мне говорить вам, что на войне может произойти всякое... — Он наклонился над столом, приближаясь к Кузнецову. — Ведь есть и другая сторона вопроса, назовем ее чисто практической. Вы готовы поручиться, что, получив наш с вами приказ, какие-нибудь горячие головы там, на Балтике, не приведут его в исполнение раньше... крайней необходимости?

— Борис Михайлович, — воскликнул Кузнецов, — настоящему моряку легче пустить себе пулю в лоб, чем самому затопить свой корабль!

— Не сомневаюсь, голубчик, поверьте, не сомневаюсь! — согласно закивал головой Шапошников. — Но приказ есть приказ. И если тем, от кого будет зависеть его исполнение, п о к а ж е т с я, — он сделал ударение на этом слове, — что захват Ленинграда немцами неизбежен, то...

Маршал развел руками, откинулся на высокую резную спинку стула и продолжал:

— Видите ли, Николай Герасимович, на войне есть своя диалектика. И как всякая диалектика, она не исчерпывается формальной логикой. Если рассуждать с позиций этой логики, то выходит, что враг одерживает одну победу за другой. Но, несмотря на это, — он повысил голос, — несмотря на это, противник уже потерпел неудачу. Ведь, согласно показаниям пленных немецких солдат и офицеров, Гитлер рассчитывал быть сегодня уже и в Москве и в Ленинграде. И все как будто шло к этому. А все же враг не в Москве и не в Ленинграде!

Шапошников ударил ладонями по столу и вскинул голову. Потом, подавляя волнение, взял со сто-

ла большую лупу, повертел ее в руке и уже обычным, ровным голосом продолжал:

— Сегодня взятие немцами Ленинграда, с точки зрения военной арифметики, казалось бы, можно считать неизбежным: немцы блокировали город и ведут артиллерийский обстрел улиц. Но бывает и так, — он подался вперед, к Кузнецову, — что ситуация, из которой, по элементарным расчетам, уже нет выхода, через несколько часов, через сутки меняется. Потому ли, что героизм обороняющихся превзошел все самые смелые ожидания или что-то не сработало в военной машине врага... А флот, флот-то будет уже уничтожен!..

Некоторое время они оба молчали. Потом Кузнецов с плохо скрытым отчаянием в голосе сказал:

— Но ведь приказ!.. Приказ Верховного...

— Да, приказ... — повторил Шапошников и как-то весь обмяк. Он снял пенсне, протер его вынутым из кармана ослепительной белизны платком, снова надел и сказал уже твердо: — Тем не менее Верховный прав. Война есть война. Необходимо только принять все меры, чтобы приказ был приведен в исполнение лишь в том случае, если уж...

Он не закончил свою и без того ясную мысль и решительно, как бы отметая все сомнения, предложил:

— Давайте сочинять телеграмму.

Вырвал листок из лежащего на краю стола большого блокнота и протянул его Кузнецову.

Когда текст был написан, Кузнецов спросил:

— Чью подпись ставить первой? Вашу? Мою?

Но Шапошников взял листок и долго, как показалось Кузнецову, очень долго держал его перед глазами. Потом положил листок на стол и тихо, но твердо ответил:

— Верховного Главнокомандующего.

— Но... но как же... — недоуменно начал было Кузнецов.

Но Шапошников прервал его:

— Надо снова обратиться к нему. Убедить, что только его подпись заставит всех, от кого зависит выполнение этого приказа, действовать с особой ответственностью и... осмотрительностью.

— Вы же понимаете, — уже горячась, воскликнул Кузнецов, — что я не могу снова...

— Да... понимаю, — сказал Шапошников. И решительным движением снял трубку одного из телефонов.

...Через десять минут они были у Сталина.

Маршал мягко, но настойчиво излагал аргументы, которые понуждают и его, Шапошникова, и Кузнецова просить, чтобы товарищ Сталин сам подписал приказ.

Листок с текстом телеграммы одиноко лежал на столе, резко выделяясь на фоне зеленого сукна.

Выслушав Шапошникова, Сталин долго молчал. Потом произнес только одно слово:

— Хорошо.

И Шапошников и Кузнецов ждали, что Сталин сейчас подпишет телеграмму. Но он, бросив еще раз взгляд на лежащий на столе листок, посмотрел на часы, потом сделал несколько шагов по комнате и, возвращаясь обратно, проходя мимо стоящих в напряженном ожидании Шапошникова и Кузнецова, негромко сказал:

— Оставьте текст у меня.

Глава III

Ворошилов долго смотрел на врученную ему Жуковым записку. Гораздо дольше, чем требовалось для того, чтобы прочитать девять написанных синим карандашом слов:

«Передайте командование фронтом Жукову, а сами немедленно вылетайте в Москву. И. Сталин».

Затем, не глядя на сидящего рядом Жданова, передал записку ему, как-то недоуменно, точно ожидая ответа на невысказанный вопрос, медленно обвел взглядом присутствующих и наконец сказал:

— Товарищи, к нам прибыл... новый командующий Ленинградским фронтом генерал армии Жуков.

Ворошилов сконцентрировал всю свою волю, чтобы произнести эти слова спокойно, чисто информационно, не вкладывая в них никаких эмоций.

Тем не менее в середине фразы голос его чуть заметно дрогнул.

Осуждая себя за проявленную слабость, Ворошилов уже твердым, требовательным голосом приказал:

— Стул командующему!

С той минуты, как дверь в кабинет Ворошилова столь внезапно открылась и в комнату мерной, тяжелой походкой, чуть поскрипывая сапогами, вошел Жуков, а двое других появившихся вместе с ним генералов остались стоять у двери, здесь воцарилась тишина.

Сидящие в два ряда за длинным, узким, заваленным картами, блокнотами и планшетами столом члены Военного совета фронта и вызванные на это заседание руководящие работники штаба и политуправления, секретари райкомов, директора крупнейших ленинградских предприятий с явным недоумением следили за происходящим.

Когда Ворошилов после столь продолжительного молчания объявил наконец, что назначен новый командующий фронтом, тишина в комнате стала еще более напряженной.

Участники заседания были ошеломлены услышанным и еще не могли определить своего внутреннего отношения к тому, что произошло. Кое-кто из них попытался незаметно взглянуть на Жданова, чтобы понять, как он относится к столь неожиданному для всех событию, но Жданов сидел неподвижно, опустив глаза.

Отрывистое приказание Ворошилова: «Стул командующему!» — как бы вывело людей из оцепенения. Они задвигались на своих местах, кто-то из

работников штаба вскочил, кинулся к стоящим у стены свободным стульям и, схватив один из них, торопливо перенес к Жукову.

— Садитесь, Георгий Константинович, — пригласил Ворошилов, резким движением отодвигая свой стул в сторону и тем самым как бы предлагая Жукову занять место во главе стола.

Но Жуков, точно не замечая этого, сказал, указывая на все еще стоящих у двери военных:

— Генералы Федюнинский и Хозин прибыли со мной. Садитесь, товарищи генералы.

Лишь после этого он опустился на придвинутый стул, медленным, пристальным взглядом обвел присутствующих и, ни к кому в отдельности не обращаясь, сухо спросил:

— Какой вопрос обсуждает Военный совет?

Сидящий за спиной Жданова Васнецов, чуть подавшись вперед, ответил:

— В данный момент — мероприятия по минированию основных военно-промышленных объектов города.

Жуков, видимо, ожидал ответа от Ворошилова. Он повернул голову к Васнецову и, глядя на него исподлобья, проговорил:

— На предмет?..

На этот раз ответил Жданов. Едва заметно пожав плечами, он сказал:

— На случай чрезвычайных обстоятельств, Георгий Константинович! Враг, как известно, у ворот города.

— Вот именно, Андрей Александрович, — медленно, взвешивая каждое слово, произнес Жуков. — Предлагаю вопрос с повестки дня снять, заседание Военного совета пока прервать. Мне необходимо более детально ознакомиться с обстановкой. — И добавил, как бы выполняя необходимую формальность: — Не возражаете, Андрей Александрович?

Жданов молча кивнул.

— Приглашенные товарищи свободны, — объявил Жуков. — Членов Военного совета и начальника Управления связи прошу остаться. Командующим родами войск быть на своих местах, скоро буду вызывать. Все.

Когда дверь за последним из покинувших комнату закрылась, Жуков обратился к начальнику штаба:

— Где оперативная и разведывательная карты?

Полковник Городецкий вскочил с места. Пожалуй, из всех присутствующих здесь руководителей Городецкий чувствовал себя наименее уверенно: за последние недели он был третьим по счету командиром, исполнявшим обязанности начальника штаба.

Торопливо раздвинув лежавшие на столе карты, Городецкий нашел нужные и положил перед Жуковым.

Генерал склонился над ними, всматриваясь в изогнутые, жирно прочерченные синие стрелы, показывающие направление начавшегося позавчера наступления немцев в районе Колпино. Другие, нанесенные только что, перед началом заседания, отметки свидетельствовали о том, что на юго-западе от города противник находится уже в Красном Селе и ведет бои за Урицк и поселок Володарский — фактически в предместьях Ленинграда.

Наконец Жуков поднял голову, выпрямился и, обращаясь к молча сидевшему Ворошилову, сказал:

— У нас, Климент Ефремович, нет времени на излишние формальности. Военный совет налицо. Давайте закончим.

С этими словами он взял один из лежащих на столе карандашей и размашисто написал на углах оперативной и разведывательной карт: «Командование фронтом принял». Поставил дату, подписался и подвинул карты Ворошилову.

Какое-то мгновение маршал смотрел на карты, казалось, не понимая, что от него требуется, затем взял карандаш и поспешно, с чрезмерным нажимом написал: «Командование фронтом сдал. К. Ворошилов».

— Если члены Военного совета согласны, — сказал Жуков, обращаясь к Жданову, — мы продолжим заседание... — он взглянул на часы, — скажем, в двадцать три ноль-ноль.

— Но, товарищ командующий, — неуверенно произнес Городецкий, — положение крайне напряженное. По только что полученным данным, противник пытается прорваться к району Стрельны. Не будет ли правильнее немедленно разъехаться по частям?..

— Когда надо будет — поедем, — оборвал его Жуков, — а пока метание по армиям и частям прекратить!

Затем обвел взглядом присутствующих и спросил:

— Кто начальник Управления связи?

— Я, — ответил, вставая и вытягиваясь, широкоплечий, кряжистый, с седеющими, коротко остриженными волосами военный. — Генерал-майор Ковалев.

— Где переговорный пункт?

— В подвальном помещении, товарищ командующий.

— Ведите.

И первым направился к двери.

В кровопролитных боях Великой Отечественной войны выдвинулась новая плеяда блестящих советских полководцев. Это произошло не сразу. Имена, которые в ходе войны приобрели всемирную славу, в первые дни, недели и даже месяцы великой битвы были известны лишь относительно узкому кругу руководящих деятелей Ставки и Генерального штаба.

Происходил вначале незаметный процесс смены военных поколений. В первый период Отечественной войны многие решающие, ключевые посты в Красной Армии занимали полководцы времен гражданской войны. Но в ходе сражений становилось

ясно, что не они, обладатели заслуженно громких боевых имен, поведут армию в долгожданное, решающее наступление.

В огне сражений выковывались новые командные кадры. Пока еще будущие маршалы воевали во главе бригад, дивизий, корпусов. Еще отступали вместе со своими частями, руководя обороной со своих КП, нередко выдвинутых чуть ли не в боевые порядки ведущих тяжелые бои войск. Под их командованием советские бойцы рвали удавные кольца окружений, учились не бояться мчащихся прямо на окоп танков, не впадать в панику, обнаружив у себя в тылу вражеский десант, учились контратаковать, отбивая захваченные врагом населенные пункты, обозначенные лишь на крупномасштабных картах.

Это были люди и молодые, и средних лет, некоторым из них довелось участвовать в первой мировой и гражданской войнах, но как военачальники большого масштаба, как стратеги и тактики, как военные мыслители и мастера ведения современного боя они сформировались именно в ходе этой, ни с какой другой в истории войн не сравнимой гигантской битвы.

Всех их отличали большой полководческий талант, современный уровень военного мышления и личная смелость, всех их воспитала партия коммунистов, верными сынами которой они являлись.

И среди этих военачальников раньше других выдвинулся Георгий Константинович Жуков. Он начал свой боевой путь рядовым кавалеристом еще во время первой мировой войны, участвовал в войне гражданской, а затем отличился в боях на Халхин-Голе и, пожалуй, одним из первых представителей новых командных кадров привлек к себе поощрительное внимание Сталина. В самый канун войны он занимал высокую должность начальника Генерального Штаба Красной Армии.

Поэтому не случайно, что, когда положение Ленинграда стало в сентябре 1941 года катастрофическим, Сталин, который так недавно проявил к Жукову явную несправедливость, сняв его с поста начальника Генерального штаба и направив на Резервный фронт, вызвал генерала в Москву и приказал ему вступить в командование Ленинградским фронтом.

Думал ли Сталин о том, что принимает это решение слишком поздно? Верил ли, что войскам под командованием Жукова удастся остановить врага, находящегося уже близ ленинградских окраин?..

Так или иначе, приказывая Жукову срочно вылететь в Ленинград, он сказал с горечью:

— Ленинград в крайне тяжелом положении. Или сумеете остановить немца, или погибнете вместе с другими. Третьего не дано.

По широкому коридору Смольного начальник Управления связи фронта шагал впереди, указывая дорогу идущим несколько поодаль Жукову и Ворошилову.

Встречавшиеся на пути военные торопливо уступали им дорогу, прижимаясь к стенам, застывали в положении «смирно».

Жуков ступал тяжело и вместе с тем слегка раскачиваясь, что выдавало в нем бывшего кавалериста, шел молча, не глядя по сторонам и не отвечая на приветствия. Ворошилов — на полшага сзади, несколько по-стариковски, что не было свойственно ему ранее, шаркая подошвами по каменному полу.

О чем думал сейчас маршал, понимая, что в последний раз идет по этому коридору? Может быть, те девять коротких, беспощадных слов Сталина все еще стучали в его висках? Может быть, перед глазами Ворошилова в эти мгновения проходила вся его жизнь? Может быть, он мучительно старался понять, какие все-таки совершил ошибки, в результате которых врагу удалось подойти почти вплотную к Ленинграду? Может быть, упрекал себя за то, что еще раньше сам прямо и честно не сказал Сталину, что не в силах выполнить возложенную на него трудную задачу?..

Всю жизнь привыкший оценивать деятельность людей не просто по количеству затраченных ими усилий, но прежде всего по конечным результатам, Ворошилов не искал оправданий и теперь, когда дело касалось его самого, не искал утешений в том, что и другим командующим фронтами — Тимошенко и Буденному — тоже не удалось остановить врага и погнать его вспять...

По узкой, тускло освещенной лестнице они спустились в подвальное помещение. Ковалев открыл обитую железными листами дверь и сделал шаг в сторону, пропуская вперед Жукова и Ворошилова.

Жуков вошел первым и, бросив беглый взгляд на телеграфистов, склонившихся над расположенными вдоль стен аппаратами, спросил вошедшего следом за ними Ковалева:

— Где связь со Ставкой?

— Сюда, товарищ командующий, — поспешно выдвигаясь вперед и указывая в дальний конец комнаты, ответил Ковалев.

Сидящий за аппаратом «Бодо» младший лейтенант вскочил и, вытянувшись, начал было рапортовать, обращаясь к маршалу.

— Связь со Ставкой имеете? — резко прервал его Жуков.

— Так точно, товарищ... товарищ генерал армии, — несколько растерянно ответил телеграфист, всматриваясь в петлицы незнакомого ему генерала.

— Вызывайте! — приказал Жуков. Его строгий взгляд как бы придавливал младшего лейтенанта, заставляя того снова сесть. Телеграфист опустился на табуретку, включил аппарат.

— Передавайте, — сказал Жуков. — У аппарата Жуков. Прошу доложить товарищу Сталину...

Он произнес это спокойно, даже холодно, без всякой аффектации, но слова его заставили всех находящихся в этой просторной комнате на мгновение повернуть к нему головы.

Младший лейтенант начал выстукивать текст на клавиатуре. Затем остановился и вопросительно посмотрел на генерала.

— Передавайте, — приказал генерал телеграфисту. — В командование фронтом вступил. Точка. Жуков. У меня все, — сказал он и вопросительно взглянул на Ворошилова, как бы спрашивая, намерен ли тот передать что-либо от себя.

Ворошилов как-то нерешительно приблизился к аппарату, несколько мгновений невидящими глазами смотрел на пальцы телеграфиста, потом, точно очнувшись, махнул рукой и, ни на кого не глядя, направился к выходу.

Вскоре в кабинете Ворошилова, который ему надлежало покинуть, собрались приглашенные маршалом старшие штабные командиры и руководители родов войск Ленфронта, находившиеся в это время в Смольном.

Стоя у письменного стола с наполовину выдвинутыми и уже пустыми ящиками — адъютанты маршала очистили их от бумаг, — Ворошилов кивком головы отвечал на уставное «Разрешите?», с которым обращались командиры, один за другим входившие в комнату.

Почти все они присутствовали на заседании Военного совета, все знали о происшедшем изменении в руководстве фронтом. И, как всегда бывает в подобных случаях, в сознании каждого занимавшего ту или иную командную должность в штабе невольно возникала мысль и о своей собственной дальнейшей судьбе.

Однако сейчас, глядя на молча стоявшего у стола Ворошилова, никто из присутствующих — ни начальник штаба полковник Городецкий, ни его заместители, ни командующие родами войск — не думал о себе. Они думали о маршале.

У командиров, которые собрались здесь, в иное время могло бы найтись немало критических замечаний, касающихся стиля его работы. Многие из них сознавали, что Ворошилов находится во власти устарелых представлений о методах руководства войсками. Нередко про себя они осуждали маршала за недостаточную внутреннюю организованность, за беспорядочное подчас метание по воинским частям, склонность к длительным совещаниям и частым «накачкам».

Но в эти тяжелые минуты расставания люди думали о другом: о беззаветной личной храбрости маршала, о его простоте в обращении с подчиненными, о выдающейся роли Ворошилова в гражданской войне, в которой почти все из присутствующих здесь командиров тоже участвовали.

Они сознавали, что если маршал и виноват в том, что не сумел задержать врага хотя бы на дальних подступах к Ленинграду, то в том же самом виновны и они...

Ворошилов по-прежнему недвижимо стоял у стола, пристально глядя на то и дело открывающуюся дверь, на как-то нерешительно переступающих порог командиров, и ему хотелось, чтобы в комнату входили все новые и новые люди, тем самым отдаляя момент окончательного прощания.

Последним вошел полковник Королев.

Ворошилов понял, что больше ждать некого, — все, кого он пригласил, уже в сборе, и теперь он должен произнести столь трудные для него слова.

Возвращаясь с узла связи сюда, в фактически уже не принадлежащий ему кабинет, Ворошилов старался подготовиться к этому последнему разговору, найти такие слова, которые бы помогли сосредоточить все внимание тех, кого он теперь вынужден был покинуть, на неотложных задачах, стоящих перед фронтом, подняли бы в них бодрость духа, укрепили веру в победу.

Он хотел подчеркнуть справедливость принятого Верховным Главнокомандующим решения, продиктованного заботой о судьбе Ленинграда, — именно так объяснить назначение Жукова, которого и сам он, Ворошилов, ценил и уважал. И маршалу казалось, что он нашел спокойные, твердые, далекие от какой-либо личной обиды слова и готов их произнести.

Но теперь, когда он смотрел на отводящих глаза, переминающихся с ноги на ногу командиров, со многими из которых успел побывать под вражескими пулями, под бомбежками и артиллерийским обстрелом, на командиров, в которых верил и которые верили ему, — подготовленные слова забылись. Сознание, что он покидает Ленинград, так и не выполнив возложенной на него партией, Сталиным задачи, что покидает город в то время, когда враг стоит у его стен, что лично ему не суждено умереть в рукопашной схватке, если немцы проникнут на ленинградские улицы, — это горькое сознание потрясло Ворошилова. Он медленно оглядел стены своего кабинета — портреты Ленина и Сталина, полуприкрытую шторкой большую карту, выдвинутые пустые ящики письменного стола и, снова переведя взгляд на выстроившихся посредине комнаты людей, тихо сказал, чуть разведя руками:

— Ну вот... до свидания, товарищи!.. Отзывает меня Верховный...

Эти слова стоили Ворошилову огромных усилий. Он произнес их как бы про себя, точно только сейчас полностью отдав себе отчет в случившемся.

— Что ж... наверное, так мне, старому, и надо... — глухо продолжал маршал. — Это не гражданская война. Эту войну надо вести иначе... совсем иначе.

Голос Ворошилова дрогнул, и он снова умолк.

Но в тот момент, когда присутствующим здесь

людям показалось, что маршал уже не в состоянии произнести больше ни слова, в нем внезапно произошла зримая перемена.

Ворошилов вдруг резко выпрямился. Казалось, каждый мускул напрягся в нем до предела. Он поднял голову и неожиданно звонким, молодым голосом воскликнул:

— И все же мы расколотим фашистов, товарищи! Найдут они свою могилу под Ленинградом, найдут, сволочи!

Несколько мгновений он так и стоял, вытянувшись во весь свой небольшой рост и держа перед грудью сжатые кулаки, потом медленно разжал пальцы, опустил руки и уже чуть слышно сказал:

— Прощайте!

И медленно стал обходить командиров, каждому крепко пожимая руку.

Затем первым вышел из кабинета.

Часом позже самолет, имея на борту маршала Ворошилова и группу прибывших с ним генералов, поднялся в воздух с окутанного вечерним сумраком аэродрома...

В одиннадцатом часу вечера в кабинет Жданова торопливо вошел член Военного совета адмирал Исаков. Он был очень взволнован.

— Андрей Александрович, — сказал он, поздоровавшись, — адмирал Трибуц просил меня немедленно связаться с вами и доложить... сам он в настоящее время в Кронштадте и не может прибыть в Ленинград, потому что занят выполнением срочного задания...

Жданов слушал молча. Он знал, чтó именно так взволновало этого обычно спокойного человека, знал, почему адмирал, как правило, четкий и лаконичный в своих докладах, сейчас явно не находит слов, чтобы высказать то, что привело его сюда.

Исаков вытер платком капли пота на лбу, пригладил разделенные пробором волосы и, беря себя в руки, стараясь говорить спокойно, продолжал:

— Час тому назад прибыл из Москвы заместитель наркома внутренних дел. Он передал приказ Ставки срочно составить план минирования каждого корабля, форта, склада. К подготовке приказано приступить немедленно...

Адмирал умолк, ожидая, чтó скажет на это Жданов.

Но Жданов по-прежнему молчал. Он сидел нахмурившись, почти сдвинув брови на переносице. Его нездоровое, серого цвета лицо стало почти землистым. Только острые карие глаза, над которыми набухли веки, глядели пристально и зорко.

— Андрей Александрович, — уже несколько повышая голос, снова заговорил Исаков, — нам известно положение, сложившееся под Ленинградом... Но неужели... неужели вы считаете его настолько безнадежным? Ведь речь идет о судьбе целого флота! Я обращаюсь к вам сейчас не только как к члену Военного совета... Вы как секретарь ЦК курировали флотские дела...

— Иван Степанович, — негромко и как-то отчужденно проговорил наконец Жданов, — о приказе товарища Сталина мне уже известно. Смысл этого приказа заключается в том, что ни один корабль, ни один склад с имуществом, ни одна пушка не должны достаться врагу. Вы знаете, такова общая директива Центрального Комитета партии относительно любого района, находящегося под угрозой вражеского вторжения. Ни один завод, ни одна шахта, ни один пуд хлеба! Нам трудно и горько уничтожать то, что было создано огромными усилиями партии и народа. Но если вопрос встанет так — отдавать ли это врагу или уничтожить собственными руками, то ни малейших колебаний не должно и не может быть. Выполняйте приказ.

— Андрей Александрович! — волнуясь, сказал Исаков. — Балтфлот, несмотря ни на что, — это грозная действующая сила! Враг находится в пределах досягаемости огня нашей артиллерии! Кроме того, мы сейчас формируем подразделения морской пехоты, весь флот, все — от адмирала до матроса — нацелены лишь на одно: на активные боевые действия против врага! Именно в этом мы видим свою главную задачу!

— Именно такой она и остается, — твердо сказал Жданов. — О приказе Ставки должно знать весьма ограниченное число людей: командование флота и непосредственные исполнители. Только они!

Исаков медленно поднялся. Встал со своего кресла и Жданов. Адмирал молчал, точно в нерешительности, потом медленно проговорил:

— Андрей Александрович... последний вопрос... я хочу спросить вас... как коммунист коммуниста... когда, вы полагаете, может поступить приказ?.. Словом, когда... — Он не договорил и лишь резко махнул рукой, точно подрубая что-то.

И вдруг увидел, как мгновенно изменилось лицо Жданова. На его землистого цвета щеках вспыхнул слабый румянец.

— Вы спрашиваете меня как коммунист коммуниста?.. — повторил Жданов. — Когда?.. — И подчиняясь неудержимому внутреннему порыву, громко воскликнул: — Никогда!

Несколько мгновений длилось молчание. Потом Жданов сказал уже спокойно и строго:

— А приказ выполняйте в точности, как того требует Ставка.

Он посмотрел на часы. Было без десяти одиннадцать.

— Сейчас начнется заседание Военного совета фронта, — сказал Жданов. — Поскольку Трибуца нет, вам надо обязательно присутствовать. Идемте.

Глава IV

— Докладывайте! — приказал Жуков начальнику штаба полковнику Городецкому.

То был безрадостный, тяжелый доклад. Части недавно сформированной 42-й армии, которая, соседствуя с другой армией, 55-й, защищала Ленинград с юга, после изнурительных боев оставили Красногвардейск и отошли на Пулковский оборонительный рубеж. Таким образом, на Южном направлении враг почти вплотную подошел к Ленинграду и завязал наступательные бои на юго-западных склонах Пулковских высот. Положение осложнялось тем, что основными силами в этом районе были части народного ополчения. В помощь им под Урицк спешно перебросили 21-ю дивизию войск НКВД. Но этого было явно недостаточно.

Итак, на юге считанные километры отделяли немцев от Ленинграда. Северо-западнее они рвались к Петергофу и Стрельне. На севере, пересекая весь Карельский перешеек, над Ленинградом нависал фронт финской армии. На западе враг оккупировал уже всю Прибалтику. На востоке лишь через Ладожское озеро Ленинград имел еще связь с остальной советской землей, которую вот уже несколько дней здесь, в городе, подобно зимовщикам, некогда дрейфовавшим на полярной льдине, стали называть «Большой землей». Да и на Ладоге только южный берег озера — на протяжении примерно девяноста километров — не был еще занят врагом. Фактически же противник, имея превосходство в авиации, контролировал почти все Ладожское озеро и бóльшую часть прибрежной территории.

Обо всем этом и докладывал сейчас полковник Городецкий. Ему хотелось, чтобы Жуков не только получил исчерпывающие сведения о положении под Ленинградом, но и понял, что он, Городецкий, не несет, не может нести личной ответственности за создавшуюся ситуацию, поскольку занимает должность начальника штаба всего несколько дней. Но при этом полковник сознавал, что его личная судьба меньше всего занимает сейчас нового командующего фронтом.

В то время как Городецкий, обращаясь главным образом к Жукову, указывал на разостланной перед ним карте наиболее уязвимые участки фронта, дверь в кабинет неожиданно отворилась, и в комнату поспешно вошел полковник Королев. Торопливо окинув взглядом присутствующих, точно решая, к кому из них следует обратиться, он подошел к сидевшему рядом со Ждановым Васнецову и, склонившись к нему, прошептал несколько слов.

Васнецов отпрянул, точно его неожиданно толкнули, потом потянул за рукав Жданова...

Казалось, что Жуков ничего этого не замечает. И начальник штаба продолжал свой доклад, поскольку командующий внимательно слушал его, не отрывая глаз от карты. Но когда Васнецов стал что-то тихо говорить на ухо Жданову, Жуков повернул голову и, глядя не на них, а на стоящего за ними встревоженного Королева, резко спросил:

— Кто такой?

Королев растерянно молчал. Он присутствовал на заседании Военного совета, когда появился Жуков, и потом, совсем недавно, в числе других руководящих работников штаба представлялся ему.

— Я спрашиваю, кто вы такой и почему являетесь без разрешения?! — повторил Жуков.

Вытягиваясь и опуская руки по швам, Королев громко ответил:

— Полковник Королев из оперативного Управления штаба.

Затем сделал шаг вперед и уже несколько тише сказал:

— Товарищ командующий! Только что получено сообщение: немцы прорвались в район Кировского завода.

На всех, кто находился сейчас в этой комнате, его слова подействовали ошеломляюще.

На всех, но, очевидно, кроме Жукова.

Не вставая, не меняя положения и глядя на Королева изучающе, строгим, пристальным взглядом, он недовольно спросил:

— Какие еще немцы?

— Я... я не знаю, — растерянно ответил Королев, — только что по телефону сообщили, и я решил, что...

— Кто сообщил? — прервал его Жуков.

«К чему он задает эти ненужные вопросы?!» — подумал Королев. На какое-то мгновение он представил себе, как в этой ситуации поступил бы Ворошилов. Скорее всего немедленно закрыл бы заседание, бросился в машину и... Но, может быть, подумал Королев, до нового командующего просто не дошел страшный смысл полученного сообщения?..

— Вы что, оглохли, полковник? — повысил голос Жуков.

— Товарищ командующий! — овладевая собой, проговорил Королев. — На проводе майор Сидоров, командир истребительного батальона, расположенного в районе Кировского завода. Он утверждает, что немцы...

— Какими силами?

— Не могу знать, — ответил Королев, уже сознавая, что ответ его звучит нелепо, — я счел необходимым, не тратя времени, немедленно доложить!.. А комбату приказал ждать у телефона дальнейших распоряжений.

— Начальник связи, — круто поворачиваясь к сидевшему в конце стола Ковалеву, сказал Жуков, — переключите этого паникера сюда.

Он кивнул на телефоны, стоящие на письменном столе.

Ковалев поспешно вышел, точнее, выбежал из кабинета.

Потрясенному сообщением Королева Жданову тоже пришла в голову мысль, что Жуков плохо представляет себе, где расположен Кировский завод, не

знает, что он находится в самом городе, на улице Стачек!..

— Георгий Константинович, — сказал Жданов, — может быть, все же необходимо немедленно выехать?..

В этот момент Ковалев с порога доложил:

— Майор Сидоров на проводе, товарищ командующий!

Жуков встал точно нехотя и пошел к телефонам. Ковалев опередил его, рывком снял трубку одного из аппаратов и протянул ее командующему.

Тот не спеша поднес трубку к уху и, слегка растягивая слова, проговорил:

— Слушай ты, паникер! Кто у тебя там появился?.. Я тебя не спрашиваю, немцы или турки! Я спрашиваю: какими силами? Докладывай только то, что видел сам, понял?!

В напряженной тишине Жуков слушал ответ майора. Все, кто был в комнате, неотрывно следили за выражением лица командующего. Они видели, как медленно кривились в жесткой усмешке его губы.

Наконец Жуков заговорил, отчетливо выговаривая каждое слово и время от времени умолкая, чтобы выслушать ответ:

— Ты чем командуешь? Детским садом или истребительным батальоном?.. А раз истребительным, так истребляй! И к тому же сам их не видел!.. Теперь слушай. Если хоть один немец на твоем участке прорвется, хоть на танке, хоть на мотоцикле, хоть на палке верхом, — в трибунал пойдешь! Под суд, говорю, пойдешь, понял?!

И он бросил трубку на рычаг. Затем тяжелым, размашистым шагом вернулся на свое место и, опустившись на стул, сказал:

— Сам ничего толком не знает... Комвзвода ему, видите ли, доложил, что откуда-то с запада по направлению к Кировскому танки идут. Да и не танки, кажется, а танк, а может, и танкетка!.. Паникер!

Он посмотрел на все еще неподвижно стоящего Королева и, обращаясь уже к нему, продолжал:

— Еще раз с паническим сообщением ворветесь — разжалую. А теперь поезжайте в район Кировского. Через сорок минут доложите по телефону, что там за немцы такие появились. Да не мне доложите, адъютанту!

— Слушаю, товарищ командующий! — мгновенно и почти на бегу откликнулся Королев, сам удивляясь, почему ответ его прозвучал так бодро и даже радостно.

Повернувшись к начальнику штаба, Жуков бросил:

— Докладывайте дальше!

И снова склонился над картой.

Доклад продолжался. Начальник штаба говорил теперь о том, что, по самым последним сведениям, противнику удалось частично овладеть Урицком.

Жуков молчал, насупившись. Только два раза он прервал полковника, отрывисто бросая: «Короче!» И тогда Городецкому казалось, что командующий слушает его лишь для проформы.

Но начальник штаба был неправ. Просто Жукова интересовало в докладе главным образом то, чего он еще не знал сам.

А знал Жуков уже многое. Он недаром провел несколько часов в оперативном и разведывательном управлениях Генштаба, направившись туда прямо из кабинета Сталина. В Генштабе Жуков изучил положение дел не только под Ленинградом, но и на других фронтах — без этого невозможно было оценить потенциальные возможности немецкой группы армий «Север».

Не потратил Жуков зря и то время, которое прошло с момента, когда он по аппарату «Бодо» доложил Ставке о своем вступлении в новую должность.

И теперь он уже хорошо, почти зримо представлял себе всю картину сражения на подступах к Ленинграду и именно поэтому был уверен, что прорваться к Кировскому заводу могла на самый худой конец лишь какая-то шальная группа вражеских разведчиков, не представляющая серьезной опасности.

Жуков слушал доклад начальника штаба фронта и, казалось, уже забыл об эпизоде, который только что здесь произошел.

Но для большинства присутствующих он не прошел бесследно.

Им, успевшим привыкнуть к темпераментному, остро на все реагирующему Попову и к готовому в любую минуту мчаться на место боев Ворошилову, казалось, что Жуков проявил неоправданное легкомыслие, отмахнувшись от тревожного, — нет, катастрофического сообщения!

Никто из находящихся здесь военных, естественно, не решился высказать свои мысли вслух. Молчали Жданов и Васнецов, хотя им хотелось обратить внимание Жукова на опасность недооценки полученного сообщения, молчали, боясь уронить авторитет нового командующего, присланного Сталиным при таких чрезвычайных обстоятельствах.

Но Жуков, казалось, не ощущал сгустившейся атмосферы. Его, видимо, совершенно не интересовало, что думают о нем эти застывшие в молчании люди.

Полковник окончил свой доклад. Жуков продолжал сосредоточенно смотреть на карту. Потом, не поднимая головы, негромко сказал:

— Дайте точную справку, какие силы действуют на участке Урицк — Красное Село. Сколько, по вашим данным, там у нас артиллерии?

Все так же не поднимая головы, выслушал ответы начштаба и командующего артиллерией. Это были короткие, ясные ответы, казалось, доклады-

вающие успели перенять четкий стиль командующего фронтом.

— Из всего следует, — сказал, как бы подводя итог, Жуков, — что противник концентрирует свои силы здесь, между Ропшей и Пулковом, так? — Он быстрым движением очертил пальцем круг на разведывательной карте и вдруг взорвался: — Так какого же черта вы держите одинаковую плотность войск по всему фронту? Немцы идут танковыми клиньями к Урицку и Пулковским высотам. Именно отсюда они рассчитывают прорваться в Ленинград. Здесь и должны быть сконцентрированы наши главные силы! Почему же до этого не додумались? Я спрашиваю: почему?!

Жуков обвел присутствующих гневным взглядом. Никто не заметил, как при этом он покосился на висящие на стене часы, и никто, разумеется, не знал, что про себя Жуков отметил: с момента ухода полковника Королева прошло двадцать пять минут.

У всех в ушах звучал резкий, как удар хлыста, вопрос: «Почему?!» И хотя вопрос этот не был адресован кому-либо конкретно, взгляды всех невольно обратились к Жданову. Никто и никогда не позволял себе разговаривать подобным образом в его присутствии.

Но Жданов молчал. Его измученное бессонными ночами лицо было бледным, губы были плотно сжаты. Чувствовалось, что это молчание стоит ему огромного внутреннего усилия.

Член Политбюро и секретарь ЦК, он остро ощущал свою личную ответственность за катастрофическое положение, сложившееся под Ленинградом. Поэтому его не мог не задеть резкий тон нового командующего, а последний вопрос Жукова звучал уже как прямой упрек руководству фронтом и в том числе ему, Жданову.

Разумеется, многое можно было бы ответить Жукову. И прежде всего сказать, что Военный совет не бездействовал, что все возможные подкрепления были в последние дни переброшены на юг...

Но факт оставался фактом: враг подошел к стенам Ленинграда.

И снова в ушах Жданова прозвучала гневная фраза Сталина по адресу Ворошилова и его, Жданова: «Специалисты по отступлению!..»

Жданов считал этот упрек справедливым, хотя Сталин не мог не знать о беззаветном героизме защитников Ленинграда, об их непреклонной решимости отстоять город. Но как политик, как один из руководителей партии, Жданов сознавал, что в те минуты, когда Сталин диктовал эти горькие слова, одно было для него решающим: враг неумолимо приближается к Ленинграду...

И горькое сознание этого заставило Жданова сдержаться, не реагировать на ту резкость и непреклонную требовательность, которые звучали в каждом слове Жукова.

Жданов понимал, что внезапная замена командующего вызвана именно сомнениями Сталина в способности нынешнего руководства отстоять город.

Однако, увидев, что все взгляды обращены к нему, Жданов сдержанно сказал:

— Георгий Константинович, положение, которое отмечено у вас на карте, сложилось буквально в последние часы. Но тем не менее вы правы. Распределение войск сейчас уже не соответствует создавшейся обстановке.

Может быть, именно эта сдержанность и произвела определенное впечатление на Жукова, напомнив ему о высоком положении человека, сидящего по правую руку от него.

Снова бросив мгновенный взгляд на часы, он сказал подчеркнуто деловым тоном, на этот раз обращаясь уже непосредственно к Жданову:

— Наиболее уязвимый участок фронта сейчас обороняет сорок вторая армия. Так, Андрей Александрович?

Это «так?» и обращение по имени-отчеству было той данью уважения к Жданову, которое Жуков счел своим долгом проявить публично. Ради этого он и задал свой чисто риторический вопрос: всем присутствующим, включая самого Жукова, месторасположение этой армии было хорошо известно.

Жданов молча кивнул.

— Следовательно,—продолжал Жуков,—надо...

Он не договорил. Дверь в кабинет открылась, и вошел адъютант Жукова. Торопливо подойдя к командующему, он начал говорить ему что-то на ухо.

— Громче! — передернул плечами Жуков.—Чего шепчешь, как парень девке!

Адъютант выпрямился, вытянул руки по швам и громко отрапортовал:

— Товарищ командующий! Полковник Королев докладывает по телефону: в районе Кировского завода противника не обнаружено. Небольшая группа разведчиков-мотоциклистов просочилась в район больницы Фореля, то есть несколькими километрами южнее Кировского. Но к приезду полковника Королева их уже уничтожили.

Он умолк, продолжая стоять в положении «смирно».

— Ладно, — бросил Жуков. — Не мешай. Иди.

И, подчеркнуто не обращая внимания на то, с каким явным облегчением выслушали присутствующие сообщение адъютанта, без всякого перехода продолжил начатую фразу:

— ...следовательно, надо менять границы между сорок второй и пятьдесят пятой армиями. Сорок вторая обороняет Пулковское и Урицкое направления, на сегодня—главные. Поэтому приказываю...— он выждал мгновение, пока начальник штаба схватил карандаш, — ...изменить границы между этими армиями, уплотнив фронт сорок второй. В этой связи немедленно передать в эту армию часть сил из двадцать третьей. Ясно?

— Но, товарищ командующий, — неуверенно произнес начальник штаба, отрывая карандаш от блокнота, — этим мы ослабим оборону на Карельском перешейке, что, несомненно, рано или поздно установит разведка противника...

— Прекратите болтовню! — прервал его Жуков. — «Рано», «поздно»!.. Рядовому штабному оператору ясно, что в результате любой перегруппировки мы, оказавшись сильнее на одном участке, станем слабее на другом! Сегодня наиболее угрожаемым участком является Пулковско-Урицкий. Надо собрать основные силы и громить врага именно там!

В те минуты, пожалуй, никто из членов Военного совета не придал особого значения словам «громить врага». Не «сдерживать», не «обороняться», не «преградить путь врагу», а именно «громить»! Однако сейчас вряд ли кто-нибудь уловил разницу: все внимание людей было сосредоточено на практической стороне поставленной Жуковым задачи.

Некоторые из присутствующих переглянулись. Их взгляды как бы говорили: что ж, возразить тут нечего, предложение правильное.

Разумеется, в решении Жукова не было никакого откровения. В сложившейся обстановке любой опытный военачальник, поразмыслив, очевидно, предложил бы то же самое. Но то, что Жуков сделал немедленный практический вывод из создавшейся обстановки и поставил задачу перегруппировки сил в столь ясной и категорической форме, и недавний эпизод, когда новый командующий проявил предельное хладнокровие и в конечном итоге оказался прав, — все это, вместе взятое, не могло не вызвать одобрения.

Обращаясь к начальнику штаба, Жуков сказал:

— Приказ о перегруппировке отдать немедленно. Предупредить командующих армиями, что за точное исполнение отвечают головой.

Затем повернулся к адмиралу Исакову и спросил:

— Где Трибуц?

— Командующего флотом вызвал прибывший из Москвы со срочным заданием заместитель наркома внутренних дел, — ответил, вставая, Исаков. — Вам, очевидно, известно, по какому вопросу.

— Мне известно. И тем не менее передайте командующему, — раздельно произнес Жуков, — что впредь он может не являться на заседания Военного совета только с моего разрешения. И вступать в переговоры с... любыми замнаркомами — лишь после того, как они представятся мне. Что же касается срочного задания, то оно у Балтфлота сейчас одно: сосредоточить огонь всей артиллерии на скоплениях войск и техники врага на том участке, о котором только что шла речь, то есть в районе Красное Село — Пулково — Урицк. Весь огонь! И при этом чтобы своих не перебить, ясно?

И выжидательно посмотрел на Исакова:

— Чего же вы ждете? Надеюсь, телефонная связь с Кронштадтом в исправности?

Адмирал вышел из-за стола и поспешно направился к двери.

А Жуков уже перешел к следующему вопросу.

— Какова глубина эшелонирования войск? — спросил он, глядя на Городецкого. И нетерпеливо повторил: — Начальник штаба, я спрашиваю: какова глубина эшелонирования в сторону города на уязвимых направлениях? Что вы намерены делать, если противнику все же удастся прорваться через тот же Урицк или Пулково?

— Войска имеют приказ «ни шагу назад!», — несколько неуверенно ответил начальник штаба, — и, кроме того, мы...

— Ваши приказы мне известны, — прервал его Жуков. — Как, впрочем, и то, что они не выполняются. Я спрашиваю, что будет, если немцы на самом деле попытаются прорваться к тому же Кировскому заводу? Не несколько мотоциклистов, а крупными силами?.. Впрочем, — он махнул рукой, — можете не отвечать. И без вас знаю, что глубина обороны ограничена зоной боев, а на окраинах города боевых порядков организованных войск, по существу, нет. Ваше счастье, что дурак-немец этого еще не пронюхал.

— Войска есть, но их действительно очень мало, — подал реплику Васнецов.

— Значит, по существу, нет, — отрезал Жуков.

Васнецову хотелось сказать Жукову прямо, в лицо, что ему не следует держать себя так, точно до него здесь никто ничего не делал. Он мог бы, ссылаясь на протоколы заседаний Военного совета и бюро обкома, на приказы бывших командующих — Попова и Ворошилова — доказать, что те вопросы, которые поднимает сейчас Жуков в такой резкой форме, так или иначе ставились и до него.

Но ничего этого Васнецов не сказал.

Что же заставило этого смелого и достаточно вспыльчивого человека подавить естественное чувство обиды? Только ли сознание дисциплины, только ли понимание, чьим высоким доверием облечен новый командующий?

Нет, не только это.

Хотя в распоряжениях Жукова не было ничего принципиально отличающегося от тех мероприятий, которые в соответствии с конкретной боевой обстановкой проводились и до него, Васнецов не мог не чувствовать, что звучали эти распоряжения как-то по-новому, с предельной ясностью, точностью и жесткой требовательностью. И, несмотря на категорический, иногда граничащий с оскорбительным тон, каким Жуков отдавал приказы, несмотря на это, а может быть, как ни странно, и благодаря этому, сам Васнецов начинал ощущать какое-то особое, новое чувство уверенности, сознание, что сейчас, в эти минуты, делается именно то единственно правильное, что надо делать в создавшейся обстановке.

Поэтому Васнецов не произнес ни одного из тех слов, которые готовы были сорваться у него с языка. Он встал и коротко, невольно подражая точ-

ной и лаконичной манере самого Жукова, доложил о тех мероприятиях, которые были проведены Военным советом и руководством ленинградской партийной организации на случай прорыва врага непосредственно на городские окраины.

— Я знаю о большой работе, которая была проделана ленинградцами, — уже иным, уважительным тоном произнес Жуков.

Трудно сказать, сухой ли, объективный, без тени преувеличения доклад Васнецова или последняя фраза Жукова что-то изменили в атмосфере заседания. И хотя вряд ли кто-либо из присутствующих мог в те минуты отдать себе ясный отчет, в чем же заключалась эта перемена, тем не менее чувство уверенности и объединенности стало овладевать всеми.

— Мне известно, что именно вам, дивизионный комиссар, — обратился Жуков к Васнецову, — поручено общее наблюдение за строительством укрепленных районов. Поэтому вас я и прошу принять необходимые меры по созданию глубоко эшелонированной инженерной обороны. И срочно! Противник, судя по всему, не собирается топтаться на месте.

— Георгий Константинович, — сказал молчавший до сих пор Жданов, — вы знаете, что обстановка на фронте в последние дни складывалась крайне неблагоприятно. Мы были вынуждены бросить в зону боев все наши скудные резервы, включая курсантов военных училищ, дивизии народного ополчения и истребительные батальоны. У нас просто не было времени и возможностей для создания боевых порядков в глубине...

На мгновение Жданов умолк. Умолк потому, что понял: не Жукову пытается возразить он сейчас, а тому человеку, который послал сюда нового командующего...

И, отдав себе в этом отчет, он совсем уже другим тоном сказал:

— Впрочем, сейчас не время для оправданий.

Возможно, Жуков понял, что происходит в душе Жданова. Резко меняя тему разговора, он спросил:

— Как полагаете, Андрей Александрович, сколько орудийных стволов и танков можно сегодня получить на Кировском?

Опережая Жданова, Васнецов, быстро перелистав записную книжку, которую держал в руках, встал и назвал требуемые цифры.

— Забрать все для нужд фронта, — коротко приказал Жуков. — Со Ставкой я договорюсь. — И, обращаясь к командиру корпуса ПВО, спросил: — Сколько зенитных орудий можете немедленно снять и передать в боевые порядки войск?

— Но, товарищ командующий! — протестующе воскликнул генерал. — Уже неделю подряд город подвергается ожесточенным налетам. Мы будем не в состоянии обеспечить противовоздушную оборону Ленинграда, если...

— Отвечайте на вопрос! — прервал его Жуков и добавил, обращаясь уже ко всем присутствующим: — Что толку оборонять город от авиации, если немецкие танки ворвутся на улицы?..

И, снова повернувшись к генералу, приказал:

— Через пятнадцать минут доложите, сколько орудий дадите и каких. Ясно?

— Так точно, товарищ командующий, — ответил тот. Он бросил взгляд на стенные часы и спросил: — Разрешите отлучиться?

— Идите. Через пятнадцать минут доложите мне лично. И последнее,—сказал Жуков, когда генерал вышел. — Предлагается полковника Городецкого от исполнения обязанностей начальника штаба освободить. Начальником штаба фронта назначить генерал-лейтенанта Хозина. Генерал Федюнинский пока будет моим заместителем. Возражений нет? Вопрос со Ставкой согласован. Объявляется перерыв на тридцать минут. За это время полковнику Городецкому сдать, а генералу Хозину принять дела. Остальным начать реализацию полученных приказаний.

И Жуков первым поднялся из-за стола...

Глава V

Пятого сентября утром Гитлера разбудил не его камердинер штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге, который делал это всегда, а личный секретарь фюрера и глава партийной канцелярии Мартин Борман. И разбудил он его не в десять утра, как это обычно делал Линге, а часом раньше.

Люди, окружающие Гитлера, хорошо знали, что он страдает бессонницей, с трудом засыпает и дорожит утренним сном. Поэтому, когда Борман объявил Гейнцу Линге, что идет будить фюрера, об этом через несколько минут стало известно всем обитателям бункера.

Казалось бы, сам по себе этот факт не должен был восприниматься в ставке как чрезвычайное происшествие. Но дело в том, что любой поступок Бормана привлекал к себе настороженное внимание.

Тем, кто не знал этого человека близко, он мог показаться всего лишь скромным и преданным фюреру партийным функционером, равнодушным к чинам и наградам. Но пройдут годы, и престарелые генералы третьего рейха и бывшие нацистские чиновники, пытаясь обелить себя, станут называть избежавшего нюрнбергской петли Бормана злым гением фюрера.

Этот крепко сколоченный человек с грубыми чертами лица, в свое время отбывший срок тюремного заключения за убийство, действительно не искал ни наград, ни иных почестей. Он не дорожил внешним блеском, зато жажда власти была у него поистине ненасытной.

В свое время бывший заместителем Гесса, Борман не просто занял освободившееся место главы партийной канцелярии. Он стал личным секретарем

Гитлера, управляющим его домом в Бергхофе и попечителем любовницы фюрера Евы Браун, а также руководил приобретением картин для коллекции Гитлера, был при нем неизменно, постоянно, и в какую бы сторону ни обращал свой взор фюрер, он всегда вблизи или в некотором отдалении видел молчаливого, но всегда готового к самым щекотливым услугам Бормана.

Этот замкнутый, немногословный человек был великим мастером интриг.

Геринг, боявшийся любого соперничества, всячески противился назначению Бормана на место руководителя партийной канцелярии, но потерпел поражение, и ему пришлось глубоко затаить свою ненависть к этому человеку, претендующему на роль первого, хоть и негласного советника фюрера.

Даже такой умный и опытный интриган, как Геббельс, побаивался Бормана, предпочитая не иметь его среди своих врагов.

И вот теперь, когда Борман, используя свое право личного секретаря фюрера, отстранив Гейнца Линге, сам направился в спальню Гитлера, каждому было ясно, что речь идет о каком-то сообщении чрезвычайной важности, причем сообщении, приятном для фюрера, — иное Борман не стал бы брать на себя.

Постучав, Борман открыл дверь и вошел. Гитлер еще спал: настой ромашки, который он обычно выпивал, едва открыв глаза, стоял нетронутым на тумбочке рядом с кроватью.

Подойдя к изголовью и склонившись над ухом Гитлера, Борман негромко сказал:

— Мой фюрер! Санкт-Петербург окружен.

Этих тихо произнесенных слов оказалось достаточно, чтобы Гитлер сразу проснулся. Отшвырнув одеяло, свесив ноги и шаря ими по полу в поисках ночных туфель, он некоторое время сидел на кровати в ночной сорочке, доходившей ему до щиколоток, — пижам, этой французской выдумки, Гитлер не терпел, — и спросонья, все еще оглушенный принятой ночью большой дозой снотворного, тупо глядел на Бормана.

Наконец до него дошел смысл сказанного. Вскочив на ноги, Гитлер схватил Бормана за плечо и торопливо, голосом, в котором смешивались радостная надежда и боязнь ошибиться, спросил:

— Телеграмма от Лееба?

— Да, мой фюрер. И от Маннергейма тоже. Полчаса тому назад.

Борман сунул руку в карман френча и, вынув уже расшифрованную телеграмму фельдмаршала, протянул ее Гитлеру.

Гитлер схватил бланк, взглянул на него и крикнул:

— Очки!

Зрение Гитлера с каждым годом становилось все хуже, и, читая важные документы, в особенности напечатанные мелким шрифтом, он был вынужден пользоваться очками.

Гитлер ненавидел очки. Ему казалось, что они разрушают образ вождя и полководца. Поэтому в печать не проникало ни одной фотографии фюрера в очках. Поэтому же документы, специально предназначенные для Гитлера, печатались особым, крупным шрифтом.

Не дожидаясь, пока Борман подаст очки, Гитлер сам нетерпеливо схватил их с тумбочки, надел и впился глазами в телеграфный бланк.

В те минуты, когда он читал и перечитывал строки, из которых явствовало, что войска фон Лееба вышли к Неве и, таким образом, блокировали Ленинград с суши, Борман думал о том, как мало на свете людей, которым дано увидеть фюрера, великого фюрера, вот таким: в длинной, почти до пят ночной сорочке, в шлепанцах, надетых на босу ногу, и в очках.

— А что сообщает Маннергейм? — отрывая наконец взгляд от телеграммы, спросил Гитлер.

— Его войска вышли к старой государственной границе, — торжественно произнес Борман.

Несколько конвульсивно-пляшущих движений Гитлера в Компьенском лесу на фоне исторического вагона, в котором некогда представители Франции приняли капитуляцию Германии в первой мировой войне, а 22 июня 1940 года признали свое поражение, стали известны всему миру, запечатленные кинокамерами. Очевидцем же восторженных прыжков, совершаемых сейчас фюрером, был только Борман. И он мог бы засвидетельствовать, что не видел Гитлера столь радостным, столь торжествующим ни тогда, когда был захвачен Минск, ни после взятия Смоленска.

Он, Борман, хорошо понимал состояние Гитлера. Те, захваченные ранее города были просто населенными пунктами, пусть большими, важными, но все же только населенными пунктами на пути к недоступной пока Москве.

Петербург был одной из основных военно-стратегических целей всей войны. Правда, по плану захватить его следовало еще в июле...

Гитлер величественно произнес:

— Оставь меня одного, Борман.

Ему захотелось наедине с самим собой насладиться радостью победы.

Когда Борман ушел, Гитлер еще и еще раз перечитал телеграмму. Потом снял очки, накинул халат и, насвистывая вальс из «Веселой вдовы», своей любимой оперетты, направился в ванную...

В то утро не было, пожалуй, на земле человека более счастливого и довольного собой, чем Гитлер. Все, что тревожило, угнетало его в последние полтора месяца, несмотря на в общем-то успешный ход войны: и затянувшееся, унесшее десятки тысяч жизней немецких солдат и офицеров сражение под Смоленском, и глухое сопротивление генералитета его приказу отложить решающее наступление на Москву; пока не будут захвачены Петербург и Украина, и потеря почти месяца впустую на Лужской

оборонительной линии, — все это на фоне новой, решающей победы отходило на задний план, теряло свою остроту.

Даже такой самоуверенный, убежденный в своем сверхчеловеческом даре вождя и полководца человек, как Гитлер, не мог не понимать, что в этой войне он уже потерял не только огромное количество солдат, но и то, что было невозместимым...

Можно было трубить на весь мир о ежедневных победах немецкой армии. Можно было подавлять воображение людей перечислением захваченных населенных пунктов и пройденных с боями сотен километров. Можно было произвольно увеличивать в сводках количество захваченных в плен солдат, офицеров и окруженных советских частей и соединений.

Но все это не могло заглушить роковой вопрос: кто же тогда преграждает его войскам путь к Ленинграду и Москве? Почему до сих пор, несмотря на то, что уже наступил сентябрь, война, рассчитанная на шесть — восемь недель, не только не закончена, но еще не принесла ни одной действительно решающей победы?

Несмотря на маниакальную веру в обладание мистической силой, несмотря на злобное презрение к людям, Гитлер тайно страдал комплексом неполноценности. И причина заключалась отнюдь не в физическом недостатке, которым будут много лет спустя объяснять этот комплекс некоторые из буржуазных историков, основываясь на акте медицинского осмотра полуобгоревшего трупа Гитлера.

Причина крылась в другом.

Гитлер понимал, что многие из верно служащих ему генералов в душе презирают его.

Он был уверен, хотел быть уверенным, что использует этих людей как послушное орудие для достижения своих целей. Даже те из них, кто в прошлые годы находился в тайной оппозиции, теперь боялись его, льстили ему, служили не за страх, а за совесть, составляли вместе с ним единое целое. Но Гитлер понимал, что в глубине души они все же презирают его.

Остро ощущал он это в моменты неудач. Пусть тщательно скрываемых, маскируемых, но все же реальных неудач.

Главным, что не могло не волновать не только Гитлера, но и его генералов, был фактор времени: ведь вслед за уже наступающей осенью маячила страшная русская зима.

Гитлер мог сместить, разжаловать, арестовать, казнить, наконец, любого из своих генералов. Но он был не в силах приблизить победу или остановить время...

Войска фон Лееба должны были захватить Петербург еще в июле. Непредвиденная стойкость обороняющихся здесь русских нарушила все планы Гитлера. Север сковывал почти треть всех немецких войск, танков и авиации, которые были так необходимы на центральном, Московском направлении! Вот в чем заключалась главная проблема!

И теперь она наконец разрешилась. Петербург окружен!..

А то, что окружение города предрешает его захват, не вызывало у Гитлера ни малейших сомнений.

Лежа в горячей ванне, закрыв глаза, Гитлер мысленно восстанавливал картины недавнего прошлого: на фоне этих воспоминаний победа под Петербургом выглядела еще более значительной, определяющей весь дальнейший ход войны.

Он снова видел себя в Борисове, русском городишке, где месяц тому назад располагался штаб фон Бока — командующего группой армий «Центр». Туда Гитлер направился в начале августа, разъяренный неудачами на Центральном фронте.

Сухопарый, щеголяющий своей старопрусской военной выправкой, фельдмаршал стоял тогда у карты и докладывал обстановку на фронте. Прямо не высказанной, но вытекающей из всего, что он говорил, была мысль о том, что без серьезных подкреплений наступать дальше невозможно. На словах фон Бок жаждал наступления. Но в подтексте звучало другое: советские войска не разбиты, они не только не бегут в панике, несмотря на наносимые им удары, но пытаются переходить в контратаки. И не о дальнейшем наступлении надо думать сейчас, а о том, как удержать захваченную Ельню, как разгромить яростно сопротивляющуюся группировку советских войск в районе Смоленска.

Фон Бок говорил подчеркнуто бесстрастно, точно не замечая, как ярость постепенно наполняет все существо угрюмо молчащего фюрера.

Наконец Гитлер не выдержал и спросил с затаенной угрозой в голосе:

— Что вы в конце концов предлагаете, фон Бок?

После короткого раздумья фельдмаршал ответил:

— Если нельзя рассчитывать на крупные подкрепления... я имею в виду перегруппировку войск за счет группы «Север», то в сложившейся обстановке единственный выход — это занять прочные позиции и переждать русскую зиму.

Он произнес эти слова необычным для него, вкрадчивым, даже умоляющим голосом, но...

Гитлер вспомнил, какое впечатление произвели на него тогда эти слова. «Шантаж, грубый шантаж! — хотелось крикнуть ему. — Вы знаете, что я никогда не соглашусь на войну в зимних условиях, знаете, что победа нужна мне сейчас, немедленно, и хотите вынудить меня прекратить наступление на Петербург и перебросить сюда, к вам, войска фон Лееба! Нет, нет и нет! Все будет развиваться по намеченному плану: сначала Петербург и Украина, а потом Москва! «Потом» не значит «когда-то». Это будет скоро, через две-три недели, в течение которых Петербург должен пасть!»

Но ему удалось взять себя в руки. Сдержанным, холодным, но не терпящим возражений тоном он

лова повторил свой план: прежде всего лишить противника жизненно важных областей. На юге наступление развивается успешно. Скоро, совсем скоро и войска фон Лееба выполнят свою задачу, и тогда будут переброшены сюда, в центр, и на очередь встанет Москва...

Но, как обычно случалось, начав говорить довольно спокойно, Гитлер не выдержал и сорвался. Он кричал, что не позволит путать его планы, что ход операций на Восточном фронте развивается успешно, очень успешно, хотя у русских оказалось больше танков и авиации, чем можно было предположить по докладам бездарных разведчиков накануне войны...

На лице Гитлера, неподвижно лежащего в горячей ванне, появилась болезненная гримаса. Он вспомнил слова, которые тогда вырвались у него: «Если бы я все это знал перед началом похода, то принять решение о наступлении на Россию мне было бы в тысячу раз труднее...»

Страшный смысл сказанного дошел до Гитлера лишь тогда, когда слова эти уже прозвучали.

Смешавшись, он заговорил снова, стремясь заставить присутствующих забыть услышанное, вычеркнуть из памяти.

Негодуя на фон Бока, чей доклад вынудил его сделать необдуманное признание, на себя за то, что поддался минутной, недостойной вождя слабости, Гитлер обрушил новый поток слов на своих генералов. Он кричал, что продвижение его войск в глубь России превзошло самые смелые ожидания, что в душе он опасался, что Рундшедт остановится на линии Днепра, а он продвинулся гораздо дальше, что Лужская линия обороны красных не сегодня-завтра будет прорвана...

Потом внезапно оборвав себя, резким, требовательным голосом спросил:

— Генералы Гудериан и Гот! Когда ваши танки будут готовы к новому наступлению?

Угрюмо слушал, как генералы перечисляли потребности в новых моторах, дополнительных людских резервах.

Так закончилось то совещание в Борисове, в штабе фельдмаршала фон Бока...

И еще один разговор вспомнил Гитлер.

В конце августа здесь, в его кабинете, неожиданно появился Гудериан. Снова и снова пытался он убедить фюрера немедленно начать наступление на Москву, для чего, разумеется, надо было перебросить значительную часть войск фон Лееба и, в частности, его моторизованные соединения в поддержку армиям «Центр».

— Нет! — ответил Гитлер.

И теперь, вспоминая события последнего месяца, Гитлер говорил себе: «Я победил!»

Со злорадством представлял он, что думали тогда о нем его высокомерные генералы, полагающие, будто военные академии, штудирование Клаузевица и Мольтке могут заменить сверхчеловеческий, провидческий гений фюрера.

«Кто, кто оказался прав? Я или вы?» — мысленно вопрошал Гитлер.

Ему хотелось произнести эти слова вслух, выкрикнуть их, хотя он знал, что никто сейчас его не услышит.

Что ж, они услышат его чуть позже! Гитлер с вожделением представлял себе момент, когда появится на утреннем оперативном совещании и бросит телеграмму фон Лееба на стол. Пусть теперь кто-нибудь попробует усомниться в конечной правоте фюрера! Они, именно они, эти бездарные, нерадивые генералы, ссылающиеся на непредвиденное сопротивление русских, виноваты в том, что события развивались с некоторым отклонением от предусмотренного плана. И тем не менее его, фюрера, гений восторжествовал! Первая цель войны — Петербург — достигнута. Достичь второй, решающей — захватить Москву — теперь уже будет несравненно легче!..

На утреннем оперативном совещании у фюрера царило приподнятое настроение. Разумеется, о телеграммах фон Лееба и Маннергейма все уже знали.

Пожалуй, никогда еще, за исключением первых дней войны, непременные участники этих совещаний Геринг и Кейтель, Йодль и Браухич, Гальдер и Варлимонт не встречали появившегося, как обычно, в полдень Гитлера с таким верноподданническим рвением.

Но, будучи незаурядным актером, Гитлер постарался сдержать готовую выплеснуться через край радость.

Он не хотел показывать своим генералам, сколь долгожданными были для него телеграммы фон Лееба и Маннергейма, — это стало бы косвенным признанием того, что намеченные сроки молниеносной войны, по существу, сорваны.

Поэтому Гитлер ни словом, ни жестом не выдал своего ликования. Ответив на приветствие генералов небрежным поднятием руки, он сел и, как обычно, предоставляя слово для доклада начальнику штаба сухопутных войск, бросил:

— Гальдер...

Разумеется, сегодня в сообщении генерала главное место занимало окружение Петербурга.

Затем докладывал начальник разведывательного управления. Отметив, что, согласно данным как агентурной, так и воздушной разведки, у русских в Петербурге нет серьезных резервов для прорыва кольца окружения, он мельком коснулся продолжающегося развертывания новых контингентов советских войск на восточном берегу реки Волхов и высказал предположение, что эти войска, видимо, предназначаются для прикрытия Тихвинского

направления и, таким образом, имеют чисто оборонительную задачу.

После этого заговорил Гитлер. Ему хотелось назвать сидящих за длинным столом людей неучами, трусами, генерал-школьниками, недостойными дышать одним воздухом со своим фюрером, он хотел отхлестать их по гладко выбритым физиономиям, вышибить монокли из глазных впадин и спросить, торжествуя: «Ну, кто был прав тогда, в июле и августе?»

Но он подавил клокочущие в нем чувства. Сухо, стараясь избегать громких фраз, объявил, что цель на севере фактически достигнута и что Петербург падет в течение самых ближайших дней.

Затем Гитлер распорядился дать фон Леебу две телеграммы. Одну — с поздравлением по случаю 65-летия, вторую — предписывающую фельдмаршалу не позднее 15 сентября передать значительную часть его танковых и механизированных дивизий, а также соединение пикирующих бомбардировщиков в группу армий «Центр» для решающего наступления на Москву.

Потом Гитлер объявил о своем решении наградить Маннергейма Рыцарским крестом и поручил Йодлю немедленно вылететь в Хельсинки и вручить маршалу эту высокую награду.

Только отдав эти приказания, Гитлер позволил себе произнести несколько исполненных сдержанного пафоса слов. Скрестив на груди руки и глядя поверх голов сидящих за столом людей, он сказал, чеканя слова:

— Для захвата Москвы двух-трех недель более чем достаточно. Таким образом, в середине октября, то есть чуть позже намеченного срока, война будет закончена.

Он сделал паузу и добавил с язвительной усмешкой:

— История простит мне это незначительное опоздание. Она всегда прощает победителей.

Наступила торжественная тишина, нарушить которую смог позволить себе только Геринг.

Он встал, поблескивая орденами, и, высокомерно оглядев присутствующих, сообщил, что со вчерашнего дня Петербург подвергается ожесточенным бомбежкам с воздуха, чередующимся с артиллерийским обстрелом улиц.

— Я уверен, — сказал Геринг, и на его лоснящемся лице появилась улыбка, — что, когда наши войска захватят город, они найдут живыми лишь тех, кто сумел вовремя спрятаться в бомбоубежища. Нам придется выкуривать их оттуда, как тараканов!

На другой день оберкоммандовермахт — верховное командование вооруженных сил — в официальной сводке, опубликованной во всех немецких газетах и ежечасно передаваемой по радио, известило Германию и весь мир, что Петербург окружен и, таким образом, цель войны на северо-востоке фактически достигнута.

Днем позже на Вильгельмштрассе, в министерстве иностранных дел, состоялась специально созванная по этому поводу пресс-конференция для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Берлине.

Конференцию проводил не рейхспрессеншеф — заведующий отделом печати министерства иностранных дел — Отто Дитрих, как обычно, а сам Риббентроп.

Министр заявил, что хочет лично прокомментировать чрезвычайной важности сообщение, опубликованное во вчерашних газетах.

Он подошел к большой карте северо-запада Советского Союза, висящей на стене, взял указку и, упирая ее конец в красную точку, обведенную черной ломаной замкнутой линией, торжественно, медленно, отделяя фразу от фразы многозначительными паузами, объявил, что на шее Петербурга затянута петля.

Зажглись юпитеры. Заверещали киносъемочные камеры, защелкали затворы фотоаппаратов.

Позируя перед объективами, Риббентроп, повысив голос, добавил, что в тот момент, когда происходит эта пресс-конференция, десятки самолетов бомбят город с воздуха, а артиллерийские орудия непрестанно обстреливают его улицы.

— Уверен, — усмехнулся Риббентроп, — что не сегодня-завтра над Смольным поднимется белый флаг. Впрочем, — голос его зазвучал угрожающе, — если большевиков больше соблазняет судьба Ковентри и Роттердама, то фюреру ничего не стоит стереть Петербург с лица земли.

Глава VI

Штаб генерал-фельдмаршала фон Лееба теперь располагался в Пскове.

В солнечный сентябрьский день Риттер фон Лееб, в полной парадной форме, при орденах, принимал в своем кабинете поздравления офицеров и генералов его штаба по случаю своего дня рождения и получения приветственной телеграммы от фюрера.

Фельдмаршал был счастлив. До сих пор война с Россией приносила ему лишь относительные успехи и реальные унижения.

И в самом деле, фон Бок мог похвастаться захватом Минска и Смоленска. На боевом счету Рундштедта была оккупация правобережной Украины.

А чем мог гордиться фон Лееб? Быстрым продвижением в Прибалтике? Захватом Острова и Пскова? Выходом к Луге? Что ж, это были серьезные победы. Но они не имели решающего значения, поскольку главная цель — с ходу захватить Петербург — оставалась недостигнутой. А унизительный разнос, который Гитлер учинил фон Леебу

за почти месячное топтание на Лужской линии, наверно, уже на всю жизнь останется в памяти фельдмаршала.

Но теперь он взял реванш. Петербург окружен. Через два дня этот город будет взят штурмом, если до этого не капитулирует...

В душе фон Лееб был религиозным человеком. Когда в августе, рискуя навлечь на себя еще больший гнев Гитлера, он посылал в ставку шифровки с просьбами о подкреплениях, то верил, что поступает так, как подсказывает ему бог. Но еще больше верил он в то, что для Гитлера Петербург является слишком серьезной ставкой, чтобы в решающий момент отказать в подкреплениях или пойти на смену командующего.

И фон Лееб добился своего. Ведь именно дополнительные контингенты бронетанковых сил и авиации помогли ему после трехнедельных безуспешных боев прорвать Лужскую линию обороны русских у Кингисеппа.

Теперь, перед решающим штурмом, в распоряжении фон Лееба было почти двадцать дивизий. Правда, фельдмаршала несколько беспокоило то обстоятельство, что дивизии эти не собраны в единый кулак и что правый фланг его слишком вытянут на юг и юго-восток.

Но сегодня ему не хотелось думать о трудностях. Петербург окружен, а разрушительные бомбежки с воздуха и артиллерийский обстрел предопределят его падение.

...Примерно к двум часам дня поток поздравляющих иссяк. Но прежде чем приступить к неотложным делам, фон Лееб должен был принять еще одного офицера, которого он сам вызвал с передовой.

Этим офицером был майор Данвиц.

Впрочем, майором Данвицу суждено было оставаться лишь до той минуты, пока он не переступил порога кабинета фон Лееба. Сообщить ему о производстве в следующий чин — оберст-лейтенанта и о назначении на должность командира полка фельдмаршал решил сам.

Когда более двух месяцев тому назад фон Лееб впервые вызвал к себе Данвица, он не знал точно, послал ли Гитлер своего бывшего адъютанта к нему в штаб в качестве соглядатая или просто дал майору отставку в результате каких-то интриг, денно и нощно плетущихся при «дворе» фюрера.

Так или иначе фон Лееб решил не рисковать и выиграть при любых обстоятельствах. Удовлетворив желание Данвица занять строевую должность, он, с одной стороны, оказывал услугу этому офицеру, тем большую, что поручал ему командование штурмовым отрядом, с другой — убирал Данвица подальше от своего штаба, что было целесообразно при всех условиях, и давал ему возможность погибнуть или отличиться. В этом, последнем случае, рассчитывал фельдмаршал, Данвиц запомнит, кому лично обязан своим успехом, что немаловажно, если фюрер по-прежнему благоволит к своему бывшему приближенному.

Фон Лееб выиграл. Гитлер не забыл о Данвице. Не случайно этот майор был по личному приказу Йодля вызван в штаб группы армий «Север» как раз накануне приезда туда Гитлера. Данвица пригласили в салон-вагон фюрера сразу же после того, как сам он, Лееб, оплеванный, опозоренный Гитлером, покинул этот вагон.

О чем спрашивал Данвица фюрер? Может быть, и о нем, фон Леебе?..

При порядках, господствовавших в старой немецкой армии, сама мысль, что кто-либо из руководителей государства будет интересоваться мнением третьестепенного офицера о старших военачальниках, показалась бы нелепой, кощунственной. «Но в наше время, — размышлял фон Лееб, — все это — увы! — вполне возможно».

В мыслях своих фон Лееб все еще отделял себя от Гитлера и национал-социализма. Но это было всего лишь иллюзорное самоутешение. Ибо на деле фон Лееб вот уже три года был одним из верных, покорных Гитлеру служак, хотя и не состоял членом нацистской партии. Это он получил Рыцарский крест за вторжение во Францию, он оккупировал Судеты, он нес теперь огонь и смерть на советскую землю. Планы Гитлера были и его, фон Лееба, планами.

Некоторая же внутренняя оппозиция фельдмаршала Гитлеру и его окружению была основана не на каких-то принципиальных разногласиях, а на уязвленном самолюбии.

Старый кайзеровский офицер страдал от унижения, отдавая себе отчет в том, что продал свою шпагу ефрейтору, который в иные времена незамеченный стоял бы перед ним навытяжку.

Но эти чувства говорили в фон Леебе, лишь когда фюрер разносил фельдмаршала. В такие минуты фон Лееб повторял про себя в бессильной злобе: «Ефрейтор, невежественный, грубый ефрейтор!..»

Но когда Гитлер был к нему благосклонен, фон Лееб уже не вкладывал в это слово оскорбительного смысла. Он говорил себе: «Что ж, в конце концов и Наполеон был когда-то капралом. Однако это не помешало ему впоследствии иметь у себя на службе таких отчаянной смелости полководцев, как Мюрат, или таких дипломатов, как Талейран».

Так размышлял фон Лееб и сегодня, принимая поздравления своих подчиненных.

Еще полтора месяца назад уверенный, что карьера его рухнула, ныне фельдмаршал чувствовал себя так, как в далекие дни во Франции.

«Как быть дальше? — размышлял фельдмаршал. — Может быть, не стоит больше испытывать судьбу? Может быть, после парада войск на Дворцовой площади, принимать который, несомненно, будет сам Гитлер, попросить фюрера об отставке, ссылаясь на годы и болезни? Уехать к себе в

имение увенчанным лаврами покорителя Петербурга?..»

Но чем явственнее представлял себе фон Лееб прелести семейной жизни в родовом имении под Кенигсбергом, когда он, окруженный почетом, овеянный славой, будет со стороны наблюдать за «суетой сует», тем больше начинал точить его сердце червь тщеславия.

«Почему отставка? Зачем?! — спрашивал он себя. — Уйти накануне победоносного окончания войны? Отойти в сторону, в тень в то время, как на генералов-победителей посыплются почести и награды? Когда будут щедро раздаваться жирные земли России?..»

И вдруг фон Лееб со всей отчетливостью представил себе, что это от него, командующего почти третью вооруженных сил Германии на Восточном фронте, во многом зависит наступление часа окончательной победы!

Ведь судьба Москвы зависит от того, как скоро он, фон Лееб, сможет перебросить в помощь фон Боку большую часть своих высвободившихся после захвата Петербурга войск. Следовательно, это он, фон Лееб, в конечном итоге решит исход всей войны! И если принимать победоносный парад войск на Красной площади будет, конечно же, сам фюрер, то вполне возможно, что командовать этим парадом на этот раз он прикажет двоим: фон Боку и ему, фон Леебу.

Добровольно отказаться от всего этого? Покинуть пир перед тем, как будет подано самое лакомое блюдо? Уйти из строя в момент, когда вручаются высшие награды, исчезнуть за секунду до того, как назовут твое имя?..

Нет, только глупцы ведут себя таким образом! В конце концов шестьдесят пять лет для генерал-фельдмаршала совсем не старость. Он, фон Лееб, стоял на посту в часы неудач, когда на него сыпались оскорбления фюрера. Так зачем же уходить теперь, накануне часа победы, когда его ожидают награды и рукоплескания всей Германии?!

И вдруг неожиданно пришедшая в голову мысль прервала цепь приятных размышлений фельдмаршала. И эта мысль была до примитивности элементарной: ведь Петербург еще не взят! И все, что он, фон Лееб, рисует в своем воображении, может стать реальностью лишь в одном случае: если Петербург падет...

Но он не может не пасть, этот город! Он осажден со всех сторон, а решающей помощи извне ему ждать неоткуда. Сталин не может снять войска ни с Московского, ни с Южного направлений. Это означало бы немедленный захват фон Боком и Рундшедтом советской столицы, всей Украины, всего Кавказа.

Следовательно, никто и ничто не может вырвать Петербург из железных когтей немецкого орла. Сам фюрер не сомневается в том, что Петербург падет в течение ближайшей недели, а этот человек, что ни говори, несомненно, обладает даром предвидения.

«Итак, — продолжал размышлять фон Лееб, — от взятия Петербурга зависит не только судьба Москвы, а следовательно, сроки окончательной победы, но и моя личная судьба. Но, с другой стороны, если подойти трезво, разве исключена ситуация, что Петербург будет взят, а лавры достанутся не мне, а кому-то другому? Разве мало людей, готовых возложить на меня основную вину за срыв сроков, предусмотренных планом «Барбаросса»? И не начнут ли они нашептывать Гитлеру даже после падения Петербурга, что моя заслуга здесь минимальная и что если раньше меня нельзя было снять, не возбудив этим в мире толки о провале наступления под Петербургом, то теперь самое время отправить меня на покой?..»

Фон Лееб хорошо знал нравы, царящие в Растенбургском лесу. И мысль о том, что найдется много охотников вырвать у него из рук наконец-то приобретенную славу, не оставляла фельдмаршала даже в тот момент, когда он предавался самым соблазнительным мечтам.

Он чувствовал, что «двор» Гитлера, как мысленно называл фон Лееб то ближайшее окружение рейхсканцлера, которое давно уже заменило практически не существующий кабинет министров, не слишком благоволит к нему, старому кайзеровскому офицеру, к тому же не торопящемуся вступить в нацистскую партию.

И фон Лееб решил сделать ход, который должен был привлечь к нему благосклонное внимание фюрера в дни раздела огромного русского пирога.

Этот ход был связан с Данвицем, который, сам того не сознавая, должен был стать его, Лееба, личным представителем, его ходатаем и защитником в ставке фюрера после того, как Петербург будет взят.

Фельдмаршал не сомневался, что Данвиц, о котором Гитлер не забыл, лично наградив его орденом, после окончания войны снова будет своим человеком и в новой имперской канцелярии, и в Бергхофе. И надо сделать так, чтобы этот фанатик-нацист имел все основания и на этот раз считать себя лично обязанным ему, фон Леебу...

— Господин генерал-фельдмаршал! Командир батальона майор Данвиц явился по вашему приказанию!

Фон Лееб вскинул монокль и пристально посмотрел на Данвица.

Однако, подумал фельдмаршал, за полтора месяца этот майор сильно изменился. Тогда, в июле, он казался воплощением арийского идеала, по крайней мере внешне. Рядом с ним сам Гитлер, не говоря уже о Геббельсе, выглядел бы как представитель неполноценной расы. Бледное лицо, голубые глаза, резко очерченный подбородок, светлые волосы — таким запомнил Данвица фон Лееб.

Теперь перед ним стоял человек, чьи выгоревшие волосы приобрели рыжеватый оттенок, лицо побурело от солнца и ветра, и даже глаза потеряли свой голубовато-стальной оттенок, став какими-то оловянными...

Все это отметил про себя фон Лееб почти мгновенно. Затем сказал подчеркнуто сухо, и смысл его слов по контрасту с тоном, каким они были произнесены, приобрел особое значение:

— Не майор Данвиц, а оберст-лейтенант Данвиц. И не командир батальона, а командир полка. Повторите рапорт!

Кровь прихлынула к лицу Данвица, услышавшего о своем производстве в следующий чин и повышении в должности.

Стараясь справиться с охватившим его волнением, с трудом произнося слова, Данвиц повторил рапорт, впервые в жизни назвав себя оберст-лейтенантом и командиром полка.

«Значит, фюрер не потерял ко мне своего доверия!» — радостно думал он.

Данвиц ошибался, считая, что своим повышением обязан лично Гитлеру: соответствующее представление было сделано несколько дней тому назад по инициативе фон Лееба генерал-полковником Хеппнером. Всех этих подробностей Данвиц, естественно, не знал. В первые мгновения он даже забыл поблагодарить фон Лееба.

И, только увидев, что фельдмаршал выжидающе смотрит на него, понял, что совершил бестактность.

Ну, разумеется же, именно фон Леебу, этому старому, заслуженному полководцу, практически обязан он неожиданным повышением!

Для Данвица не было секретом, что фельдмаршалом в ставке недовольны. Июльская встреча с фюрером, короткие беседы с сопровождавшими его адъютантами, которых Данвиц хорошо знал, лишь подтвердили это. Тем не менее сам Данвиц, лично познавший, что значит сопротивление русских и каково воевать в стране, где, кажется, не только люди, но и сама земля, деревья, стены домов источают ненависть к каждому, кто носит немецкую военную форму, был в душе гораздо более снисходительным к старому фельдмаршалу. Теперь же он, кроме сочувствия, испытывал к нему нечто большее — уважение, смешанное с сыновней благодарностью.

— Господин генерал-фельдмаршал, — внезапно севшим голосом, еще более вытягиваясь и вскинув голову, произнес Данвиц, — разрешите почтительно выразить благодарность за столь высокую оценку, которую...

Он сбился, замолчал, но, справившись с собой, громко продолжал:

— Разрешите мне также поздравить вас с днем рождения и телеграммой нашего фюрера. Об этом уже знают в войсках...

— Благодарю, — коротко ответил фон Лееб. Это слово ему сегодня пришлось произнести уже очень много раз. — Кстати, — сказал он, переводя взгляд на Железный крест, резко выделяющийся на серо-зеленом кителе Данвица, — у меня еще не было случая лично поздравить вас с орденом. Я знаю, что вы получили эту награду из рук фюрера.

— Наш фюрер проявил незаслуженную милость. За первый бой на Луге я был достоин не ордена, а сурового наказания, — ответил Данвиц.

— Мы все в те дни вызвали справедливый гнев фюрера, — с горечью и вместе с тем несколько снисходительно сказал фон Лееб. — Но так или иначе мы выполнили его волю: Петербург окружен и лежит у наших ног...

— Никто в ваших войсках не сомневался, что так и будет, — поспешно отозвался Данвиц.

Данвиц говорил совершенно искренне. А некоторая его экзальтация объяснялась отнюдь не желанием польстить фельдмаршалу. Данвицу подсознательно казалось, что его слышит сейчас тот, кто уже ни при каких обстоятельствах услышать его не мог, — покойный капитан Мюллер.

— В разговоре, которым удостоил меня фюрер, я, признав собственную вину, не мог распространить ее на моих солдат. Они выполняли свой долг, не щадя жизни, — добавил Данвиц.

— И вы сказали чистую правду, оберст-лейтенант! — с несвойственным ему пафосом воскликнул фон Лееб, стараясь понравиться гитлеровскому любимцу.

И тут же, как бы увидев себя со стороны, с горечью подумал: «Сложные, трудные времена!.. Фельдмаршал немецкой армии заигрывает с каким-то офицеришкой, человеком без роду и племени...»

Он не мог удержаться от легкой гримасы отвращения. И чтобы скрыть ее, резко повернулся и пошел к стене, на которой висела прикрытая драпировкой карта.

— Подойдите сюда! — приказал фон Лееб и потянул шелковистый шнурок. Медленно раздвинулись шторы, открывая огромную, в полстены карту.

— Я вызвал вас, оберст-лейтенант, — произнес фон Лееб, стараясь говорить сухо и отчужденно, чтобы хоть перед самим собой взять реванш за свою недавнюю слабость, — не только для того, чтобы сообщить о повышении в чине и должности. В конце концов вы всё это заслужили. Ваши солдаты находятся ближе всех к Петербургу. Здесь. — Он указательным пальцем обвел на карте острие стрелы, изогнутой с юго-запада на север. — В десяти километрах от Царского Села. Верно?

— В пятнадцати, господин генерал-фельдмаршал, — корректно поправил Данвиц.

— Эти лишние пять километров уже не играют никакой роли, — несколько раздраженно отозвался фон Лееб. — Ни пять, ни десять. Петербург взят в тиски. Когда вешают человека, — продолжал он с мрачной усмешкой, — то не имеет значения, вплотную ли прилегает к его горлу петля. Она все равно

затянется, когда из-под ног вышибут табуретку. Так вот...

Он подошел к письменному столу, взял из ящика сигару, раскурил ее и, вернувшись к карте, повторил:

— Так вот... Если русские не капитулируют, мы начнем решающий штурм Петербурга через два, вернее, через полтора дня. Главное бремя наступления будет нести опять-таки танковая группа Хеппнера, точнее, сорок первый моторизованный корпус Рейнгардта. В остающееся время вы примете командование полком в этом корпусе, полком, которому предстоит... — Фон Лееб сделал многозначительную паузу и торжественно окончил: — ...первым ворваться в Петербург. Здесь, — указал он концом сигары на район Петергофа и Стрельны.

Данвиц стоял, потеряв дар речи. Слова фельдмаршала потрясли его. Они были искуплением за все. За неудачи на Луге. За смерть капитана Мюллера. За мучительные размышления о невыполненном долге перед фюрером...

— Разумеется, — продолжал фон Лееб, делая вид, что не замечает состояния Данвица, — вашему же полку будет предоставлена честь открыть парад немецких войск на Дворцовой площади. Не сомневаюсь, что принимать парад будет сам фюрер.

Данвиц подумал о том, что вот так же стоял перед фельдмаршалом два месяца тому назад, не находя слов благодарности за назначение его командиром ударного отряда. Только тогда Петербург был еще далекой мечтой...

— Вам предстоит немедленно направиться в штаб корпуса и представиться генералу Рейнгардту в новом качестве, — сказал фон Лееб. — О вашем назначении ему известно.

Но Данвиц не двигался с места.

Голос фельдмаршала доносился до него как бы издалека. В его ушах все еще звучали слова: «...первым ворваться в Петербург».

В эти минуты Данвиц не думал о плане предстоящей операции, о населенных пунктах, которые предстоит захватить на пути к Ленинграду.

Пожалуй, впервые после неудачи на Луге он почувствовал радостное облегчение. Мучившие его угрызения совести, связанные с тем, что приказ фюрера не выполняется в установленные сроки, горькие размышления о причине необъяснимого, все возрастающего сопротивления русских, предсмертные слова капитана Мюллера о том, что бур, легко входя в поверхностные слои земли, ломается, наткнувшись на твердые породы, — все то, что в последнее время отравляло сознание Данвица, теперь исчезло. С его плеч точно сняли тяжелый груз. Он подумал о том, что был болен странной, необъяснимой болезнью, подтачивавшей его силы.

Нет, он ни в чем не мог себя упрекнуть. Болезнь не отражалась на его действиях, поступках. После встречи с фюрером он дрался с врагом с еще большей яростью, а его отношение к пленным русским солдатам, к населению стало еще более жестоким, как этого требовал фюрер.

И тем не менее страшные слова Мюллера время от времени раздавались в его ушах, он размышлял о них снова и снова. Эти навязчивые мысли казались ему результатом какого-то опасного, необъяснимого недуга, микробы которого жили в этой чужой земле, в лесах и болотах ненавистной ему страны...

И вот теперь Данвиц почувствовал, что болезнь прошла. Исчезла внезапно, разом. Он ощутил пьянящий запах победы. Война перестала пахнуть горелым человеческим мясом, тошнотворными испарениями бензина, болотной тиной и грязным, подолгу не сменяемым бельем.

Это был другой, почти забытый Данвицем запах, похожий на тот, который он с наслаждением вдыхал в Германии накануне войны, который ощущал в первые дни вторжения в Россию.

Щелчок зажигалки фон Лееба, раскуривающего погасшую сигару, вернул его к действительности. Прерывистым, дрожащим от волнения голосом Данвиц произнес:

— Разрешите идти, господин генерал-фельдмаршал?

— Идите, оберст-лейтенант! — милостиво кивнул фон Лееб.

Потом поискал место, куда бы положить сигару, не нашел, с раздражением отбросил ее в сторону, на пол, подобно рядовому штурмовику, выкинул вперед напряженную руку и крикнул:

— Хайль Гитлер!

— Садитесь, оберст-лейтенант, — сказал генерал Рейнгардт после того, как поднявшийся в его штабной автобус Данвиц доложил о своем прибытии.

О том, что офицер его корпуса Данвиц назначен командиром полка, генерал уже знал. Собственно, он не имел ничего против этого выскочки, который хоть и допустил грубую ошибку в первый день боев на Луге, но в последующих сражениях и в особенности под Кингисеппом проявил себя храбрым и толковым командиром.

Славу, размышлял Рейнгардт, всегда приходится делить, поскольку сами генералы в атаки не ходят. Делить с реальным или воображаемым солдатом, который, судя по рапортам, первым ворвался в тот или иной важный населенный пункт или водрузил знамя на той или иной важной высоте, делить с командирами подразделения и части, где числился этот солдат. Все это неизбежно — такова практика войны.

Что ж, пусть в Петербург первым ворвется со своим полком известный самому фюреру офицер по имени Арним Данвиц. Этот факт лишь привлечет дополнительное внимание ставки к тому соединению, в которое этот полк входит.

Таким образом, интересы Рейнгардта и этого Данвица целиком совпадают.

Как и у фон Лееба, у генерала Георга-Ганса Рейнгардта были свои расчеты и свои далеко идущие планы.

Раньше, во время затяжных, неудачных боев на Луге, Рейнгардт предпочел бы, чтобы задача непосредственного выхода к Петербургу была возложена на другое воинское соединение: на командире такого соединения обычно концентрируется внимание высшего начальства и на него же падает первая молния гнева в случае невыполнения задачи. Но теперь, когда город был окружен, Рейнгардт радовался тому, что именно его моторизованному корпусу предстояло возглавить решающий удар.

Не только слава покорителя Петербурга прельщала Рейнгардта, внутренне убежденного, что ему, а не старику фон Леебу должен был поручить Гитлер командование группой армий «Север». Приехавший с инспекционными целями генерал из штаба Йодля, приятель Рейнгардта еще по довоенным временам, рассказал ему о некоторых подробностях недавнего совещания у фюрера. Он сообщил, что тотчас же после падения Петербурга корпус Рейнгардта будет переброшен под Москву.

Это сулило командиру корпуса новые и весьма радужные перспективы.

Песня старика Лееба, по существу, спета. Совершенно очевидно, что после падения Петербурга здесь, на северо-востоке, все же останется некоторое количество войск, пусть минимальное. Место командующего группой армий «Центр» занято, к тому же двум фельдмаршалам на одном фронте было бы слишком тесно. Следовательно, Лееба скорей всего оставят в Петербурге в его нынешней должности, которая в дальнейшем уже не будет иметь никакого реального значения.

Он же, Рейнгардт, только выиграет от переброски под Москву. Части Гудериана сильно потрепаны, и на корпус Рейнгардта, по всей вероятности, ляжет основная задача по прорыву оборонительных поясов перед советской столицей. Таким образом, и там, под Москвой, Рейнгардту будет суждено сыграть одну из главных ролей. Он будет покорителем не только Петербурга, но и Москвы!

Но для того, чтобы все это осуществилось, размышлял генерал, надо как можно скорее покончить с Петербургом.

Вызвав командира моторизованной дивизии, куда входил полк, командовать которым теперь поручалось Данвицу, Рейнгардт представил ему новоиспеченного оберст-лейтенанта, а затем изложил стоящую перед ним задачу. Смысл ее заключался в том, чтобы нанести решающий удар в центр обороны русских в районе Дудергофских высот, расположенных в двух десятках километров от Петербурга, севернее Красного Села и Пушкина. Моторизованной дивизии надлежало быть как бы стрелой этого удара, а полку Данвица — острием этой стрелы.

— Разумеется, — сказал Рейнгардт, — до этого вам придется захватить Красное Село.

Он усмехнулся и уже другим, не официально-командным, а грубовато-фамильярным тоном заметил:

— Что ж, мы сделаем его действительно красным. Красным от крови.

Это мрачная острота показалась Рейнгардту очень удачной, и он продолжал:

— Собственно, и захват Дудергофских высот имеет, помимо важного тактического, еще и символическое значение. Я читал где-то, что именно с этих высот русские цари обычно наблюдали маневры гвардейских полков близ Петербурга. Хочу предупредить, что, хотя все связанное с царями вызывает у большевиков ненависть, они будут защищать Дудергофские высоты со свойственными им яростью и исступлением. По данным нашей разведки, сегодняшний петербургский вождь Жданов направил туда соединения молодых фанатиков-коммунистов и так называемое народное ополчение. Так что легкой победы не ждите. Но там, где победа может быть легкой, — добавил он уже с некоторой напыщенностью, — фюрер не использует наш корпус.

Было 13 часов 30 минут, когда Данвиц покинул автобус командира корпуса, чтобы отправиться в расположение полка, командовать которым ему отныне предстояло.

Данвиц торопился: до начала наступления у него оставалось меньше полутора суток.

Глава VII

Девятого сентября на рассвете моторизованный корпус Рейнгардта во взаимодействии с пехотным корпусом после длившейся два часа артиллерийской и авиационной подготовки начал генеральное наступление.

Еще ранее немецкая разведка донесла, что в районе Красного Села оборону держит не кадровое воинское подразделение, а дивизия народного ополчения. Ни фон Лееб, ни Рейнгардт, что бы ни говорил он Данвицу, не ожидали поэтому встретить здесь серьезное сопротивление. Однако первые атаки Рейнгардта были отбиты, причем его корпус потерял около тридцати танков.

Фон Лееб приказал поднять в воздух несколько эскадрилий самолетов, которые, сменяя одна другую, в течение всего дня бомбили боевые порядки и тылы ополченцев, и к вечеру Рейнгардту удалось вклиниться в советскую оборону на глубину от одного до трех километров.

Ворошилов, стремясь во что бы то ни стало приостановить продвижение немцев, приказал командующему 42-й армией, оборонявшей южные подступы к Ленинграду, использовать двухдневную норму снарядов на каждое артиллерийское орудие. Но не хватало не только снарядов, но и самих орудий.

Тем не менее после активной артподготовки ополченцы пошли в контратаку. Но ни беспримерная

храбрость бойцов ополченской дивизии, ни помощь морской артиллерии, начавшей вести огонь из Кронштадта, не могли кардинально изменить положение.

Правда, продвижение противника к Красному Селу удалось задержать. Но менее чем на сутки.

На следующий день, 10 сентября, Рейнгардт, бросив в бой танковую дивизию из второго эшелона, возобновил наступление.

Когда вступивший в командование фронтом Жуков резко упрекнул Военный совет Ленинградского фронта в том, что не было предпринято необходимых мер для укрепления линии фронта на участке, где немцы наносят основной удар, он был прав лишь отчасти. И эту горечь и обиду, которую при этом ощутили Жданов, Васнецов и другие члены Военного совета, можно было понять, поскольку Военный совет и до прибытия нового командующего старался помочь 42-й армии. Туда были посланы подкрепления: вновь сформированные добровольческие отряды, курсанты военных училищ.

Однако предпринять необходимый, хоть и очень рискованный шаг — перебросить в 42-ю армию некоторые части из 23-ей, — руководители ленинградской обороны не решались.

И этим воспользовались немцы.

Утром 11 сентября, подтянув новые силы, они продолжали наступление, на этот раз в обход Дудергофа с юга.

К вечеру Дудергофские высоты были захвачены.

На рассвете следующего дня Данвиц, не прибегая к шифру, срывающимся от волнения голосом торжествующе передал по радио в штаб Рейнгардта, что Петербург лежит у его ног и что в бинокль он видит дымящиеся трубы заводов и даже движение людей на городских улицах...

Сутками позже произошло событие, о котором немецкая дивизионная радиостанция немедленно сообщила в штаб Рейнгардта. С узла связи корпуса новость была передана по радио в Псков, в штаб фон Лееба, а торжествующий фельдмаршал приказал незамедлительно телеграфировать в ставку Гитлера.

А произошло вот что.

Фон Лееб бросил свои танковые и моторизованные части по направлению к побережью Финского залива. И к исходу дня солдаты одного из подразделений полка Данвица, пробиваясь к дороге, ведущей из Урицка в Петергоф, неожиданно увидели рельсовый путь. Рассмотрев колею, командир батальона понял, что перед ним не железнодорожные рельсы, а... трамвайные.

В то время как немцы, не веря себе, с изумлением и радостью рассматривали рельсы, вдалеке со стороны города показалась черная точка, которая приближалась и росла.

Схватив бинокль, командир батальона убедился в том, что эта точка не что иное, как трамвай. Он находился еще далеко, но в бинокль было отчетливо видно, что трамвай движется сюда.

Командир батальона немедленно известил об этом командира полка.

Когда примчался на машине Данвиц, трамвай был уже хорошо виден и без бинокля.

Данвиц дал команду залечь в укрытия и, сам лежа за пригорком, лихорадочным взглядом наблюдал за приближающимся трамваем, уверенный, что русские или используют его для переброски подкреплений, или наполнили взрывчаткой и снабдили часовым механизмом, чтобы вагон взорвался в расположении немцев.

А трамвай был уже совсем близко... Проехав еще несколько метров, скрипнув тормозами, вагон остановился, и из него стали выходить люди — старик, женщина с ребенком.

Все еще лежа за пригорком, Данвиц внимательно вглядывался в тех, кто выходил из вагона. И вдруг понял, что перед ними обычный, следующий своим рейсом городской трамвай.

«Значит, я уже в Петербурге?!» — пронеслось в сознании Данвица. На какую-то секунду эта мысль как бы сковала его. «Бог мой, мой фюрер, ведь это уже значит... ведь этот трамвай только что прошел по петербургским улицам!..»

Наконец, обретя дар речи, Данвиц крикнул:

— Солдаты! Мы в Петербурге! Переводчик, за мной!

Он поднялся на ноги с автоматом наперевес, побежал к трамваю и вскочил на переднюю площадку.

Срывающимся от волнения голосом Данвиц крикнул:

— Halt! Absteigen! [1]

И переводчик торжествующе, полным иронии тоном повторил уже по-русски:

— Выходите, господа! Приехали! Конец пути!

Данвиц перевел взгляд на вожатого и увидел, что тот смотрит на него остекленевшими глазами.

Не сознавая, что русские не понимают его, Данвиц закричал по-немецки, захлебываясь от радости и возбуждения:

— Слушайте, вы! Вы все! Конец Петербургу! Мы победили! Хайль Гитлер!

Но люди — мужчины, женщины, дети, — потрясенные случившимся, не двигались.

— Выходите! — снова крикнул Данвиц. — Выходить всем!

Он обернулся, чтобы приказать солдатам очистить вагон, и сквозь стекло передней площадки увидел, что на рельсах творится нечто невообразимое: солдаты отплясывали перед самым трамваем какой-то дикий танец. Потрясая автоматами, они выкрикивали, мешая немецкие слова с русскими:

— Absteigen! Endstation! [2] Ходи сюда, Иван! Wir sind schon da! [3] Петербург капут!

---

[1] Стой! Выходите! (н е м.)
[2] Выходите! Конечная остановка! (н е м.)
[3] Мы уже пришли! (н е м.)

И в этот момент Данвиц почувствовал, что его резко толкнуло, он едва не упал, налетев на стоявшую перед ним в проходе женщину. Данвиц не успел сообразить, что произошло, но запомнил, как эта женщина с искаженным то ли от страха, то ли от отвращения лицом с силой, обеими руками оттолкнула его, оттолкнула так брезгливо, точно он, Данвиц, был неожиданно упавшей ей на грудь жабой, гадиной...

В ту секунду Данвиц еще не понял, что вожатый резко тронул с места трамвай и повел его на бесчинствующихся на рельсах немецких солдат...

Данвиц услышал крики, проклятия. Выскочив обратно на площадку, он увидел, что вожатый, согнувшись, почти лежа грудью на контроллере и зажав в кулаке ручку управления, ведет вагон вперед, прямо на не успевших вовремя отбежать солдат.

Подняв автомат, Данвиц выпустил длинную очередь в спину вожатому.

Тело вожатого обмякло, голова его упала, но трамвай продолжал двигаться: онемевшая рука все еще сжимала ручку управления.

Вне себя от ярости Данвиц стал колотить прикладом автомата по этим пальцам, размозжил их, схватил мокрую от крови круглую деревянную ручку, рванул ее...

Только тогда трамвай остановился.

Соскочив с площадки, Данвиц, оглядываясь, бросился в сторону, точно боясь, что этот страшный трамвай может не только двинуться снова, но даже изменить направление, свернуть с рельсов и устремиться за ним в погоню.

— Огонь! — истошным голосом крикнул оберст-лейтенант. — По вагону огонь!..

Он услышал, как забарабанили автоматные очереди по металлу. Солдаты били по трамваю в упор, били в открытые окна, а потом, вскочив на площадку, застрочили из автоматов в упор по людям...

Они стреляли еще долго после того, как люди эти превратились в кровавое месиво...

Наконец все кончилось.

Данвиц мрачно стоял в стороне, наблюдая, как санитары уносят трупы его солдат, нашедших свою смерть под колесами вагона.

Торжество было испорчено. Данвицу хотелось бы вывести ехавших в вагоне русских сюда, на землю. Окружить их автоматчиками. Заставить встать на колени и молить о пощаде. Приказать кричать: «Хайль Гитлер!» Может быть, он и не расстрелял бы их. Может быть, направил бы этих людей под охраной в тыл — первых захваченных в плен жителей Петербурга. Там их могли бы сфотографировать. Послать снимки фюреру как реальное доказательство того, что Петербург пал...

Пробитый сотнями пуль, искореженный трамвай стоял неподвижно.

Данвиц подозвал связиста и, не глядя на него, мрачно сказал:

— Доложите в штаб дивизии, что полк вышел на окраину Петербурга.

Передача сообщения из штаба дивизии в штаб корпуса, а оттуда фон Леебу заняла немного времени.

В полдень того же дня генерал-фельдмаршал Риттер фон Лееб сообщил в ставку Гитлера, что передовые части его войск вышли на линию городских трамвайных путей Петербурга.

Глава VIII

Ночью Жданова разбудил телефонный звонок. Телефон стоял на тумбочке рядом с кроватью. Не зажигая света, еще в полудреме, Жданов схватил трубку и прижал ее к уху. Он услышал голос Жукова.

Прошло всего два часа с тех пор, как они расстались после отбоя очередной воздушной тревоги.

Артиллерийский обстрел немцы вели почти круглосуточно, в авиационных же налетах существовала некоторая закономерность, и после того, как заканчивалась очередная бомбежка, проходило три, а иногда и четыре часа до следующей.

Именно поэтому, когда по радио прозвучал отбой, Жданов, спавший последние трое суток лишь урывками, решил пойти отдохнуть — с начала войны он жил тут же, на территории Смольного — и прилечь хотя бы ненадолго.

И вот теперь его разбудил звонок Жукова.

Нащупав кнопку стоящей на тумбочке лампы, Жданов включил свет и взглянул на часы.

Стрелки показывали двадцать минут третьего, это означало, что поспать ему удалось около полутора часов.

— Я сейчас зайду, — сказал Жуков.

— Что-нибудь случилось? — встревоженно спросил Жданов.

— Сейчас зайду, — повторил Жуков.

Через несколько минут Жуков спустился во двор Смольного.

Небо было розовым от пожарищ, вспыхнувших во время недавней бомбежки. Откуда-то доносилось завывание сирен пожарных машин и глухой грохот артиллерийских разрывов.

Снаряды рвались не в Смольнинском районе, а где-то далеко, может быть, даже за пределами города, об этом свидетельствовал другой звук, мерный, точно удары дятла по дереву. Казалось, он слышался отовсюду — сверху, с неба, из-под земли, из стен домов, — сухой отчетливый звук. Это стучал метроном, включенный в городскую радиосеть, и сотни репродукторов, установленных на улицах, с удесятеренной силой воспроизводили это спокойное и громкое: «Тук... тук... тук...»

С тех пор как враг начал регулярные воздушные налеты на Ленинград, а затем и артиллерийский обстрел улиц, миллионы ленинградцев стали вслушиваться в стук метронома так, словно это было биение сердца города.

Спокойно-размеренные удары метронома, когда не грозила опасность бомбежки или обстрела, становились лихорадочно частыми после объявления воздушной или артиллерийской тревоги.

Сейчас метроном стучал уверенно и ровно, как сердце здорового человека.

Жуков постоял, прислушиваясь к артиллерийской стрельбе — она доносилась с юго-запада. Потом направился к двухэтажному флигелю, где теперь жил Жданов.

Миновав прихожую, Жуков поднялся на второй этаж.

Жданов уже ждал его в кабинете. Едва Жуков переступил порог, Жданов торопливо повторил вопрос, на который так и не получил ответа по телефону:

— Что-нибудь случилось?

Жуков подошел к стене и повернул выключатель. Комната погрузилась во мрак. Подняв маскировочную штору, резким движением распахнул окно.

— Слышите? — спросил он. — Это бьют где-то между Стрельной и городом.

Несколько секунд Жуков стоял молча, потом закрыл окно, опустил штору, зажег свет, взял за спинку один из стоящих у стены стульев, выдвинул его, тяжело сел и сказал:

— Значит, так. Час тому назад немцы захватили Пушкин. Кроме того, они бросили несколько десятков танков — примерно шестьдесят — в стык сорок второй и восьмой армий, в направлении побережья Финского залива и рвутся от Стрельны к Кировскому заводу.

Жуков произносил эти слова ровным, твердым голосом, как если бы речь шла о малозначительных изменениях в обстановке на фронте, но Жданов понял, что положение обострилось до крайности.

Он молча опустился на стул рядом с Жуковым. Слышалось только его тяжелое, астматическое дыхание.

Наконец Жданов спросил:

— Что будем делать, Георгий Константинович?

— Это еще не все, — как бы не слыша вопроса, продолжал Жуков, и голос его стал жестче. — В результате продвижения противника две наши правофланговые дивизии отсечены от сорок второй армии. По полученным данным, сейчас они ведут бой на фланге Щербакова, пытаясь отбить Стрельну. Пока что безрезультатно.

Жданов мгновенно представил себе ситуацию. Генерал Щербаков командовал 8-й армией, оборонявшей побережье залива. Из того, что немцам удалось отсечь две дивизии 42-й, которые теперь оказались на левом фланге у Щербакова, неумолимо вытекал страшный вывод...

То, что Жданов представил себе мысленно, Жуков высказал вслух.

— Таким образом, — сказал он, как бы подытоживая, — восьмая с часу на час может быть отрезана.

Жуков встал и подошел к висевшей на стене карте, на которой красные флажки обозначали линию советской обороны, а синие — направления наступающих вражеских войск.

Несколько мгновений Жуков молча глядел на карту, потом резкими движениями стал переставлять флажки. Он выдергивал их и втыкал в новые места, а Жданов, наблюдая за ним, каждый раз, когда Жуков переставлял флажок ближе к Ленинграду, испытывал чувство физической боли, точно булавка впивалась в его тело.

Жданов тоже подошел к карте. Линия фронта опоясывала Ленинград от Шлиссельбурга на северо-востоке до Стрельны на северо-западе, несколько выгибаясь на юге. Другая линия рубежей тянулась от западного побережья Финского залива на восток и поворачивала на север к Петергофу.

Но самым страшным было то, что синие флажки на ряде участков врезались в расположение советских войск, свидетельствуя о прорыве фронта обороны как на юге, так и на юго-западе.

— Но если говорить откровенно, — продолжал Жуков, — меня в первую очередь беспокоит не восьмая. — Он ткнул пальцем в один из красных флажков. — Пулковские высоты — вот сейчас коренной вопрос. Здесь назревает наибольшая опасность широкого прорыва.

Жданов внимательно вглядывался в красный флажок, полуокруженный с юга синими.

Ему не надо было объяснять значение Пулковских высот — холмов, расположенных на ближних с юга подступах к Ленинграду. Отсюда можно было не только контролировать ведущие в Ленинград Московское и Киевское шоссе, но и безошибочно корректировать артиллерийский огонь по ряду районов города.

— Но сейчас ближе всего к Ленинграду немцы на западе, у Стрельны... — проговорил Жданов.

Жуков прервал его:

— Этими силами им города не взять. Но, захватив командные Пулковские высоты, они сметут Ленинград одной только артиллерией. Владея высотами, противник обеспечит продвижение к городу своих моторизованных частей. Убежден, что именно отсюда, со стороны Пулкова, фон Лееб намерен нанести решающий удар.

Жданов подумал о том, что в октябре 1919 года именно у Пулковских высот Красной Армии удалось остановить наступление ударной группировки войск Юденича. Остановить, а потом, перейдя в наступление на фланги этой группировки, разгромить ее... Но это было давно. А теперь...

— Иванов удара не выдержит, — мрачно сказал Жуков.

— Вы имеете в виду армию или командующего?

— Другую армию нам взять неоткуда. Надо усиливать эту. А командующего необходимо сменить немедленно.

— Но целесообразно ли делать это в столь кри-

тический момент? — с сомнением в голосе проговорил Жданов. — Новому человеку потребуется время, чтобы войти в курс дела, а времени у нас нет.

— Вы правы, времени у нас нет, — резко сказал Жуков. — Именно поэтому я и предлагаю сменить командующего немедленно.

Он подошел к Жданову ближе и продолжал:

— Вы знаете, что вчера я отправил Федюнинского в сорок вторую, чтобы на месте разобраться, что там происходит. Он только что вернулся. Докладывает, что картина мрачная. Иванов растерян. Расположения частей своей армии не знает. Связь с ними нарушена. Просил Федюнинского разрешить перенести свой КП севернее, то есть еще ближе к Ленинграду. Федюнинский запретил.

— Где же в данную минуту находится КП Иванова? — спросил Жданов, снова подходя к карте.

— Вопреки приказанию Федюнинского Иванов все же перенес его. Сейчас КП находится в подвале школы напротив Кировского завода.

— Так... — мрачно сказал Жданов. — Где Федюнинский?

— Здесь, в Смольном.

— Я хочу переговорить с ним.

— Вопрос ясен... — начал было Жуков, но Жданов прервал его:

— Нет. Я все же хочу услышать лично. Смена командующего — серьезный вопрос. Буду готов через три минуты. Пойдем вместе.

И, не дожидаясь ответа, Жданов поспешно спустился на первый этаж.

Скоро раздался его голос снизу:

— Спускайтесь, Георгий Константинович, жду вас.

Они вышли во двор. Небо все еще пламенело. Розовый отблеск отражался в темных, плотно заштóренных изнутри окнах Смольного.

Стук метронома, ясно различимый, когда они вышли из флигеля, внезапно оборвался, и почти одновременно где-то совсем неподалеку раздался грохот орудийного разрыва.

И тотчас же метроном застучал лихорадочно быстро. На фоне этих частых ударов разнесся голос диктора:

— Граждане! Смольнинский район подвергается артиллерийскому обстрелу!.. Граждане...

— Снова бьют по городу, мерзавцы! — со злобой сказал Жданов.

Жуков ничего не ответил.

Они вошли в подъезд.

— Куда вы, ведь обстрел, — сказал Жуков, видя, что Жданов поворачивает по коридору направо—там, на первом этаже, находился его кабинет.

— А... черт с ним! — махнул рукой Жданов.

— Нет, — твердо сказал Жуков, — нам этот орудийный аккомпанемент ни к чему. Мешает работать. Пойдемте вниз.

И он первым повернул налево, к двери, ведущей в бомбоубежище.

Они спустились вниз, миновали переговорный пункт, прошли по узкому коридору мимо плотно прикрытых дверей, ведущих в помещения отделов штаба фронта. В конце коридора путь преграждала тяжелая металлическая дверь. Жуков с силой потянул ее на себя. Узкая, тускло освещенная двухмаршевая лестница вела еще ниже, туда, где располагались кабинеты членов Военного совета, работавших здесь во время воздушных налетов и артиллерийских обстрелов кварталов, прилегающих непосредственно к Смольному.

Кабинетом Жданову служила маленькая двенадцатиметровая комната. Справа от входа стояла застеленная серым солдатским одеялом койка. Тускло светили две лампочки без абажуров, ввинченные в патроны на стенах. Из этой комнаты другая дверь вела в узенький полутемный тамбур, соединяющий кабинеты Жданова и Жукова.

— Останемся здесь? — сказал Жданов, не то спрашивая, не то предлагая.

Жуков молча опустился на стул и нажал кнопку звонка.

Через несколько секунд появился помощник Жданова полковой комиссар Кузнецов.

Увидев за столом Жукова, он удивленно посмотрел на командующего, но тут заметил сидящего справа на койке Жданова и повернулся к нему.

— Вызовите сюда Федюнинского! — приказал Жуков, глядя Кузнецову в спину. — Он или где-то здесь, или наверху, в моей приемной.

— Да, да, пожалуйста, — кивнул Жданов. — И Васнецова попросите сюда.

Васнецов появился тотчас же.

— Сергей Афанасьевич, — обратился к нему Жданов, едва тот переступил порог, — на участке сорок второй создалось критическое положение.

— Знаю, — коротко ответил Васнецов, — час тому назад заходил в оперативный отдел.

— У Георгия Константиновича есть конкретное предложение, — продолжал Жданов. — Но, прежде чем обсудить его, надо выслушать Федюнинского. Он только что вернулся от Иванова. Сейчас зайдет. Садитесь.

Прошло еще немного времени, и на пороге, почти касаясь головой низкой, обитой железом дверной притолоки, появился генерал-майор Федюнинский. Его усталое лицо было мертвенно-бледным. Однако он был чисто выбрит, а щеточка усов аккуратно подстрижена.

— Входи и докладывай Военному совету, что видел в сорок второй, — сухо приказал Жуков.

Федюнинский сделал два шага вперед и стоял теперь так, что мог обращаться одновременно к Жукову, Жданову и Васнецову.

— Видите ли, товарищ Федюнинский, — пояснил Жданов, — нам с товарищем Васнецовым хотелось бы самим услышать и оценить то, что вы уже докладывали Георгию Константиновичу.

— По приказу командующего, — начал Федюнинский, — я выехал...

— Давай коротко! — прервал его Жуков. — Зачем и куда выезжал, всем известно. Докладывай, что там происходит.

— Слушаюсь, — слегка наклоняя голову, сказал Федюнинский. — Во время моего пребывания на КП сорок второй шли ожесточенные бои от Урицка до окраин деревни Пулково. Видимо, немецкая группировка получила дополнительные резервы. К ночи, когда я решил вернуться в Ленинград, противник бросил крупные танковые силы в стык сорок второй и восьмой армий. Генерал Иванов обратился ко мне за разрешением перенести свой КП севернее, то есть ближе к Ленинграду. Я запретил, исходя из того, что...

— Знаем, из чего исходил, — снова прервал его Жуков.

— Скажите, товарищ Федюнинский, — заговорил Жданов, — что вам ответил Иванов?

— Сказал, что попробует удержаться на старом месте.

— «Попробует»! — саркастически повторил Жуков. — А сам, как только ты уехал, дал команду перевести свой КП в район Кировского! Ладно, доложи Военному совету свое мнение об Иванове.

— Товарищ командующий, — хмуро начал Федюнинский, — мне нелегко говорить... Я знал Иванова еще до войны. Он всегда казался мне волевым, решительным командиром. Но сейчас... — Федюнинский замялся.

— Не жуйте мочало! — повысил голос Жуков. — Нас интересует не то, каким был Иванов, а каков он теперь!

— Да, товарищ Федюнинский, — несколько мягче, но требовательно произнес Жданов. — Хотелось бы, чтобы вы со всей ответственностью, но совершенно искренне высказали свое мнение об Иванове.

Снова наступило гнетущее молчание.

— Не могу скрыть, Андрей Александрович, — с горечью заговорил наконец Федюнинский, — генерал Иванов производит сейчас впечатление человека растерянного, подавленного... Когда я прибыл к нему на КП, там заканчивалось заседание Военного совета армии. Они обсуждали сложившуюся обстановку, но к единому мнению так и не пришли. Связь с войсками у штаба армии отсутствовала... Хочу добавить, что по дороге к Иванову в районе Кировского я встретил танкистов из полка, входящего в сорок вторую. Командир полка доложил мне, что по приказу штабарма отходит на позиции ближе к городу. Я приказал ему вернуть полк в прежний район сосредоточения. У меня все.

— Вопрос ясен, — сказал Жуков. — Предлагаю командующего сорок второй от должности отстранить. Ваше мнение?

Он посмотрел сначала на Жданова, потом на Васнецова.

— Полагаю, что в сложившейся обстановке другого выхода нет, — медленно проговорил Жданов.

— Значит, вопрос решен, — сказал Жуков. — Кого назначим?..

Он обвел взглядом присутствующих и решительно произнес:

— Генерал Федюнинский, немедленно принимайте сорок вторую.

Федюнинский едва заметно передернул плечами.

— Чего жметесь? — резко спросил Жуков.

— Товарищ командующий, принять сорок вторую армию, как это делается обычно, невозможно, — сказал Федюнинский. — Могу просто вступить в командование. И если...

— Ты тут в слова не играй! — ударил кулаком по столу Жуков. Потом исподлобья взглянул на Жданова и Васнецова и уже более сдержанно продолжал: — Вот и вступайте в командование. И немедленно восстановите порядок в штабе и в частях. Если считаете нужным взять с собой кого-либо из штаба фронта, берите. И быстро! Быстро! Задача ясна? — Жуков посмотрел на часы. — Предлагаю оформить решением Военного совета. Как, товарищи?

— Я за, — отозвался Васнецов.

— Согласен, — сказал Жданов.

— Тогда... где там наши писари? — Жуков потянулся к звонку.

— Не будем терять времени, — сказал Васнецов.

Он вынул из кармана блокнот, карандаш и написал:

«Приказ Военного совета Ленинградского фронта. Командующего 42-й армией генерал-лейтенанта Иванова Ф. С. от занимаемой должности освободить. Генерал-майору Федюнинскому И. И. принять командование армией».

Васнецов вырвал листок из блокнота и передал его Жукову. Командующий пробежал текст глазами, размашисто подписал, встал и, выйдя из-за стола, протянул листок сидящему на койке Жданову. Жданов поискал, что бы такое подложить под листок, потом положил его прямо на одеяло и тоже подписал, несколько раз проколов бумагу острием карандаша, и вернул Васнецову. Тот подписал, уже не глядя, и положил листок на стол перед Жуковым.

— Держи, — сказал Жуков, протягивая бумагу Федюнинскому. — И слушай! Основная задача на сегодня — расширить плацдарм на побережье Финского залива, а на юге ни при каких условиях не отдавать Пулковских высот. Ясно? И не просто обороняться, а наносить удары по противнику всеми средствами, включая авиацию, военно-морские силы и сухопутную артиллерию. Командующий авиацией и Балтфлот получат соответствующие распоряжения немедленно. Дивизии НКВД, находящейся в составе сорок второй, прикажешь выдвинуть передовые отряды, чтобы не допустить прорыва врага

от Урицка вдоль Лиговского канала. И последнее. Выбьешь противника из Урицка и освободишь дорогу Стрельна—Ленинград. Ты понимаешь, что оттуда до нас можно на трамвае меньше чем за час доехать?!

Он замолчал и устремил взгляд куда-то мимо стоящего неподвижно Федюнинского, будто хотел разглядеть продвигающихся вдоль трамвайных путей немцев. Потом снова перевел взгляд на Федюнинского и отрывисто сказал:

— На сборы сорок пять минут. Через два часа принять командование и приступить к исполнению приказа. И запомни: хоть мы, как говорится, друзья-товарищи, но за выполнение приказа — головой отвечаешь!

Последние слова Жуков произнес с такой решимостью и такой угрозой в голосе, что Жданов и Васнецов невольно переглянулись.

Но Жуков, казалось, не замечал, какое впечатление произвели его слова.

— Товарищ Васнецов, — сказал он уже спокойно-деловым тоном, — вчера я приказал Управлению инженерных войск срочно подготовить новый противотанковый рубеж по линии Окружной дороги. Так вот, на этот рубеж надо быстро перебросить шестую ополченскую дивизию. Под твое командование, генерал, — снова обратился он к стоящему посредине комнаты Федюнинскому. — Поставишь ее в тылу Пулковской позиции. В течение завтрашней ночи поставишь, пока будет темно. Понял? — Смерил Федюнинского взглядом с головы до пят и недовольно сказал: — Чего стоишь? Времени, что ли, много в запасе? Иди!

Круто повернувшись, Федюнинский вышел.

Какое-то время Жуков, Жданов и Васнецов молчали, бессознательно давая себе короткий отдых после столь нелегкого, но неизбежного решения.

Жуков заговорил первым:

— Вчера мы решили передать из резерва инженерного управления сорок тонн взрывчатки районным тройкам. Товарищ Васнецов, взрывчатка получена?

Еще при Ворошилове руководство районными тройками было возложено на Васнецова. Созданные, когда опасность нависла непосредственно над городом, возглавляемые секретарями Кировского, Московского, Володарского и Ленинского райкомов партии, эти тройки руководили гражданской обороной находящихся в угрожаемом положении районов Ленинграда. На них же лежала ответственность за минирование военно-промышленных объектов на случай чрезвычайных обстоятельств, то есть если врагу все же удастся ворваться в город.

— Георгий Константинович, — ответил Васнецов, — взрывчатка получена и используется по назначению. Однако...

— Какое еще «однако»? — недовольно перебил Жуков.

— Товарищ командующий, — решительно сказал Васнецов. — На том заседании Военного совета, во время которого вы столь неожиданно появились, обсуждались мероприятия, связанные именно с минированием военно-промышленных объектов. Вы тогда приказали обсуждение прекратить.

— И правильно сделал, — отрубил Жуков. — Мероприятия на случай сдачи города...

— Товарищ Жуков, — с неожиданной резкостью прервал его Жданов. — Как вы могли произнести это слово? Ни о какой «сдаче» речь никогда не шла и не могла идти! Неужели вы хоть на мгновение могли предположить, что мы допускаем подобную мысль?! Каждому из нас ясно, что немцы могли бы ворваться в город только по нашим телам. По трупам коммунистов, комсомольцев, питерских рабочих! Им пришлось бы брать с боя каждый дом, каждую баррикаду, каждую улицу. Они захлебнулись бы в собственной крови! Это была бы пиррова победа! Я прошу вас... я требую никогда не употреблять этого слова — «сдача»!

Жуков еще не видел Жданова в таком состоянии: он стоял, сжав кулаки, лицо его покраснело, глаза сузились.

Несколько мгновений в этой маленькой комнате, расположенной глубоко под землей, стояла напряженная тишина.

Потом Жуков сказал примирительно:

— Извините, Андрей Александрович. Возможно, я употребил не то слово. Преуменьшать героизм защитников Ленинграда не собираюсь. Но я человек военный и мыслю категориями военными. С чисто военной точки зрения оборона Ленинграда находится в критическом состоянии. Противник имеет огромный перевес — и количественный и в вооружении. Нас здесь только трое, и я могу, не скрывая, сказать, что вообще удивляюсь, как немцам до сих пор не удалось...

Он не договорил, потому что Жданов снова прервал его:

— Удивляться тут нечему! Под Ленинградом врагу преграждает путь та же сила, которая противостоит ему повсюду, — партия, советский народ, великая идея, которой враг может противопоставить, кроме пушек и танков, лишь тупую ненависть к коммунизму. Злобу и ненависть! Именно вера в коммунизм, в партию дает нам силы в этой неравной борьбе. И вы всё это понимаете не хуже меня. На пути к Ленинграду немцы уже положили десятки тысяч своих солдат и офицеров. По данным нашей разведки, некоторые дивизии фон Лееба насчитывают лишь половину своего прежнего состава. Я хорошо понимаю, что без отлично организованной обороны нам Ленинграда не отстоять. Поэтому мы рады, что товарищ Сталин прислал сюда именно вас, и будем помогать вам всегда и во всем. Но по

тому вопросу, о котором сейчас зашла речь, у всех нас должна быть полная ясность!

Последние слова Жданов произнес уже спокойно.

Он снова сел и, обращаясь к Васнецову, сказал:

— Вы хотели о чем-то спросить Георгия Константиновича? Я прервал вас. Извините.

Васнецов, который напряженно слушал Жданова, внутренне соглашаясь с каждым его словом, теперь, чтобы окончательно разрядить обстановку, сказал нарочито будничным тоном:

— Собственно, мой вопрос чисто практический. На том заседании, помимо членов Военного совета, присутствовали секретари райкомов и директора предприятий. Вы не опасаетесь, Георгий Константинович, что этим товарищам, слышавшим, сколь резко вы сняли вопрос о минировании с повестки дня, может показаться, что... — Васнецов несколько замялся, — что ваш последующий приказ, согласно которому они получили дополнительное количество взрывчатки, находится в некотором несоответствии?..

Жуков нахмурился.

— Полагаете, что между моими словами и дальнейшими действиями есть противоречие?

— Далек от этого, — спокойно ответил Васнецов. — Отлично понимаю, что, сосредоточив внимание Военного совета прежде всего на вопросах отпора врагу, вы были правы. Но у присутствующих товарищей могло создаться впечатление, что вы вообще рассматриваете мероприятия по минированию как проявление паники. И это может отразиться на ходе этих мероприятий.

Некоторое время Жуков молчал. Потом задумчиво заговорил:

— Сергей Афанасьевич, вы партийный работник и классиков марксизма, наверное, штудировали лучше, чем я. И слова Энгельса о том, что оборона есть смерть вооруженного восстания, вы, конечно, помните?

— Разумеется, — кивнул Васнецов. — И Ленин эти слова повторял.

— Так вот, в любой войне пассивная оборона есть гибель. Поэтому даже в сегодняшнем тяжелом положении перед нами стоит задача не просто обороны, а активного отпора врагу. Иначе мы погибнем или, как выразился товарищ Сталин, прощаясь со мной, попадем в лапы к фашистам. Чтобы этого не случилось, мы должны потребовать от командармов, командиров дивизий и полков не просто удерживать занимаемые позиции, но контратаковать! Если вчера немцы захватили поселок, станцию, высоту, то сегодня этот поселок, станция, высота должны быть отбиты. Сегодня не удастся — атаковать и завтра, но отбить назад во что бы то ни стало! Инициативу мы должны вырвать у врага, вот в чем задача! Иначе смерть! — Жуков опять говорил твердо, властно, решительно. — Разумеется, минирование объектов надо продолжать. Но все мы, от членов Военного совета до рядового бойца, должны проникнуться мыслью, что нужно не просто обороняться, а наступать, именно наступать! Продвигаться на километры, на десятки метров, на шаг вперед, пока не в силах больше, но наступать!.. А минирование связано с сознанием, что наш удел — отступать. Так вот: минирование следует продолжать, а мысль о неизбежности отступления надо выбить из голов людей. Любыми средствами, но выбить! — Жуков перевел взгляд на Жданова. — Вы согласны со мной, Андрей Александрович?

Некоторое время Жданов молчал, но не потому, что сомневался в правильности слов Жукова. Он думал о том, как трудно, безумно трудно людям, проделавшим горький путь отступления, привыкшим к оборонительным боям, проникнуться сознанием не только необходимости, но и возможности наступления.

— Да, я согласен с вами, Георгий Константинович, — сказал Жданов, — хотя понимаю, сколь трудна в создавшихся условиях поставленная вами задача. Ленинград мы не отдадим врагу. Хотя буря достигла бешеной силы.

На последней фразе он сделал ударение: эти слова принадлежали Ленину и относились к одному из самых трудных периодов жизни молодой Советской республики.

— Да, я согласен с вами, — убежденно повторил Жданов. — Я, как и вы, верю, что Федюнинскому удастся принять неотложные меры, остановить врага, перейти к контратакам. Но на это требуется время. Пусть самое короткое, но время! А враг рвется вперед. Поэтому я считаю необходимым дать указание Кировской и Московской тройкам, чтобы рабочие этих районов были готовы — в случае чрезвычайных обстоятельств — занять баррикады. В первую очередь я имею в виду рабочих Кировского завода.

Резким движением Жданов нажал кнопку звонка и попросил вошедшего Кузнецова соединить его с парторгом ЦК на Кировском заводе Козиным.

Потом Жданов спросил Жукова:

— Есть какие-нибудь новости из пятьдесят четвертой?

Это была армия, срочно сформированная Ставкой по ту сторону осадного кольца, в районе Синявина, с целью прорвать блокаду Ленинграда извне.

Жуков покачал головой.

— Ничего существенного. В будущем, я думаю, пятьдесят четвертая сыграет свою роль. Но в эффективность ее действий в ближайшие дни я не верю. Кроме того, не хочу скрывать, что на маршала Кулика как на командарма особых надежд не возлагаю.

Он не договорил, потому что в этот момент вошел Кузнецов и доложил, что Козин на проводе.

Жданов взял трубку.

— Здравствуйте, товарищ Козин. Звоню вам для того, чтобы сообщить: на Стрельнинском и Урицком направлениях создалось угрожающее положение. Мы полагаем, что следует быть готовыми занимать боевые позиции.

Несколько мгновений он молчал, слушая Козина. Потом сказал:

— Я думаю, Николай Матвеевич, партком поступил правильно. Мы принимаем сейчас неотложные меры, чтобы остановить врага на побережье залива. И тем не менее вы правы.

Он снова умолк, слушая парторга, затем ответил:

— Военный совет и бюро обкома не сомневаются в этом.

Повесив трубку, Жданов обернулся к Жукову и Васнецову.

— Кировцы готовы по первому же приказу занять намеченные для обороны позиции. Я полагаю, Георгий Константинович, что надо срочно создавать дополнительные рубежи, кроме линии Окружной дороги.

— Вы правы, — сказал Жуков, постукивая карандашом по столу. — Нам очень нужны дополнительные рубежи. Но какими силами их держать? Что касается кадровых частей, то здесь все наши возможности исчерпаны.

— Георгий Константинович, — спокойно, но твердо ответил Жданов, — я секретарь областной и городской партийных организаций и знаю, что говорю. Да, мы исчерпали все наши наличные резервы. Но в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах мы еще раз проведем мобилизацию членов партии и комсомольцев. Снова объявим набор добровольцев на предприятиях и в учреждениях, в органах НКВД и милиции. Может быть, вам, военному человеку, это покажется громкой фразой, но я еще раз хочу сказать, что, пока живы коммунисты, силы Ленинграда неиссякаемы.

— Хорошо. Согласен, — сказал после короткого раздумья Жуков. — Давайте примем решение. Запишешь, Сергей Афанасьевич? — взглянул он на Васнецова. — Почерк у тебя больно хороший...

И стал диктовать:

— Сформировать пять стрелковых бригад и две стрелковые дивизии, сосредоточив их с целью непосредственной обороны города, для чего создать дополнительные линии обороны. Так?

Жданов кивнул.

— Перемалывать противника артиллерийским, минометным огнем и авиацией, — продолжал диктовать Жуков. — Восьмой армии наносить удары противнику во фланг и тыл. Все?..

— Товарищ Жуков, — кладя карандаш на стол, сказал Васнецов, — я полагаю, что надо уделить особое внимание району Кировского завода. Если не возражаете, я немедленно выеду на Кировский.

Никто не возражал.

— Тогда всё, — сказал Жуков. — Полагаю, что главное на данный час мы решили. — Потом посмотрел на Жданова и добавил: — Если обстрел закончился, вам, Андрей Александрович, надо вернуться к себе и отдохнуть хотя бы недолго. — Он усмехнулся. — Будете сопротивляться, мы с Васнецовым оформим приказом Военного совета. Сейчас узнаю, как там наверху...

Снял телефонную трубку.

— Жуков. Как там немец наверху?

Положил трубку и, обращаясь к Жданову, сказал:

— Обстрел прекратился. Мы с Васнецовым пойдем. А вы — к себе. Спать два часа.

— Будьте добры, Георгий Константинович, нажмите кнопку звонка, — не отвечая на его слова, попросил Жданов и сказал явившемуся на вызов своему помощнику Кузнецову: — Соберите у меня в кабинете секретарей райкомов. — Посмотрел на часы и добавил: — И как можно скорее, пожалуйста.

Глава IX

Была ночь, когда Федюнинский с тремя отобранными им в штабе фронта командирами выехал из Ленинграда.

Автомашинам разрешалось двигаться по ночному городу со скоростью, не превышающей тридцати километров в час, однако Федюнинский торопил водителя, стремясь прибыть на командный пункт Иванова до рассвета.

Он сидел на переднем сиденье «эмки» рядом с шофером, погруженный в тяжелые раздумья.

В том, что Жуков и Жданов, решив сменить командующего армией, поступили правильно, Федюнинский не сомневался. Но теперь нести ответственность за эту армию предстояло ему самому. Именно он, Федюнинский, должен был в условиях ожесточенных оборонительных боев навести порядок в управлении частями и соединениями. Уже через несколько часов Жуков не примет никаких ссылок на неправильные действия Иванова в прошлом.

Впрочем, в создавшихся условиях иначе и не могло быть...

Федюнинский сознавал, сколь сложна стоящая перед ним задача.

Если бы ему довелось ставить ее перед кем-либо другим, он сформулировал бы эту задачу так: перемалывать противника артиллерийским огнем дальнобойных морских орудий и армейской артиллерии, наносить ему удары с воздуха; вести не просто оборонительный, а активный, наступательный бой; отбить у врага район Горелово—Стрельна—Урицк и ни в коем случае не дать противнику овладеть Пулковскими высотами.

Так звучал бы этот боевой приказ, и сформулировать его не составляло большого труда для любого, знающего обстановку военачальника.

Но как выполнить этот приказ, если в армии фактически отсутствует оперативная связь между командованием и частями? Как суметь в короткий срок не только восстановить управление войсками, но и добиться перелома, перехода от оборонительной тактики к наступательной, если враг ведет непрерывные атаки?

Он был опытный, боевой командир — генерал-майор Федюнинский, — участник гражданской войны, боев на реке Халхин-Гол и недавних сражений с белофиннами на Карельском перешейке. Грозный рассвет 22 июня 1941 года он встретил на западной границе Украины в качестве командира стрелкового корпуса и, следовательно, уже не раз бывал в ситуациях, когда от его воли и мужества зависела судьба многих тысяч людей. Но положение, в котором Федюнинский оказался сейчас, было исключительным по той ответственности, которая возлагалась лично на него как на командующего армией, от боеспособности которой во многом зависела судьба Ленинграда.

Генерал Иванов не справился с возложенной на него задачей, растерялся. Федюнинский не мог заглушить в себе чувства жалости к Иванову, которого знал еще с довоенных времен. Это было отнюдь не сочувствие, нет, а именно чувство жалости, потому что, будучи кадровым военным, Федюнинский мог представить себе состояние генерала, смещенного за невыполнение ответственной боевой задачи.

Но по мере приближения к фронту это чувство становилось все глуше, уступая место другому, прямо противоположному.

«Как Иванов смел вопреки моему запрету перенести свой КП из района Пулкова непосредственно в город? — размышлял Федюнинский. — Ведь об этом наверняка стало известно командирам частей! О чем думают сейчас они? О том, что командование, видимо, считает невозможным отстоять Пулковские высоты? Но в чем же тогда смысл борьбы за Урицк, находящийся северо-западнее Пулкова? В чем смысл категорического приказа во что бы то ни стало отстоять сами высоты, если командующий армией вместе со своим штабом отходит к Ленинграду?!»

Федюнинский не сомневался, что решение Иванова перенести свой КП явилось прямым следствием его растерянности и что оставлять такого человека во главе армии, от которой зависит сейчас судьба Ленинграда, было бы преступлением.

Командный пункт 42-й армии размещался теперь в подвальном помещении полуразрушенного в результате бомбежек и обстрелов дома, расположенного напротив Кировского завода. В предрассветных сумерках были хорошо видны проломы в стенах, обнаженные лестничные клетки и кое-где уцелевшие площадки комнат с сохранившейся на них домашней утварью.

Федюнинский легко установил местонахождение КП по выставленной у дома охране. Чувствовалось, что командный пункт обосновался здесь совсем недавно и оборудование его продолжается. Связисты тянули провода, из кузова стоящего неподалеку грузовика бойцы выгружали ящики полевых телефонов, пишущие машинки, походные рации...

Выйдя из машины, Федюнинский в сопровождении прибывших с ним командиров — генерал-майора и двух полковников — направился к дому.

Предъявив документы молоденькому лейтенанту с автоматом на груди, они стали спускаться в подвал.

Узкая лестница с выщербленными, покрытыми каменной пылью и кусками щебенки ступенями была тускло освещена свисающей на шнуре лампочкой.

Внизу, у плотно прикрытой металлической двери с потеками и пятнами ржавчины, стоял часовой.

Увидев спускавшихся по лестнице генералов, он вытянулся.

— Командующий у себя? — спросил Федюнинский.

— У себя, товарищ генерал, — ответил часовой и добавил: — Идет заседание Военного совета.

— Подождите здесь, — сказал Федюнинский сопровождавшим его командирам, открыл дверь и вошел.

В сыром подвальном помещении он увидел сидящих у письменного стола генерал-лейтенанта Иванова и членов Военного совета армии Соловьева и Клементьева. Склонившись над разложенной на столе картой, они о чем-то разговаривали и не заметили появившегося на пороге Федюнинского.

Некоторое время он молча стоял в дверях, обводя взглядом этот подвал, освещенный переносными лампами-времянками, потом, не здороваясь, поскольку видел собравшихся здесь людей совсем недавно, спросил:

— О чем идет разговор, товарищи?

Иванов резко поднял голову и, увидев Федюнинского, встал. Лицо его было еще более усталым и осунувшимся, чем вчера, плечи опущены.

Федюнинскому показалось, что Иванов смотрит на него невидящими глазами. Однако спустя мгновение, точно поняв наконец, кто перед ним, Иванов чуть расправил плечи и сказал:

— Здравия желаю, товарищ заместитель командующего фронтом... — Снова ссутулился и устало добавил: — Значит, опять к нам?..

Попытался улыбнуться, но улыбка получилась какой-то вымученной, похожей на болезненную гримасу.

— Какой вопрос обсуждаете? — холодно переспросил Федюнинский.

— Решаем, как быть с артиллерией, — ответил Иванов. — По моему мнению, ее необходимо отве-

сти ближе к городу. Иначе в случае прорыва артиллерийские позиции окажутся в руках противника. Мы не можем допустить, чтобы немцы использовали наши же пушки. Кроме того, имеются и другие причины, по которым...

Иванов продолжал говорить устало и монотонно. И чем больше аргументов приводил он в пользу отвода артиллерии с занимаемых позиций, тем сильнее охватывало Федюнинского чувство неприязни к этому генералу. Еще совсем недавно он думал о том, как нелегко будет сообщить Иванову об отстранении от занимаемой должности. Но теперь, слушая этого внутренне сломленного человека, очевидно, потерявшего веру уже не только в себя, но и в возможность отстоять Ленинград, он думал о том, что его надо было освободить от командования не сегодня, а гораздо раньше.

Оборвав Иванова на полуслове, Федюнинский объявил:

— Я назначен командующим армией.

Иванов стоял ошеломленный. Раз или два открыл рот, точно собираясь что-то сказать, но не произнес ни слова. Потом обвел растерянным взглядом членов Военного совета и, снова устремив взгляд на Федюнинского, почти беззвучно спросил:

— А... как же я?

— Вам надлежит немедленно явиться в Смольный, — резко ответил Федюнинский и добавил: — Прошу пригласить сюда начальника штаба армии.

Генерал-майор Ларионов появился через минуту. Еще в дверях, видимо, не узнав стоящего к нему спиной Федюнинского, которому как старшему по должности должен был бы доложить о своем прибытии, он спросил, глядя на Иванова:

— Вызывали, товарищ командующий?

Иванов молчал, сумрачно глядя в каменный пол.

Неловкое молчание нарушил Соловьев.

— Товарищ Ларионов, — произнес он неестественно громко, — к нам прибыл новый командующий армией генерал-майор Федюнинский. Докладывайте ему.

Эти слова застали начальника штаба врасплох. Он недоуменно взглянул на Иванова, но тут же сделал несколько поспешных шагов вперед, резко повернулся лицом к Федюнинскому, вытянулся и доложил:

— Начальник штаба армии Ларионов явился по вашему приказанию.

— Сдайте должность прибывшему со мной генерал-майору Березинскому, — сухо сказал Федюнинский и добавил: — Сегодня к двадцати ноль-ноль. До этого часа лично обеспечьте возврат КП армии в район Пулкова. Ясно? Генерал Березинский! — крикнул он, поворачиваясь к двери, которую Ларионов, войдя, оставил полуоткрытой.

Березинский вошел и остановился напротив Федюнинского.

Несколько секунд Федюнинский глядел прямо в лицо ему, точно заново изучая. Березинский был относительно молод, хотя на висках уже отчетливо пробивалась седина. Из-под полуопущенных век глядели внимательные, спокойные глаза.

— Товарищ Березинский, — чеканя слова, произнес Федюнинский, — с двадцати ноль-ноль вы вступаете в должность начальника штаба армии. Генералу Ларионову приказано немедленно организовать перевод КП обратно в район Пулкова. Действуйте. Прибывших с нами командиров используете в штабе по своему усмотрению. У меня все. Вы свободны.

Хотя командующий обращался к Березинскому, Ларионов понял, что последние слова относились и к нему. Он также сделал уставной поворот и направился к двери.

Когда они вышли, молчавший до сих пор член Военного совета Клементьев неуверенно сказал:

— Товарищ командующий... очевидно... в Смольном приняты еще какие-то решения... Может быть, вы нас информируете...

В это время раздался телефонный звонок. Федюнинский повернулся к столу, на котором стояли два полевых и два городских телефона, стараясь определить, какой именно из аппаратов звонит. Клементьев, поймав его взгляд, снял нужную трубку и протянул ее Федюнинскому.

Тот резким движением взял трубку, прижал ее к уху и сказал:

— Генерал Федюнинский слушает...

— Как, товарищ Федюнинский, приняли командование? — раздался в трубке знакомый голос Жданова.

— Так точно, Андрей Александрович, — ответил Федюнинский, — можно считать, что принял. Несколько минут тому назад.

— Я звоню вам, — сказал Жданов, — чтобы сообщить о только что состоявшемся решении Военного совета фронта: ни при каких условиях не оставлять рубежа Урицк—Кискино—Верхнее Койрово — Пулковские высоты. Вы поняли? Ни при каких условиях без письменного приказа Военного совета фронта не оставлять! — повторил он громче, точно сомневаясь, хорошо ли понял смысл этого решения Федюнинский. — То же самое относится к восточному флангу — к районам Шушар, Московской Славянки и Колпина. Такой же приказ передан и вашему восточному соседу. Вы меня хорошо поняли?

— Так точно, понял, — ответил Федюнинский, — но мне крайне необходимы подкрепления. И очень срочно. Я понимаю, что при создавшихся условиях получить их быстро почти невозможно, но...

— Военный совет принял решение о дополнительных формированиях. Кое-что получите уже к вечеру. Хотите передать что-либо командующему?

— Пока только то, что переношу свой командно-наблюдательный пункт в район Пулковских высот. Повторно доложу оттуда. Используя право,

данное мне Военным советом фронта, произвел замену начальника штаба. У меня все.

Федюнинский попрощался, повесил трубку и, повернувшись к все еще неподвижно стоявшему Иванову, напомнил:

— Товарищ генерал-лейтенант, вас ждут в Смольном.

— Слушаюсь. Еду, — покорно проговорил Иванов и направился к двери.

Не глядя ему вслед, Федюнинский, как бы продолжая начатый разговор, сказал, обращаясь к Клементьеву:

— Информировать могу только об одном. Приказано ни при каких условиях не оставлять рубеж Пулково—Урицк. Возможно, что к вечеру получим кое-какие подкрепления. Это пока все.

— Товарищ командующий, — сказал Клементьев, — несомненно, что каждый из нас будет свято выполнять приказ. Тем не менее я считаю своим долгом предупредить вас, что располагать армейский КП в Пулкове сейчас... по меньшей мере... небезопасно. Во время последних бомбежек мы потеряли там больше двух третей бойцов и командиров, оборонявших район обсерватории. Поэтому...

— Таков приказ, утвержденный командующим фронтом, — прервал его Федюнинский. — И он правилен. Потому что есть другая опасность, во много раз превосходящая ту, о которой вы говорите, — опасность, непосредственно грозящая Ленинграду. И перед ней отступает все остальное!

Глава X

Приближался вечер, когда полковнику Королеву принесли свежие оперативные донесения из армий. Федюнинский докладывал, что северо-западнее Урицка противника удалось остановить. Однако сам Урицк после кровопролитных боев опять в руках немцев. Королев посмотрел на карту: от Урицка до Кировского завода по прямой всего четыре километра!

Федюнинский высказывал предположение, что противник сосредоточивает значительные силы для двойного удара по Кировскому району — с побережья Финского залива и со стороны Урицка.

На юге положение тоже было тревожным: немцы вели непрерывные атаки на Пулковскую высоту с явным намерением одновременно ворваться и в Московский район города.

Федюнинский перечислял меры, предпринятые им, но предупреждал, что положение остается крайне напряженным.

Королев взялся за другое донесение — с Балтфлота. Адмирал Трибуц докладывал, что гарнизоны полуострова Ханко и острова Осмуссар отбивают все попытки противника высадить десант. Прочно удерживают моряки и острова Койвисто, Тиурин-сари и Пий-сари, контролирующие морские подступы к Ленинграду. Артиллерия Балтфлота продолжает вести огонь по сухопутным коммуникациям противника. В то же время немцы систематически обстреливают участок Финского залива между Кронштадтом и Ленинградом, ставя под угрозу связь между ними.

Наиболее благополучным было донесение из 23-й армии. Войска этой армии, взаимодействуя с моряками Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, снова отразили все попытки врага прорвать нашу оборону на Карельском перешейке.

За окнами сгущались сумерки, хотя было еще рано, около шести часов, — день выдался пасмурный.

В черной тарелке репродуктора мерно стучал метроном — Смольнинский район в эти минуты обстрелу не подвергался. Тем не менее отзвуки канонады проникали сквозь стены Смольного: враг обстреливал другие районы города.

Королев пробежал глазами донесение штаба ПВО.

В истекшие сутки вражеская артиллерия вела особенно интенсивный огонь по юго-восточной и южной окраинам города, в результате чего возникло двадцать четыре очага пожаров. По предварительным подсчетам, общее количество жертв в городе за последние двадцать четыре часа составило не менее двухсот человек. В воздушных боях было сбито шесть вражеских самолетов.

Королев опустил шторы на окнах — со стуком упали деревянные планки, потянув за собой плотную синюю светомаскировочную ткань, — зажег настольную лампу и снова склонился над донесениями.

Скрипнула дверь.

— Разрешите?..

Королев поднял голову и увидел на пороге... Звягинцева!

Несколько мгновений Королев, уже почти два месяца не имевший известий от майора и уверенный, что его нет в живых, растерянно смотрел на высокого, худощавого человека в мятой солдатской гимнастерке явно не по росту, со шпалами в петлицах. Потом резко поднялся, с грохотом отодвинув кресло, и бросился навстречу.

— Алешка?! Жив?!.

Он схватил Звягинцева за плечи, притянул к себе...

— Ну, докладывай, черт собачий, откуда взялся, почему вестей о себе не подавал? — взволнованно говорил Королев, ведя Звягинцева к столу.

Он усадил майора в кресло, сам сел в другое, напротив, снова оглядел его с головы до ног, точно еще не веря самому себе, и проговорил:

— Значит, жив... вот здорово! А я в августе два раза со штабом лужской группы связывался, отвечали — переброшен с пехотой на правый фланг, а после Кингисеппа и совсем след потерял... Да что ты молчишь, язык у тебя есть или нет? Давай рассказывай!

— Что ж тут рассказывать, Павел Максимович, — устало улыбаясь, заговорил, наконец, Звягинцев. — С десятого августа по санбатам болтался. Потом в госпиталь... Вчера вечером выписали. Пока до города добрался...

— Эк тебя вырядили, — пробормотал Королев, критически оглядывая Звягинцева, — сразу видать, что из госпиталя... Да постой, — спохватившись, воскликнул он, — значит, ты ранен был?

— В ногу, — нехотя ответил Звягинцев.

— Сильно? — участливо спросил Королев, оглядывая его ноги, обутые в кирзовые с широкими голенищами сапоги.

— Да нет, ерунда... Просто долго не заживало. А так все в норме. — Звягинцев снова улыбнулся и добавил: — Годен к строевой.

— Вот мне как раз и нужны такие, — сразу посерьезнев, сказал Королев. Побарабанил пальцами по краю стола и продолжал решительно: — Вот что, сыпь-ка сейчас в кадры, я с начальством договорюсь, чтобы тебя в штат оперативного зачислили. Вакансия есть, а ты готовый направленец. И войну теперь знаешь не только, как говорится, сверху, из штаба, но и снизу, с передовой.

— Я теперь строевой командир, товарищ полковник, — твердо ответил Звягинцев. — Перед ранением фактически командовал батальоном.

— Что ж, тебе теперь полк или дивизию подавать? — с явным недовольством произнес Королев. — Ты положение под Ленинградом на сегодня знаешь?

— Только по слухам. Хотел просить вас, товарищ полковник, в общих чертах ориентировать.

— Ладно, — угрюмо сказал Королев, встал и направился к карте. — Иди сюда, — бросил он Звягинцеву, не оборачиваясь. — Вот смотри. Со второй недели сентября деремся уже в блокаде. Восьмая армия фактически отрезана на побережье. Стрельна захвачена врагом. Немцы в Слуцке, Красном Селе, Урицке.

— И... на Пулковских высотах? — с волнением спросил Звягинцев.

— Нет. Пулковские держим.

Королев вытащил из брюк пачку «Беломора», протянул ее Звягинцеву, взял папиросу себе, похлопал по карманам в поисках спичек и пошел к письменному столу — коробка со спичками лежала там.

В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в комнату вошел Жуков.

Королев торопливо бросил в пепельницу так и не зажженную папиросу, вытянулся, но едва успел произнести только два слова: «Товарищ командующий...» — как Жуков прервал его:

— Еду к Федюнинскому. Что там у вас нового на последний час?

— Готовлю сводку, товарищ генерал, — поспешно ответил Королев, — вот, если желаете ознакомиться...

Он хотел подать командующему лежащие на столе листки донесений, но Жуков остановил его:

— Нет времени читать. Доложите главное. И покороче.

— Слушаюсь, — снова вытягиваясь, проговорил Королев. — Коренных изменений за последние часы не произошло. Противник пытается захватить Пулковские высоты. Атаки отбиты. Усилился огонь по правому флангу пятой дивизии народного ополчения. Федюнинский считает, что противник готовит удар по Петергофу.

— Что он, с фон Леебом чай пил, что ли? — нахмурился Жуков.

Он стоял в двух шагах от Королева, широкий, большеголовый, расставив короткие ноги в плотно обтягивающих икры сапогах, и, казалось, заполнил собой всю комнату.

— Где Бычевский? — спросил он.

— Насколько мне известно, товарищ командующий, полковник Бычевский еще с вечера отправился в сорок вторую.

— Я хочу знать, готов ли оборонительный рубеж по Окружной дороге?

— Насколько мне известно...

— Меня не интересуют ваши «насколько» и «поскольку»! Я хочу знать, сможет ли дивизия занять ночью эти рубежи?! «Насколько мне известно»!.. А мне известно одно: если не успеем занять оборону по Окружной, то немцы завтра могут ворваться в город! Найдите Бычевского и передайте, чтобы связался со мной немедленно!

Несколько мгновений Жуков прислушивался к доносившимся издалека глухим артиллерийским разрывам.

— По каким районам бьют? — отрывисто спросил он.

— Имею лишь данные за истекшие сутки. — Королев поспешно схватил со стола донесение ПВО, которое читал перед приходом Звягинцева, протянул его Жукову.

Тот взглянул на листок и уже готов был бросить его обратно на стол, но внезапно, видимо, под влиянием какой-то пришедшей ему в голову мысли, снова поднес листок к глазам.

— Так... — задумчиво произнес он и направился к расположенным на квадратном столике телефонам.

— Где у вас прямой со штабом ПВО?

Королев указал на один из аппаратов.

Командующий снял трубку.

— Говорит Жуков. По каким районам бьют?

Несколько секунд молча слушал. Потом сказал:

— Ладно. У меня все.

Положил трубку на рычаг и обернулся к Королеву:

— А ну, дайте еще раз это донесение.

Внимательно перечитал и как бы про себя отметил:

— По Ижорскому и Кировскому бьют... И вчера и сейчас...

Потом поднял голову и проговорил:

— Понял замысел?

— Я думаю... — начал было Королев, но Жуков прервал его:

— Вот и я думаю!.. Ладно. Еще раз напоминаю: пусть Бычевский немедленно со мной свяжется.

Он повернулся к двери и только тут заметил прижавшегося к стене Звягинцева. Смерил его взглядом с ног до головы, хмуро спросил:

— Кто такой?

То, что этот генерал является командующим фронтом, Звягинцев понял из разговора сразу же. «Но как же Ворошилов? Значит, маршал уже не командующий?» — недоуменно думал он.

Лицо генерала показалось Звягинцеву знакомым, хотя он никак не мог вспомнить, где и когда видел его.

Резкий вопрос командующего привел Звягинцева в замешательство. Выручил Королев — доложил за него:

— Майор Звягинцев из нашего инженерного управления...

— А чего здесь болтается, раз инженер? — прервал его Жуков.

— Товарищ командующий! — обретя вдруг дар речи, громко и даже с вызовом проговорил вытянувшийся в положении «смирно» Звягинцев. — Я болтаться привычки не имею. Выполнял боевое задание на Лужской линии. Получил ранение. До выезда на фронт был прикомандирован к оперативному отделу. Поэтому из госпиталя явился сюда.

Королев слушал Звягинцева и в душе клял его на чем свет стоит. Уверенный, что сейчас разразится буря, он из-за спины Жукова делал отчаянные знаки. Но вопреки его опасениям Жуков переспросил почти добродушно:

— Из госпиталя?.. То-то они тебя вырядили, как чучело огородное. Куда угодило?

— В ногу.

— Осколочное, что ли?

— Так точно.

Уловив явную перемену в тоне командующего, Королев сказал:

— Вот, товарищ командующий, не хочет в штабе работать, опять в строй просится!

— А ну, пройди по комнате! — приказал Жуков Звягинцеву.

Звягинцев сделал несколько шагов, слегка припадая на левую ногу.

— Шкандыбаешь, — усмехнулся Жуков и обернулся к Королеву: — Пошлете его на Кировский завод. Ясно?

— Так точно! — поспешно ответил Королев.

— Товарищ командующий! — чувствуя, как загорелось от обиды лицо, воскликнул Звягинцев. — Разрешите обратиться. При чем тут завод? Я прошу... настаиваю, чтобы меня послали на фронт. Я знаю, в частях большая убыль командного состава... Я...

— Отставить! — оборвал его Жуков. — «Я знаю!..» А то, что в районе Кировского из пулеметов стреляют, это ты знаешь? А что от Кировского до площади Урицкого танку полчаса ходу, ты знаешь?!

Он пошел к двери и уже от порога бросил:

— Сегодня же направить на Кировский!

Некоторое время в комнате царило молчание, нарушаемое лишь мерным стуком метронома.

Наконец Королев заговорил:

— Я думаю, ты все понял. Это новый командующий фронтом генерал армии Жуков.

«Жуков! — вспомнил Звягинцев. — Ну, конечно же, я видел его тогда в Кремле, на совещании...»

— А где же маршал? — спросил он.

— Отозван в распоряжение Ставки.

— Павел Максимович, ты прости меня, — взволнованно проговорил Звягинцев, — понимаю, не мое дело обсуждать... Но скажи откровенно... Что же, он... лучше Ворошилова?

Королев медленно прошелся по комнате. Остановился напротив Звягинцева.

— Знаешь, Алексей, хотя действия старших начальников никогда с подчиненными не обсуждаю, но на этот раз... сделаю исключение. Сядь.

Он подождал, пока Звягинцев сядет у стола, сам сел напротив и продолжал задумчиво, как бы размышляя вслух:

— Понимаешь, сам уяснить хочу. Тут такое дело случилось. В первый же день, как он приехал, попался я ему под горячую руку. Подробно рассказывать нет времени. Словом, думал, разжалует, рядовым на фронт пошлет — у него это запросто.

— Но разве у него есть право? — недоуменно начал было Звягинцев...

— Обстановка дает право, Алексей! — прервал его Королев. — Враг под Ленинградом стоит, погнать его вспять пока не удается. Наоборот, сами ежечасно под угрозой вторжения живем. И вместе с тем есть перемены при новом командующем, есть, — продолжал Королев, и чувствовалось, что он хочет и себе ответить на вопрос, над которым в горячке дел ему некогда было задуматься. — Перемены эти прежде всего в том, что Жуков потребовал изменить тактику. Раньше, что греха таить, закопаемся в землю, и если немец молчит, мы и рады. Немец в атаку, мы — «стоять насмерть, ни шагу назад». А теперь иначе. Немец лезет — защищайся. Затих, перестал атаковать — не жди, не радуйся передышке, атакуй сам. Это не только новая тактика. Это... иная психология, если хочешь знать! Вот чего требует новый командующий. Хочешь сказать — груб? Согласен, резок, иной раз жесток даже. Но...

Королев задумался, стараясь точнее сформулировать свою мысль, взял папиросу, затянулся и продолжал:

— Утверждать, что новый командующий все, так сказать, с ног на голову поставил, словом, все отменил и какой-то новый сверхплан предложил, не могу. В общем-целом он действует в том же направ-

лении, что и старый. Приказы прежние не отменял, хотя, разумеется, и много новых отдал. Это, так сказать, с одной стороны... А с другой — есть новое! Что именно, спросишь? Отвечу так: точность, категоричность, последовательность. Никаких тебе дискуссий, никаких накачек. Не выполнишь приказ — худо будет.

— И тем не менее он сам сказал, что немцы могут ворваться в город.

— Да. Они вышли к окраинам, — внезапно упавшим голосом сказал Королев.

— Послушай, Павел Максимович, — наклоняясь к Королеву, тихо заговорил Звягинцев, — мы с тобой военные люди. И оба коммунисты. Положение под Ленинградом катастрофическое, так?

— Так... — почти беззвучно ответил Королев.

— Теперь скажи мне искренне — ты знаешь, я не трус и, пока дышу, с врагом буду драться... И все же скажи: есть надежда?

Королев резко выпрямился, как от удара.

— Ты... ты что это такое спрашиваешь?! — сквозь зубы процедил он.

— Я видел карту, Павел Максимович...

— А-эх, ты карту видел?! — с бешенством повторил Королев. — Да как же можно только по карте судить! — Лицо Королева покраснело, жилы на висках надулись. — Навалялся по санбатам да госпиталям, — крикнул он, — боевого духа армии не знаешь! — Он вскочил, сделал несколько быстрых шагов взад и вперед по кабинету и уже спокойно, однако с усмешкой сказал: — Противоречие в моих словах имеется вроде? С одной стороны, положение — на волоске. а с другой — вера и надежда? Да, с точки зрения формальной логики, может быть, и противоречие! Но по этой паршивой логике фриц уже давно и в Москве и в Ленинграде быть бы должен. А его там нет! И не будет! Пусть после победы историки разбираются, как, что и почему.

Королев умолк, потом взглянул на часы и растерянно сказал:

— Что же мы, черт возьми, делаем?! Двадцать минут прошло с тех пор, как командующий приказал... Слушай, Алексей, тебе надо немедленно отбывать на Кировский...

Королев решительно поднялся.

— Павел Максимович, — тоже вставая, сказал Звягинцев, — разреши только два слова. Знаю, ты можешь накричать на меня, выгнать. Понимаю, сам командующий приказал... Но ручаюсь, он забыл обо мне, как только вышел из этой комнаты. Прошу тебя, как друга, как старшего товарища: пошли меня в действующую часть. Ладно, согласен, командовать еще не могу, хромаю, нога проклятая... Но пошли хотя бы дивизионным инженером. Или полковым. Не доверишь — снова в саперный батальон пошли. Прошу тебя, ради дружбы нашей сделай это!

— Отставить! — резко произнес Королев. И потом, уже мягче сказал: — Не только в том дело, Алексей, что командующий приказал. Дело в том, что он прав. Иди сюда!

И Королев направился к длинному столу, на котором были разложены карты. Он отыскал нужную и сказал Звягинцеву:

— Гляди. Вот район Кировского. А вот здесь уже немцы. Масштаб видишь? Кировский не просто завод, а главный наш танковый арсенал. На другие фронты танки отправляем по Ладоге! Понял? Немцы вторые сутки беспрестанно бьют по Кировскому и по Ижорскому. Ижорский танковую броню поставляет для Кировского. Значит, у немцев замысел вывести эти заводы из строя. Понял, что к чему? Но это еще не все. Кировский завод не только наш арсенал, но и важнейший узел обороны. По крайней мере, должен быть таким. Нужно осмотреть, проверить все тамошние оборонные сооружения, помочь построить дополнительные. И сделать это должен именно ты. У тебя опыт не только инженера, но и общевойскового командира! Будешь представлять штаб фронта, понял? Теперь слушай: отсюда пойдешь в инженерное управление. Скажешь, что получил приказ от меня. И на командующего тоже можешь сослаться. Потом в кадры зайдешь. Впрочем, я сейчас позвоню...

Звягинцев молча стоял у стола.

— Давай, Алексей, действуй, — уже сердито заторопил его Королев.

— Слушаюсь, — ответил Звягинцев и сделал уставный поворот.

— Стой! — внезапно сказал Королев. — Говори как на духу: долечился или удрал из госпиталя?

— Товарищ полковник...

— Ладно. Выяснять не буду. Не то время. Всё. Иди оформляй документы.

Звягинцев направился к двери.

Королев угадал: майор уговорил врача выписать его из госпиталя досрочно, заверив, что будет работать в штабе, далеко от передовой. Сейчас он пытался идти твердой походкой, с отчаянием сознавая, что припадает на левую ногу...

Звягинцев уже взялся за ручку двери, когда Королев снова окликнул его:

— Подожди!

Звягинцев застыл в страхе, что сейчас будет отменено и это назначение и вместо Кировского завода придется идти на медицинское переосвидетельствование.

Но Королев, подойдя к нему, спросил, смущенно покрутив в пальцах папиросу:

— Послушай, Алексей... Я ведь тот наш последний разговор помню. Она... Вера-то... вернулась ведь в Ленинград, выбралась! Видел ее?

Звягинцев ожидал всего, чего угодно, но не разговора о Вере. И теперь едва сдержался, чтобы не спросить, где теперь Вера, как ее здоровье, вспоминала ли она хоть раз о нем... Но заставил себя промолчать. «Нет, нет, нет! — мысленно приказывал себе Звягинцев. — С этим все кончено». Те же слова он

молча твердил, беспомощно лежа на носилках там, в лесу... Он понял тогда, что радость Веры от встречи с ним не шла ни в какое сравнение с той радостью, с тем счастьем, которое отразилось на ее лице при вести, что Анатолий жив и находится в Ленинграде. Тогда Звягинцев в первый раз сказал себе: «Нет. С этим кончено». И эти же слова он мысленно повторил сейчас.

— Я из госпиталя направился прямо сюда, — сухо ответил он Королеву. — Была попутная машина. Даже к себе на квартиру не заходил.

Королев несколько удивленно взглянул на него.

— Вот оно как!.. Ладно. Ты прав. Для личных дел сейчас времени нет. Ну, бывай! — Он переложил папиросу в левую руку, а правую протянул Звягинцеву.

Прихрамывая, Звягинцев медленно шел по гулким коридорам Смольного.

«Кировский завод — узел обороны!..— с горечью думал он. — Кто же будет оборонять его? Ведь немцы проникнут туда в том случае, если фронт, который держит сейчас сорок вторая армия, будет прорван! Кто же тогда сможет остановить их у Кировского? Отступающие войска? Или сами рабочие? Но, наверно, те из них, кто в состоянии держать оружие в руках, давно ушли в ополчение. Даже старик Королев где-то на фронте...»

Подумав об Иване Максимовиче Королеве, которого последний раз он видел в ополченской дивизии на Лужской оборонительной линии, Звягинцев мгновенно вспомнил двух других людей, с которыми разлучила его судьба: Суровцева и Пастухова.

Лежа на госпитальной койке, он не раз вспоминал о них, расспрашивал каждого нового раненого, не встречал ли кто случаем командиров с такими фамилиями...

Знай Звягинцев, где они сейчас, он уговорил бы Королева послать их как специалистов-саперов вместе с ним на Кировский. Впрочем, что об этом думать! Живы ли они?..

В ушах Звягинцева еще звучало эхо боев на Луге.

Оказавшись в санбате, а потом в госпитале, он, раньше столь хорошо осведомленный о положении дел на фронте, теперь был вынужден черпать информацию лишь из газет, радиопередач и сбивчивых, часто противоречивых рассказов раненых — соседей по палате.

И, входя в кабинет полковника Королева, он еще не подозревал,что кратчайший путь к фронту пролегает по улице Стачек и что седьмая от Кировского завода трамвайная остановка находится уже на территории, занятой врагами.

То, что Звягинцев услышал от Жукова и Королева, потрясло его.

На карте он ясно увидел, что район Кировского завода действительно стал фронтовым.

И тем не менее не мог себе этого реально представить.

В памяти Звягинцева и Нарвская застава и улица Стачек оставались такими, какими он видел их в конце июня. Тогда этот рабочий район Ленинграда выглядел мирным и оживленным, хотя из ворот Кировского завода выползали танки, окна домов, как и повсюду в городе, были заклеены крест-накрест узкими полосками бумаги, а на площадях и в скверах люди рыли траншеи-укрытия на случай воздушных налетов.

Но тротуары, как и в мирные дни, были заполнены спешившими по своим делам людьми, позвякивали трамваи, на стендах Дома культуры висели объявления о предстоящих лекциях и концертах.

Да и сам Кировский завод-гигант привычно воспринимался прежде всего как глубоко мирное предприятие, хотя в силу своего служебного положения Звягинцев знал, что еще накануне войны завод начал перестраиваться на выпуск продукции оборонной — тяжелых танков КВ и артиллерийских орудий.

И вот теперь, после всего того, что он слышал в кабинете Королева, Звягинцев старался представить себе, что же происходит на Кировском заводе и в его окрестностях.

В коридоре Звягинцеву встретился бывший сослуживец по штабу фронта. Он спешил, но остановился, спросил, где майор был, куда ранен.

Тот отвечал неохотно, односложно, словно чувствуя за собой вину за то, что почти месяц провалялся в госпитале.

Звягинцев пошел в Управление инженерных войск. Там ему сказали, что звонил Королев и передал приказание командующего фронтом.

В Управлении кадров тоже знали, куда и зачем надлежит ему отправиться, — командировочное предписание было отпечатано и передано на подпись начальнику штаба.

Звягинцев посмотрел на часы — стрелки показывали десять минут восьмого. Он вспомнил, что с утра ничего не ел.

И хотя есть Звягинцеву не хотелось, он решил спуститься в штабную столовую, чтобы хоть немного перекусить. Продовольственный аттестат лежал у него в кармане, но становиться на учет в АХО штаба фронта уже не было смысла.

В этот неурочный час в столовой было пусто. Звягинцев сел за столик. Подошла официантка и вопросительно посмотрела на него:

— Талон на ужин, товарищ майор.

Звягинцев растерянно ответил, что талонов у него нет. Официантка, пожав плечами, сказала, что без талонов кормить не имеет права.

В это время мимо проходила другая официантка, знакомая Звягинцеву еще с довоенных времен. Звягинцев подозвал ее, и она объяснила, что порядки в столовой изменились, потому что карточные нормы в городе сильно урезаны. Без талонов теперь разрешается отпускать только чай без сахара.

— Что ж, — покорно сказал Звягинцев, — значит, придется попоститься.

Он встал и направился к выходу.

— Вы, никак, ногу зашибли, товарищ майор, — сказала ему вслед официантка. — Ой, да вы, наверно, ранены?..

Она заставила Звягинцева снова сесть, куда-то убежала и, вернувшись, победно сообщила, что начальник столовой разрешил в порядке исключения накормить раненого майора за наличный расчет.

«Вот я и начинаю извлекать выгоды из своего ранения, — с невеселой усмешкой подумал Звягинцев. — В строй не пускают, зато как инвалида без талонов кормят...»

Он проглотил несколько ложек супа, с трудом разжевал кусочек сухого, жилистого мяса, поблагодарил официантку и снова пошел в Управление кадров.

Его командировочное предписание было уже оформлено. Вручая Звягинцеву документ, работник Управления кадров посоветовал выяснить, когда в район Кировского завода пойдет какая-нибудь машина.

Звягинцев посмотрел на часы. Было восемь вечера. «Может, все-таки заскочить домой? — подумал он, но тут же сказал себе: — Зачем?»

И в самом деле, зачем ему было ехать в пустую холостяцкую комнату, куда он не заглядывал с тех пор, как получил приказ выступить с батальоном на Лужскую линию?

«Не поеду», — решил Звягинцев и направился в диспетчерскую.

Штабная «эмка», к ветровому стеклу которой были прикреплены с внутренней стороны несколько пропусков — на передвижение после комендантского часа, на проезд во время обстрела и воздушной тревоги, на выезд в прифронтовую полосу, — мчалась по затемненному городу к Нарвской заставе, и водитель лишь время от времени освещал путь короткими вспышками окрашенных в синий цвет фар.

Положив свой чемоданчик и шинель рядом с водителем и расположившись на заднем сиденье — там удобнее вытянуть больную ногу, — Звягинцев то и дело поворачивал голову, стараясь разглядеть улицы, по которым они проезжали.

Шел только одиннадцатый час, но улицы были совершенно пустынны. Да и громады домов с черными, затемненными изнутри окнами казались нежилыми.

Призрачный свет фар на мгновение выхватывал из темноты прилепившиеся к угловым домам, похожие на огромные утюги доты, нагромождения мешков с песком, прикрывающие витрины магазинов, и снова все погружалось в сумрак.

Звягинцев почувствовал, что его охватывает тревожное волнение. «Что это со мной?» — подумал он и попытался объяснить свое состояние тем, что через какие-нибудь десять — пятнадцать минут ему предстояло прибыть к месту нового назначения.

Но Звягинцев обманывал себя и знал, что обманывает. Просто машина ехала теперь по улице, где жила Вера.

Он опять сказал себе: «Нет, нет, нет!» — но чувствовал, что какая-то непреодолимая сила заставляет его прильнуть лицом к стеклу кабины.

Машина поравнялась с Вериным домом. В темноте он увидел лишь смутные его очертания. Как и соседние здания, дом казался брошенным людьми, нежилым. Ни одного луча света не пробивалось из мертвых окон.

Звягинцев мысленно представил себе знакомый подъезд, лестницу, дверь на втором этаже, ярко освещенную комнату, в которой увидел себя, Анатолия, Веру... Воспоминания властно овладели им.

Машина уже давно миновала Верин дом, а Звягинцев все не мог заставить себя не думать о прошлом. «Нет, нет, нет!» — убеждал он себя, боясь, что сейчас прикажет шоферу повернуть назад.

Внезапно Звягинцев почувствовал толчок. Машина, скрипнув тормозами, резко остановилась.

— Все, товарищ майор, приехали — улица Стачек! — сказал, оборачиваясь к Звягинцеву, водитель. — Мне теперь налево сворачивать нужно, а вам, если на завод, то прямо.

— Спасибо, — сказал Звягинцев, берясь за ручку двери.

— Вещички ваши... — Шофер протянул ему дерматиновый чемоданчик и видавшую виды, прожженную в нескольких местах шинель.

Звягинцев взял вещи, вышел из машины и шагнул в темноту.

— Прямо, прямо идите! — крикнул ему вслед шофер.

Звягинцев стоял в темноте, пытаясь сориентироваться. Теперь он слышал далекую перестрелку и глухие артиллерийские разрывы.

Но это не удивило Звягинцева — он уже знал, что линия фронта проходит недалеко отсюда и что немцы систематически обстреливают Кировский и Ижорский заводы.

Поразило другое: здесь почему-то было гораздо темнее, чем на других улицах города. Он взглянул на небо в надежде увидеть звезды, но не увидел не только звезд, а и самого неба. Ему казалось, что он находится в каком-то странном туннеле.

Прошло несколько минут, пока Звягинцев догадался, что улицу прикрывает сплошная маскировочная сеть. Потом привыкшие к темноте глаза различили расположенные по обе стороны тихие и, казалось, вымершие дома.

Звягинцев не мог понять, где он находится, хотя хорошо знал этот район, не раз бывал здесь до войны. Он мучительно старался вспомнить, как же выглядели эти места раньше, чтобы сориентироваться и определить, где расположен завод.

Ругая себя за то, что не захватил электрического фонарика, он неуверенно продвигался по узкому проходу между противотанковыми заграждениями.

Новый, незнакомый грозный мир окружал его.

«Но где же все-таки завод?» — думал Звягинцев, напряженно вглядываясь в темноту.

Он сделал еще несколько десятков шагов и увидел впереди какое-то сооружение, похожее на заводской забор. Однако, подойдя ближе, Звягинцев понял, что это не забор, а перегораживающая улицу баррикада. В центре баррикады стоял трамвай. Окна его были завалены изнутри мешками с песком, по обе стороны вагона тянулись высокие завалы, нагромождения из таких же мешков, бетонных плит, обломков рельсов, металлических балок...

Звягинцев свернул в сторону, отыскивая проход в баррикаде. Внезапно в глаза ему ударил луч фонарика и раздался резкий окрик: «Стой! Кто идет?»

В первое мгновение ошеломленный, Звягинцев тут же почувствовал облегчение оттого, что он здесь не один.

— Майор Звягинцев из штаба фронта, — ответил он.

— Попрошу документы, товарищ майор! — проговорил кто-то, невидимый в темноте.

Послышались шаги приближающихся людей.

Теперь перед Звягинцевым стояли трое военных. Ближайший к нему был в плащ-палатке и в металлической каске, силуэты двух других, остановившихся поодаль, едва угадывались.

Поставив свой чемоданчик на землю и бросив на него шинель, Звягинцев расстегнул нагрудный карман гимнастерки и вынул служебное удостоверение, в которое было вложено командировочное предписание.

— Игнатьев, посвети! — приказал военный в каске.

Один из бойцов подошел, поднял полу шинели и, прикрывая ею фонарик, включил свет.

Нагнувшись к свету, тот, что был в каске, внимательно прочитал документы Звягинцева, аккуратно вложил предписание обратно в книжечку, протянул ее Звягинцеву и представился:

— Начальник заставы лейтенант Чумаков.

— Что, далеко тут до фронта? — спросил Звягинцев.

— До фронта? — с обидой в голосе переспросил Чумаков. — А тут и есть фронт, товарищ майор.

Звягинцев понимал, что лейтенант несколько преувеличивает, что фронт проходит впереди, а тут подготовленные на случай уличных боев укрепленные рубежи. Но в общем-то обстановка здесь действительно мало отличалась от фронтовой.

— Помогите, товарищи, добраться до Кировского, — попросил Звягинцев. — С начала войны в этих местах не был. В темноте ничего не разглядеть.

— Так и задумано, товарищ майор, — удовлетворенно ответил лейтенант. — У нас тут со светомаскировкой дело строго поставлено.

Обернулся и сказал:

— Игнатьев! Проводишь представителя штаба до второй заставы. Счастливого пути, товарищ майор. Поосторожнее идите, — добавил лейтенант уже менее официально, — он тут тяжелые кидает...

— За мной идите, товарищ майор, — деловито сказал боец, которого лейтенант назвал Игнатьевым.

Некоторое время они шли молча. Звягинцев думал о том, что если после прорыва немцев у Кингисеппа в газетах и по радио зазвучали слова: «Враг у стен Ленинграда», — то теперь враг на пороге города, на самом его пороге!..

— Кто на баррикадах, товарищ Игнатьев? — спросил Звягинцев идущего в двух шагах впереди связного. — Бойцы?

— Пока только боевое охранение. Ну... посты. Будет команда — рабочие в течение часа займут все позиции. А пока только посты. Большей частью из коммунистов и комсомольцев.

— А сам-то коммунист? — поинтересовался Звягинцев.

— Позавчера в кандидаты вступил. Прямо тут, на заставе, бюро заседало. Выходит, теперь партийный.

— Поздравляю, — сказал Звягинцев и, помолчав, спросил: — До завода-то еще далеко шагать?

— До завода? — переспросил тот, не замедляя шага. — Да еще километра с полтора будет. Сначала до второй заставы дойдем, а там уж вам до проходной другого провожатого дадут.

В этот момент где-то впереди с грохотом разорвался снаряд.

Звягинцев инстинктивно пригнулся, но тут же выпрямился, радуясь, что шагающий впереди боец не заметил его испуга.

— Опять по заводу начал бить, язви его душу! — донесся до Звягинцева голос Игнатьева. — Теперь часа на два заладит.

— И что, прямые попадания были? — спросил, нагоняя его, Звягинцев и тут же подумал, что вопрос его нелеп.

— Спрашиваете, товарищ майор! — отозвался Игнатьев. — Считай, ни одного корпуса нетронутого не осталось...

Снова там, впереди, раздался грохот разрыва. Откуда-то из темноты прозвучал голос радиодиктора.

— Граждане, район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение по улицам прекратить! Населению укрыться!..

Быстро застучал метроном.

— «Населению...» — с горечью повторил Игнатьев. — Да тут и населения-то никакого почти не осталось! Кировцы давно уже на казарменном живут... Вы что же, товарищ майор, не бывали разве в наших местах?

— Вы же слышали, я говорил лейтенанту, что не был тут с конца июня, — с некоторым раздражением ответил Звягинцев: ему показалось, что боец

принимает его за необстрелянного тылового командира. Но тут же, поняв неуместность своей обиды, добавил: — Я и в Ленинграде-то полтора месяца не был. На Луге воевал, потом в госпитале провалялся.

— В ногу? — понимающе спросил Игнатьев.

— В ногу.

— А я-то чуть не бегу. Вам небось тяжело за мной поспевать?

Игнатьев пошел медленнее.

Снова один за другим прогремели разрывы, сопровождающиеся грохотом обвалов и каким-то скрежетом, точно в массу металла с силой вошло гигантское сверло. Маскировочная сеть над улицей стала медленно розоветь: очевидно, неподалеку вспыхнул пожар.

Игнатьев остановился.

— Может, переждем обстрел, товарищ майор? — неуверенно спросил он Звягинцева. — Сюда осколки запросто долететь могут. Попадет мне, если я вас целым до следующей заставы не доведу.

— Ничего, я уже осколком отмеченный, — усмехнулся Звягинцев. — Пошли.

Их окликнули: очередная проверка документов. На этот раз проверяющие были в гражданской одежде: один — в стеганке, другой — в доходящей до колен брезентовой куртке. Оба с винтовками в руках.

— Теперь уже скоро вторая застава будет, — сказал Игнатьев. — Еще метров тридцать — и застава... Можно спросить вас, товарищ майор? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Вы вот из штаба фронта будете. Как полагаете, удастся нам остановить здесь немца?

Именно об этом думал и сам Звягинцев, идя за Игнатьевым.

— Надо остановить, — угрюмо ответил он и добавил: — Иначе Ленинграду конец.

Последние слова вырвались у Звягинцева помимо воли. «Черт знает что говорю! — со злобой на самого себя подумал он. — Панику сею».

— Ну, этого-то быть не может, товарищ майор, — спокойно и убежденно ответил Игнатьев, — чтобы Ленинграду конец.

— Вот и я считаю, что не может этого быть! — твердо сказал Звягинцев. — Значит, мы обязаны здесь немца задержать. Чего бы нам это ни стоило.

Из темноты снова раздался командный оклик.

Звягинцев остановился.

Игнатьев сделал несколько шагов в сторону и стал докладывать кому-то, невидимому в темноте, что по приказанию начальника первой заставы сопровождает майора.

Кто-то приказал:

— Товарищ Ратницкий, доведите майора до проходной!

Через мгновение Игнатьев возник из темноты и, поднеся руку к пилотке, спросил:

— Разрешите возвратиться, товарищ майор?

— Можете идти, товарищ Игнатьев, — сказал Звягинцев. — Спасибо.

Он испытывал чувство симпатии к этому спокойному, уверенному бойцу.

К Звягинцеву подошел человек в гражданской одежде, с винтовкой на ремне.

— Ратницкий, — представился он. — За мной идите, товарищ майор.

«Наверное, из рабочих-ополченцев», — подумал Звягинцев. Он не успел даже разглядеть очередного провожатого.

Ратницкий быстро зашагал вперед. Звягинцев, прихрамывая, едва поспевал за ним.

— Не беги так. Далеко еще идти-то? — спросил он.

— Дальность — понятие относительное, — ответил, не оборачиваясь, Ратницкий. — В абсолютных цифрах метров четыреста. На трамвае — одна остановка. Но сейчас ситуация, как видите, изменилась, и трамваи здесь не ходят.

Звягинцев смутился. Он обратился к сопровождающему таким тоном, каким командир обычно обращается к рядовому бойцу, но уже по первым словам этого Ратницкого понял, что ошибся.

— Простите, — сказал Звягинцев, — вы, что же, несете службу в ополчении?

— Нет, в ополчение не взяли, — отозвался Ратницкий, — есть такое малопочтенное в военных условиях понятие: «броня». Работаю на заводе.

Звягинцев хотел спросить, кем именно тот работает, но где-то снова загрохотали разрывы. Теперь они звучали глухо, точно гром проходящей стороной грозы.

— Это, по-видимому, у немцев... — полувопросительно произнес Звягинцев.

— Совершенно верно, — сказал Ратницкий. — Это ведет огонь наша морская дальнобойная артиллерия. Корабли Балтфлота. Мы уже привыкли. Как только немцы начинают обстреливать район завода или вообще город, корабли открывают огонь на подавление. Впрочем, извините. Вы все это, конечно, знаете лучше меня.

Звягинцев промолчал, потому что как раз этого-то он не знал.

Сверху донеслось подвывающее гудение мотора.

— Летает... — тихо, точно про себя, заметил Ратницкий.

На этот раз Звягинцев не нуждался в пояснениях. Вражеские самолеты он отличал на слух.

— Рама, — сказал он.

Где-то там, в высоте, разорвалась ракета, и свет ее на несколько мгновений рассеял темноту. Звягинцев отчетливо увидел маскировочную сеть над головой, надолбы, баррикады и сторожевые вышки — все это на какое-то время приобрело осязаемую реальность...

До того как ракета погасла и все снова погрузилось во тьму, Звягинцев успел заметить, что в нескольких метрах от них начинается высокий забор, огораживающий территорию Кировского завода.

Глава XI

Еще шестого сентября Риббентроп объявил на пресс-конференции в Берлине, что окруженный Петербург (только так называли Ленинград в гитлеровской ставке) падет если не в ближайшие часы, то завтра или послезавтра. Но прошел день, второй и третий, прошла неделя, потянулась другая, а Ленинград по-прежнему оставался советским.

Всего десять с небольшим километров отделяли передовые части фон Лееба от Дворцовой площади, на которой по замыслу Гитлера должен был состояться парад победителей. Миллионы людей во всем мире знали по немецким военным сводкам, что корпус Рейнгардта уже на окраинах города. Каждое утро, включая свои приемники, они ожидали услышать сообщение, что знаменитый город на Неве пал.

Но Ленинград оставался советским, хотя враг стоял на его пороге.

И миллионам людей за рубежом казалось необъяснимым, почему солдатам фюрера не удается перешагнуть этот порог. Они не знали, что блокированный Ленинград, подвергаемый почти непрерывным обстрелам и бомбежкам, тем не менее оказывал столь жестокий отпор врагу, что немцы были не в состоянии сломить это сопротивление.

Однако ни офицеры, ни генералы, командовавшие десятками тысяч солдат, рвущихся к Ленинграду, еще не осознавали этого. Опьяненные близостью цели, они были уверены, что лишь решающее усилие отделяет их от победы, что с часу на час защитники города, истощив все свои материальные и духовные силы, выкинут белый флаг.

Но сам фон Лееб и высшие командиры его штаба знали другую, так сказать, оборотную сторону сложившейся под Ленинградом ситуации. Им было хорошо известно, что, получив сообщение о блокировании Ленинграда, Гитлер, уверенный в том, что город будет взят в ближайшие три-четыре дня, приказал фон Леебу не позднее 15 сентября передать 41-й корпус Рейнгардта и часть авиации в распоряжение командующего группой армий «Центр» фельдмаршала фон Бока.

Об этом начиная с шестого сентября каждый день угрожающе напоминал фон Леебу настольный перекидной календарь.

И чем ближе становилась роковая дата, тем сильнее охватывало шестидесятипятилетнего фельдмаршала чувство тревоги.

Нет, он не сомневался в том, что Петербург обречен. Разве войскам Кюхлера не удалось прорваться на побережье Финского залива? Разве полк, которым командовал Данвиц, не вышел на городскую трамвайную линию? Разве не прорвана советская оборона севернее Красного Села, не взят Урицк, расположенный в тринадцати с половиной километрах от Петербурга?

Ежедневно посылал фон Лееб донесения в Растенбургскую ставку, сообщая, сколько километров на данный час отделяют его войска уже не от Петербурга вообще, а от Кировского завода, от Дворцовой площади, от Смольного.

Но каждый раз, когда фон Лееб бросал взгляд на календарь, а затем на огромную карту, висевшую на стене в его кабинете, карту, отражавшую положение немецких войск не только под Ленинградом, а и на всем необъятном Восточном фронте, он не мог не думать о том, что же будет, если, несмотря ни на что, Петербург не удастся захватить до 15 сентября.

Опытный военачальник, фон Лееб понимал, что не каприз, не сумасбродная воля, но железная необходимость заставила Гитлера назначить дату начала переброски части сил с севера на Московское направление.

Фельдмаршал сознавал, что ожесточенное сопротивление советских войск на северо-востоке, сковавшее там значительную часть немецкой армии, лишало Гитлера возможности сконцентрировать силы для броска на Москву. Более того, эта столь непредвиденная задержка, несомненно, дала возможность Сталину подтянуть для обороны столицы дополнительные резервы из глубин страны и сформировать новые соединения.

Но теперь наступал поистине крайний срок. Потому что дальнейшее промедление заставило бы фон Бока вести боевые действия в условиях осенней распутицы, в преддверии страшной русской зимы.

Поэтому хотя фон Лееб не сомневался в том, что из штаба 41-го корпуса вот-вот поступит желанное сообщение о прорыве к Кировскому заводу, что не сегодня-завтра будут захвачены Пулковские высоты и под прикрытием установленных там орудий части 18-й армии ворвутся на Международный проспект, перед ним все чаще и чаще вставал роковой вопрос: что будет, если Петербург не падет до 15 сентября?..

Штаб фон Лееба по-прежнему размещался в Пскове. Теперь этот город стал глубоким тылом. Жителей в Пскове осталось мало, и если не было бомбежек советской авиации, то лишь тарахтение мотоциклов и гудки штабных машин нарушали тишину почти безлюдных улиц.

Первое время после того, как фон Лееб переехал сюда со своим штабом из Восточной Пруссии, он любил стоять у окна, глядя на реку Великую, на развалины кремля и стараясь представить себе, как выглядит другая река, и тот, другой Кремль, московский, являющийся центром большевистского государства.

Достопримечательности Пскова — Поганкины Палаты, древний Ивановский монастырь — его не интересовали, тем более что все эти сооружения порядком пострадали от артиллерии и бомбежек.

В еще меньшей степени занимала фон Лееба ис-

тория этого древнейшего русского города, кроме, пожалуй, одного факта: фельдмаршалу доложили, что именно здесь почти четверть века назад отрекся от престола последний русский царь.

Это показалось фон Леебу символичным: большевистская революция здесь, в Пскове, лишила царя его петербургского трона, а теперь ему, фон Леебу, предстоит задушить революцию там, где она родилась, — в Петербурге.

Разумеется, судьба бывшего царя — противника кайзера в последней войне — его мало трогала. Вообще все русское, все, связанное с Россией, было чуждо этому высокомерному прусскому генералу, чуждо и враждебно.

Однако он был тщеславен и понимал, что если через полвека линия Мажино, за которую Гитлер наградил его Рыцарским крестом, будет в лучшем случае упоминаться лишь в военных учебниках, то слава немецкого генерала — покорителя Петербурга переживет века.

Но фон Лееб отдавал себе отчет и в том, что, как это ни парадоксально, он никогда еще так не рисковал всем своим будущим, как именно теперь, стоя на пороге славы.

И вот роковое число наступило.

Пятнадцатого сентября фельдмаршал сидел у себя в кабинете, погруженный в тревожные размышления. Перед ним лежала не победная сводка Кюхлера, а перевод статьи какого-то подлого английского журналиста, опубликованной в стокгольмской газете. Прислал его фон Леебу начальник генерального штаба Гальдер, с которым до войны фельдмаршала связывало многое такое, о чем теперь не хотелось вспоминать... Прислал без всяких комментариев, только подчеркнув красным карандашом несколько строк:

«Генерал фон Лееб имел приказ захватить Ленинград быстро и любой ценой. Он, несомненно, выполняет вторую половину этого приказа, оплачивая ужасную стоимость, но русские по-прежнему уверенно доказывают слабость генерала в выполнении первой части приказа».

Фон Лееб хорошо понимал, что означает этот услужливо посланный ему Гальдером перевод.

Два дня тому назад, сознавая, что к пятнадцатому ему Петербургом не овладеть, фон Лееб решился на то, на что никогда не пошел бы при иных обстоятельствах. Он послал в генштаб радиограмму с просьбой разрешить задержать исполнение приказа ставки о переброске части войск в группу армий «Центр» хотя бы еще на четыре-пять дней, гарантируя, что за это время Петербург будет взят. Одновременно он отправил Гальдеру самолетом личное письмо, в котором умолял поддержать его просьбу.

Согласие было получено. Фон Леебу предоставлялось еще четыре дня.

«От этих четырех дней, — приписал к официальному тексту Гальдер, — зависит судьба многого и многих». Это звучало угрожающе и не нуждалось в расшифровке. О «многих» фон Лееб обычно не заботился. Но на этот раз в их число входил и он сам...

Итак, у фельдмаршала оставалось в запасе еще четыре дня и четыре ночи — девяносто шесть часов, которые должны были решить судьбу Петербурга и, может быть, его собственную. В дальнейшем ему пришлось бы штурмовать город уже без корпуса Рейнгардта, без части первого воздушного флота, пока целиком находящегося в его подчинении.

Но об этом «дальнейшем» фон Лееб не хотел думать. Он был убежден в том, что четырех дополнительных суток ему будет достаточно.

Однако реальные факты противоречили оптимистическим расчетам фельдмаршала.

Предпринятые им попытки прорваться от Стрельны к Кировскому заводу окончились неудачей. Максимум, что удалось сделать его войскам, это приблизиться к развалинам какой-то загородной больницы, от которой до Кировского завода было еще не менее четырех километров.

Ключом к Петербургу фон Лееб не без основания считал Пулковские высоты и, в частности, главную из них, на которой находилась обсерватория. Но ни систематический обстрел, ни попытки захватить эту командную высоту штурмом не дали желаемых результатов.

Казалось бы, затраченных снарядов и авиабомб было достаточно для того, чтобы навеки подавить все живое как на самой высоте, так и у ее основания. К тому же авиаразведка доносила фон Леебу, что на высоте не осталось ничего, кроме развалин обсерватории.

Но сегодня эти сообщения уже не вводили фон Лееба в заблуждение. Ему было ясно, что где-то в непробиваемых с воздуха пещерах-укрытиях, в паутине траншей и окопов, покрывавших подступы к высоте, по-прежнему действуют десятки орудий, непрерывно ведущих дуэль с немецкой артиллерией; и как только солдаты 18-й армии поднимутся на очередной штурм высоты, выжженная огнем земля оживет, русские мгновенно появятся, точно из глубоких недр, и устремятся в контратаку.

Огромный урон немецким войскам наносили советская авиация и крупнокалиберная морская артиллерия Балтийского флота. Она била во фланг и тыл частям, вновь овладевшим Урицком и штурмующим Пулково. Необходимо было удержать Урицк, чтобы не допустить прорыва русских в тыл войскам, атакующим Пулковские высоты, и во что бы то ни стало захватить сами высоты. Это было предпосылкой успешного штурма Петербурга.

Фон Лееб сидел, склонившись над письменным столом, охваченный противоречивыми чувствами: всячески подогреваемый им самим верой в победу и тревогой за свою судьбу.

Вошел адъютант и молча положил на стол перед фельдмаршалом только что полученное донесение

от командующего 18-й армией. Генерал Кюхлер сообщал, что час тому назад русским удалось отбить Урицк...

По ночному, пламенеющему от зарева пожаров Ленинграду мчалась легковая автомашина. На переднем сиденье, рядом с шофером, сидел, угрюмо насупившись, член Военного совета Ленинградского фронта, секретарь горкома партии Васнецов. Он спешил в район боевых действий 21-й дивизии НКВД, занимавшей оборону в районе Урицка.

Несколько часов тому назад от нового командующего войсками 42-й армии генерал-майора Федюнинского поступило донесение: «Враг выбит из Урицка».

Донесение это было встречено в Смольном с радостью и облегчением. Являющийся, по существу, юго-западной окраиной Ленинграда, город Урицк, находясь в руках врага, служил немцам отличным плацдармом для накопления сил и подготовки прорыва в Кировский район.

Однако радость была недолгой. Двумя часами позже командующий 42-й доложил, что в Урицк снова ворвались немцы.

Федюнинский колебался, передавая шифровальщику текст этого донесения. Было двенадцать часов ночи, и он надеялся, что к утру дивизия НКВД, державшая оборону у северных окраин Урицка, снова отобьет его у врага.

Но подобно тому, как Сталин не прощал малейшей попытки утаить от Ставки любую, пусть не имеющую решающего значения плохую весть, и не так давно пришел в ярость, когда Жданов и Ворошилов промедлили с сообщением о захвате немцами железнодорожной станции Мга, так и Жуков не терпел обмана и способен был жестоко покарать любого командира, который в надежде на последующий успех не доложил бы своевременно о постигшей его неудаче.

И Федюнинский хорошо это знал. Поэтому, поколебавшись, он приказал не только передать Жукову донесение по телеграфу, но и продублировать его кодом по телефону, добавив при этом, что командиру 21-й дивизии НКВД приказано отбить город не позднее четырех ноль-ноль.

После телефонного разговора со штабом армии Васнецов и решил немедленно выехать в район Урицка, чтобы лично ознакомиться с создавшимся положением.

Ленинград и корабли Балтийского флота только что подверглись двухчасовому налету вражеской авиации. И хотя теперь взрывов бомб уже не было слышно, штаб ПВО все еще не объявлял отбоя. Небо пламенело от вспыхнувших в разных концах города пожаров. Завывая сиренами, мчались по улицам пожарные и милицейские машины.

Время от времени из подъездов домов выбегали укрывшиеся на время налета патрульные с намерением преградить путь несущейся по центру мостовой «эмке», — движение по городу во время воздушной тревоги было разрешено только специальным машинам и Скорой помощи, но, увидев особый комендантский пропуск на ветровом стекле, поспешно освобождали дорогу.

По мере приближения к Нарвской заставе водителю приходилось все чаще притормаживать: путь преграждали баррикады, и, чтобы проехать по узкому проходу между ними, Васнецову надо было не раз предъявлять документы красноармейцам и людям в гражданской одежде, вооруженным винтовками и гранатами, — рабочим с Кировского и других заводов, выделенным для дежурств на контрольно-пропускных пунктах.

Недалеко от Кировского завода, перед виадуком, под которым была сооружена баррикада, машину вновь остановили. Подошли двое вооруженных людей: пожилой, в косоворотке и пиджаке, перепоясанном широким армейским ремнем, за который был заткнут наган, и молодой парень в сдвинутой на затылок кепке.

Проверив удостоверение, пожилой вернул его и сказал:

— Не признали вас сразу, товарищ Васнецов.

— С Кировского? — спросил Васнецов.

— С него самого. Сальников моя фамилия, мастер из механического. Вы у нас позавчера в цеху на митинге выступали. Куда же едете, Сергей Афанасьевич, ведь там уже передний край?! — Он махнул рукой в темноту.

— Туда и надо. В дивизию Папченко.

— Туда теперь не проехать. До Котляковского парка кое-как доедете, а дальше все изрыто, перепахано.

— Попробуем, — сказал Васнецов и направился к машине.

— Сергей Афанасьевич! — окликнул его Сальников и, подойдя к уже взявшемуся за ручку дверцы Васнецову, спросил, понизив голос:

— Под Урицком-то как дела?

— Скрывать не буду, — ответил Васнецов, — врагу удалось снова захватить Урицк.

— Так... ясно, — мрачно произнес Сальников. — Значит, с часу на час можно ждать немца здесь...

— Да, — сказал Васнецов. — К этому надо быть готовыми.

— Что ж, мы готовы, — заверил Сальников и повторил: — Мы готовы.

Васнецов молча протянул ему руку. Сальников с силой пожал ее, как бы подкрепляя свое заверение.

Через несколько сотен метров Васнецов убедился в том, что Сальников был прав: дальше трамвайного парка имени Котлякова по искореженной снарядами, бомбами, перегороженной надолбами дороге проехать было невозможно, тем более с потушенными фарами.

— Жди здесь, — сказал Васнецов шоферу, выходя из машины. — Но только до рассвета. Если не вернусь — газуй назад. Мишенью стоять нечего.

— А как же вы? — встревоженно спросил шофер.

— Доберусь. Тут недалеко, — уже на ходу бросил Васнецов.

Командира дивизии на КП не оказалось. Начштадив доложил Васнецову, что полковник находится на наблюдательном пункте 14-го полка.

В сопровождении связного Васнецов стал пробираться туда. Он шел, слегка пригибаясь, — несмотря на ночное время, посвистывали пули. Впереди, на юге, не более чем в полутора-двух километрах отсюда, горел Урицк. Казалось, что весь этот городок превратился в огромное грозовое, черное облако, которое время от времени прорезали похожие на молнии языки пламени.

Васнецов хорошо знал Урицк — бывший поселок Лигово, расположенный на юго-западной окраине Ленинграда. В сущности, Урицк и был частью Ленинграда, связанный с центром города трамвайным и автобусным транспортом. Партийными организациями Урицка руководил Кировский райком Ленинграда.

Но сейчас Васнецов старался гнать от себя страшную мысль, что немцы, по существу, уже находятся в пределах самого Ленинграда. Он шел, стиснув зубы, иногда припадая к земле, когда свист пуль становился особенно резким или когда в небе вспыхивали осветительные ракеты.

О лично ему грозящей опасности Васнецов не думал. Не думал отнюдь не потому, что ему было свойственно исключительное бесстрашие или полное презрение к смерти, — просто все мысли Васнецова были связаны сейчас только с одним — с судьбой Ленинграда.

Когда на плечи человека ложится тяжелый груз ответственности за судьбу других людей, он, как правило, уже не находит времени, чтобы подумать о себе. Судьба его переплетается с чужими судьбами, чьи-то жизни становятся его собственной жизнью.

Следуя за почти неразличимым связным, на ощупь выбирая путь между занятыми бойцами окопами, перепрыгивая через ходы сообщения, обходя пулеметные гнезда и огневые позиции артиллерийских орудий, установленных для стрельбы прямой наводкой, Васнецов думал сейчас об одном: удастся ли снова выбить врага из Урицка?

Всего лишь несколько сотен метров отделяли его теперь от окутанного дымом города. Васнецов уже ощущал едкий запах гари, когда из темноты донесся голос связного:

— Здесь, товарищ дивизионный комиссар!

Связной спустился по деревянным ступенькам и потянул в сторону плащ-палатку, прикрывавшую вход в землянку.

Пригнувшись, чтобы не задеть головой низкую притолоку, Васнецов шагнул через порог.

Полковник Папченко, рослый, в красноармейской стеганке, туго перепоясанной ремнем, в стальной каске, стоял, согнувшись, над неким подобием стола — узкой, неоструганной доской, лежащей на двух чурбаках. На груди полковника висел автомат.

Увидев столь неожиданно появившегося Васнецова, он попытался выпрямиться и, упираясь своей каской в бревенчатый накат землянки, доложил:

— Товарищ член Военного совета, двадцать первая дивизия ведет бой за город Урицк. Командир дивизии полковник Папченко.

Васнецов сделал шаг вперед, огляделся. На столе лежал освещенный тусклым пламенем керосиновой лампы истрепанный, замусоленный план Урицка.

В углу, прямо на полу, сидел телефонист, положив руку на полевой аппарат. В противоположном углу спали, прикрывшись одной шинелью, еще два красноармейца.

Из-под шинели выглядывали стволы автоматов, — очевидно, спящие не выпускали их из рук.

— Как следует понимать ваши слова, товарищ Папченко? — резко спросил Васнецов. — Что значит «ведет бой»? Доложите обстановку точнее.

— По нашим данным, Урицк... — начал Папченко.

Но Васнецов прервал его:

— Хотите сказать: захвачен немцами? Это Военному совету уже известно.

— Не вполне так, товарищ дивизионный комиссар, — возразил Папченко. — Несколько наших групп ведут бои в самом городе. Уверен, что они прорвутся.

— Куда «прорвутся»?! — с яростью в голосе воскликнул Васнецов. — Назад к Ленинграду?

Папченко ничего не ответил. На его покрытом копотью лбу выступили капли пота. Он снял каску, подшлемник и провел по взмокшим волосам рукавом стеганки.

«Зачем это я? — подумал Васнецов. — Разве криком поможешь?..

— Товарищ Папченко, — сказал он, заставляя себя говорить спокойно, — вокзал тоже занят немцами?

— Занят, — устало проговорил Папченко, кладя на стол каску, — я сам только что оттуда. Три раза людей в атаку поднимал, хотели станцию отбить — не получилось. Там у немца автоматчиков полно и танки... Пришлось окопаться у переезда возле оврага, может, знаете то место. Малость отдохнут люди, и снова начнем атаковать.

— Насколько мне известно, — сказал Васнецов, — командующий приказал вам отбить Урицк к четырем ноль-ноль, верно? Сейчас, — он посмотрел

на часы, приближая их к свету коптилки, — два сорок. Сумеете выполнить приказ?

Папченко помолчал, словно еще раз прикидывая в уме, сколько ему осталось времени, потом устало ответил:

— Нет. Не сумею.

— Но... как же так?! — В голосе Васнецова, помимо его воли, прозвучали не только возмущение, но и растерянность.

— Товарищ член Военного совета, — сказал Папченко, — у меня бойцы вот уже почти сутки не выходят из боя... Я коммунист и чекист. И врать не умею. К полудню, может быть, и выкинем немцев. А раньше едва ли. Сделаем все, что можем. Меня командующий расстрелять грозил, если не отобью Урицка. Так что жизнь моя у него в залоге.

— Товарищ полковник, — глядя на командира в упор, проговорил Васнецов, — я не знаю, в залоге ли ваша жизнь у командующего, но Кировский район, а значит, и Ленинград у вас в залоге. Положение, товарищ Папченко, отчаянное. Рабочие Кировского готовятся выйти на баррикады... От вас и ваших бойцов во многом зависит, перекинутся ли бои на улицу Стачек... Я должен скоро вернуться в Смольный. Оттуда поеду на КП Федюнинского: над Пулковскими высотами тоже нависла угроза. Что мне сообщить Военному совету, товарищу Жданову?

— Будем драться, — угрюмо ответил Папченко. — Разрешите отбыть на передний край, товарищ дивизионный комиссар?

— Я пойду с вами, — сказал Васнецов.

— Товарищ член Военного совета, — нахмурился Папченко, — я считаю, что вы не должны без прямой необходимости рисковать жизнью. На переднем крае сейчас простреливается каждый метр.

— Не пугай, товарищ Папченко, не пугай, — усмехнулся Васнецов, — сам понимаю, что страшно, но дело, видишь ли, требует. Что же мне, по-твоему, докладывать Военному совету только о том, что с командиром дивизии поговорил? С тобой Смольный и без моего посредства связаться может. По телефону. — Он помолчал мгновение и с неожиданной горячностью воскликнул: — Людей твоих мне надо видеть! Тех, кто сейчас за Урицк бой ведет. Иначе какой же я комиссар, да еще дивизионный!.. А теперь разговор окончен. Пошли.

Папченко неуверенно повел плечами, потом резко повернулся к спящим бойцам и громко скомандовал:

— Связные, подъем!

Глава XII

Все попытки Федора Васильевича Валицкого вернуться в свою ополченскую дивизию закончились безрезультатно.

Еще в начале августа он, уверенный, что рано или поздно попадет на фронт, уговорил свою жену Марию Антоновну эвакуироваться — уехать в Куйбышев.

Точнее, Федор Васильевич заставил ее уехать. Другого выхода он не видел. После выписки из госпиталя Мария Антоновна была очень слаба, рана на бедре то и дело открывалась, кровоточила. Врач сказал, что всему причиной возраст, постоянное нервное напряжение и что ей следует или снова лечь на длительное время в больницу, или — что лучше — уехать из Ленинграда в тыл.

Мария Антоновна умоляла мужа разрешить ей остаться, продолжать лечение дома или на худой конец вернуться в больницу.

Федор Васильевич, презрев обиду, отыскал своего старого друга доктора Осьминина — тот был теперь главным врачом одного из госпиталей в Московском районе. Осьминин приехал, осмотрел Марию Антоновну, потом заперся с Валицким в его кабинете.

— Вот что, Федор, — сказал он решительно, — ты не дури. Обеспечить послеоперационный уход в домашних условиях сейчас невозможно. Марию Антоновну надо немедленно отправить из Ленинграда. Питание становится с каждым днем все хуже, в таких условиях заживление ран, в особенности у пожилых людей, тянется месяцами.

— А если... снова в больницу? — робко спросил Валицкий.

— Во-первых, — ответил Осьминин, — там теперь тоже плохо кормят. И, кроме того, ни одна больница не застрахована от прямого попадания бомбы или снаряда. В мой госпиталь шарахнуло уже два. В этих условиях оставлять Марию Антоновну здесь — преступление. Да и я на твоем месте уехал бы с ней.

— Однако на своем месте ты пошел в ополчение, а теперь состоишь на военной службе, — угрюмо заметил Валицкий.

— Верно, — согласился Осьминин, — но в ополчении был и ты. А на военной службе меня держат потому, что я врач. Так что дело тут не в моем личном героизме, а в требованиях военного времени. Уехав вместе с Марией Антоновной, ты смог бы обеспечить ей и необходимый уход, и лечение.

— Я не могу уехать, — упрямо возразил Валицкий. — Со дня на день жду вызова в свою часть.

Осьминин с сомнением покачал головой, однако, зная характер друга, больше не стал убеждать его уехать.

— Ну, тогда тем более жену следует эвакуировать, — сказал он. — Что же, ты хочешь оставить ее одну, больную, в Ленинграде?

В словах Осьминина была железная логика, и Валицкий не нашелся, что возразить.

— Где Анатолий? — спросил Осьминин.

— На фронте, служит в инженерных войсках, — поспешно ответил Валицкий.

Осьминин не знал, что все, что касалось сына, Валицкий воспринимал особенно болезненно.

— Пишет? — спросил Осьминин.

— Получил два письма. Ты бы черкнул Толе. Я дам тебе номер его полевой почты.

Последние слова Валицкий произнес несвойственным ему просительным тоном: Федору Васильевичу казалось, что получить такое письмо сыну будет особенно приятно. Он поспешно написал на листке бумаги номер полевой почты Анатолия и вложил Осьминину в нагрудный карман кителя.

Сам он писал теперь Анатолию письма, полные таких слов любви, которые раньше никогда не мог бы заставить себя ни написать, ни произнести вслух. То, что Анатолий лишь два раза ответил ему, Валицкий объяснял тяжелыми фронтовыми условиями, тем, что сыну, наверное, не до писем.

На каком участке фронта находится Анатолий, Федор Васильевич не знал, — в тех двух письмах-треугольниках, на которых стоял штамп «Проверено военной цензурой», никаких упоминаний об этом, естественно, не содержалось.

После беседы с Осьмининым Валицкий наконец решился отослать Марию Антоновну из Ленинграда.

До этого, уговаривая жену уехать, он испытывал подсознательное чувство страха при мысли, что она может согласиться. Он хотел, чтобы Мария Антоновна уехала, и в то же время боялся этого. Боялся потому, что, пожалуй, впервые за их долгую совместную жизнь понял, как трудно, как невыносимо тяжело будет ему остаться одному.

Дело было отнюдь не в привычных удобствах, не в уюте, который создавала жена. Он просто не мог себе представить, как будет жить без Марии Антоновны, зная, что не увидит ее ни сегодня, ни завтра, ни через месяц...

Никогда ранее не отдававший себе отчета в том, что, по существу, лишь эгоизм толкает его на те или иные поступки, нынешний Валицкий пристрастно оценивал каждый свой шаг, каждый помысел, стараясь определить, какое же чувство на деле им движет.

И, сознавая, что, разрешив Марии Антоновне остаться, он сделал бы это прежде всего для себя, Валицкий, не говоря ни слова жене, пошел в Управление архитектуры, где после возвращения из ополчения продолжал числиться консультантом, и вернулся домой с документом, решившим дальнейшую судьбу его жены.

Прежде чем показать его Марии Антоновне, Валицкий несколько раз почти невидящими глазами перечитал типографским способом отпечатанные строки, над которыми были вписаны от руки фамилия, имя и отчество его жены:

«Районная комиссия по эвакуации обязывает вас выехать из гор. Ленинграда на все время войны в порядке эвакуации населения. Вам надлежит явиться в комиссию для получения эвакуационного удостоверения и посадочного талона на поезд».

...Потом Валицкий стоял на платформе, провожая взглядом уходивший поезд с завешенными изнутри окнами, который уже через несколько минут поглотила темнота, и, пожалуй, в первый раз в жизни ощущая на своих губах соленый вкус слез...

Оставшись один, он еще упорнее стал добиваться возвращения в дивизию. Послал три письма в Смольный: два маршалу Ворошилову и одно Васнецову, но все эти письма остались без ответа.

Валицкий не знал, что его письма на имя Ворошилова вообще не были переданы маршалу, денно и нощно занятому неотложными делами. Поскольку речь шла о вступлении в ополчение, адъютанты переслали их в горвоенкомат, оттуда письма попали в райвоенкомат по месту жительства Федора Васильевича, а там их попросту «списали», убедившись, что речь идет о старике, снятом с военного учета.

Васнецову о письме Валицкого было доложено. Но, сразу вспомнив рвущегося под пули старого архитектора, он торопливо, не вдаваясь в подробности, сказал: «Нет, нет!» И это решило дело.

Федор Васильевич написал в дивизию, Ивану Максимовичу Королеву, умоляя его разрешить вернуться, но получил короткий, хотя и дружеский, ответ, смысл которого сводился к тому, что в военное время надо подчиняться приказам, даже если они противоречат твоему личному желанию.

Помня, что в первые дни войны он относительно легко попал на прием к Васнецову, Валицкий решил снова пойти в Смольный. Однако порядки там изменились, и военная охрана не пропустила его даже за ворота.

Валицкий снова написал Ивану Максимовичу, но через неделю получил лаконичное извещение, что Королев из части выбыл.

Последнее, на что решился на днях Валицкий, была записка на имя Васнецова, которую Федор Васильевич сам отвез в комендатуру Смольного. В ней Валицкий уже не настаивал на возвращении в ополчение. Перечислив знакомые ему области градостроительства, он просил использовать его знания и опыт в деле обороны города. Он даже упомянул, что умеет неплохо рисовать, с тайной надеждой, что его смогут использовать хотя бы на работе по выпуску военных плакатов и лозунгов.

Однако и на эту записку ответа пока не было.

Федор Васильевич сознавал, что «властям» не до него: немцы — на пороге Ленинграда, город подвергается систематическому обстрелу и бомбежкам, ухудшилось продовольственное снабжение.

Большинство коллег Валицкого его возраста были эвакуированы, некоторые получили назначение в организации, работающие на оборону. Валицкий же, вернувшись из ополчения, остался не у дел.

Единственным утешением Федора Васильевича была теперь Вера.

Нет, с тех пор, как она неожиданно появилась

в квартире Валицкого, Вера больше не приходила ни разу. Но раз в неделю, по воскресеньям, она звонила, справлялась о здоровье Федора Васильевича и о письмах от Анатолия. Валицкий знал, что Вера работает теперь в одном из госпиталей и фактически там же и живет, что занята она по восемнадцать—двадцать часов в сутки и поэтому не имеет возможности навестить его. Но звонила она регулярно.

Вот и сегодня, в дождливое сентябрьское воскресенье, Валицкий сидел в кабинете, ожидая звонка. Сидел и думал о том, что эти несколько минут разговора, которые ему предстоят, остались единственной радостью в его жизни.

Обычно Вера звонила около восьми вечера. Было без четверти восемь, когда Валицкий нетерпеливо посмотрел на часы.

Если бы Федора Васильевича спросили, почему он не уезжает из осажденного города, ему, пожалуй, трудно было бы ответить. Быть ближе к сыну? Но сын на фронте. То, что отец в Ленинграде, скорее всего лишь причиняет Анатолию лишнее беспокойство — ведь он знает, что город бомбят и обстреливают. Если бы жена была здесь, рядом, то Валицкий мог бы утешить себя мыслью, что нужен ей — больной и старой. Но и она теперь далеко...

Почему же он остается в Ленинграде? Потому что здесь стоят построенные им, Валицким, дома?.. Но он не нужен давно воздвигнутым домам, новых же сейчас никто не строит. И вообще он никому не нужен. То короткое время, которое он провел на фронте, в ополчении, он приносил пользу. Но и там оказался лишним...

Так размышлял Валицкий.

Будучи весь под властью этих невеселых мыслей, он тем не менее не спускал глаз с телефонного аппарата, каждое мгновение ожидая звонка.

Звонок раздался, когда стоящие в углу кабинета часы показывали без пяти восемь. Валицкий схватил трубку, поднес к уху и, радуясь, что сейчас услышит голос Веры, торопливо проговорил:

— Да, да, слушаю!

— Валицкий Федор Васильевич? — раздался в трубке женский голос.

— Да, да, это я! — еще не отдавая себе отчета в том, что это не Вера, воскликнул Валицкий.

— Ваш телефон выключается на время войны, — снова зазвучал в трубке холодный, какой-то металлический голос.

— Что?.. Как?.. — недоуменно пробормотал Валицкий. — Как выключается? — И поспешно добавил: — У меня уплачено до... Кто это говорит?

— Телефонная станция. Аппарат выключается до конца войны.

— Послушайте! — оглушительно крикнул в микрофон Валицкий. — Мне должны сейчас позвонить! Вы... вы не имеете права! Я...

И вдруг он понял, что кричит в пустоту. Никто не слышал его. Аппарат был мертв.

Валицкий медленно положил трубку на рычаг, потом с какой-то едва тлеющей надеждой снова снял ее, приложил к уху. Но по-прежнему не услышал ни звука, ни шороха. Ничего. С таким же успехом можно было прислушиваться к куску дерева или металла.

Он положил трубку на стол. Часы гулко пробили восемь.

Произошло непоправимое. Теперь Вера уже не сможет ему позвонить...

С отчаянием Валицкий подумал о том, что не знает адреса Веры — ни домашнего, ни служебного. Ему показалось, что она потеряна для него навеки...

Федор Васильевич попытался взять себя в руки и трезво обдумать случившееся. Хотя он еще не знал, выключены ли в городе все квартирные телефоны или это касается только людей, не связанных с выполнением оборонных заданий, было ясно, что телефона лишился не только он. Следовательно, Вера не может не узнать об этом. Возможно, что уже при первой попытке дозвониться до него ей сообщат со станции, что телефон выключен. В этом случае она придет сюда сама. Несомненно, придет... Но когда? При ее занятости вряд ли ей легко будет выбрать время.

И, кроме того, если взглянуть правде в глаза, зачем он ей, собственно, нужен? Ведь до сих пор Вера звонила просто так, из чувства сострадания, понимая, что происходит у него на душе. Звонила, так сказать, в память об Анатолии. Снять трубку и позвонить — для этого всегда можно найти время. Но покинуть госпиталь на два-три часа только для того, чтобы навестить взбалмошного старика? Вряд ли...

И все-таки Валицкий надеялся, что Вера придет. Она чувствует, что необходима ему. Она добрая, чуткая девушка. Она придет хотя бы для того, чтобы узнать, нет ли новых писем от Анатолия.

Когда? Может быть, уже сегодня вечером, убедившись, что телефон не работает. Или завтра. Но придет обязательно, в этом Валицкий уже не сомневался.

Он медленно положил трубку на рычаг ненужного теперь телефона. Откинулся в кресле и закрыл глаза. Из черной тарелки прикрепленного к стене репродуктора доносился мерный стук метронома. Это означало, что в городе сейчас спокойно.

«О, если бы этот метроном был чувствителен не только к очередному несчастью, обрушившемуся на сотни тысяч людей, но и к горю каждого отдельного человека! — подумал Валицкий. — Тогда он постоянно стучал бы лихорадочно быстро...»

Потом мысли его перескочили на другое: «Где же все-таки живет Вера? Очевидно, где-то в районе Нарвской заставы. Именно туда направлялся трамвай, на который я посадил ее в тот поздний июльский вечер. Да, да, несомненно, за Нарвской,

ведь ее отец работал раньше на Путиловском, и вполне естественно, что они жили где-то неподалеку...»

Валицкий вспомнил, как, вернувшись на грузовике из дивизии, шел по улице Стачек, как ехал на трамвае мимо Нарвских ворот.

Перед его мысленным взором снова возникли эти ворота — Триумфальная арка, увенчанная колесницей Славы, увлекаемой вперед шестеркой вздыбившихся коней. Валицкий почему-то подумал о том, что эта скульптурная группа более динамична, чем колесница на арке Главного штаба.

Неужели он доживет до того дня, когда через Нарвские ворота пройдут, возвращаясь с фронта, победоносные войска, разгромившие немецко-фашистские полчища?!

Нет, он слишком стар. А победа еще слишком далека — враг на пороге Ленинграда.

Валицкий плохо представлял себе, где именно сегодня находятся немцы, но знал, что они у самого города.

И все же он был убежден, что, несмотря на то, что врагу удалось дойти до стен Ленинграда, захватчики все равно обречены, что они будут разгромлены, перемолоты, закопаны в землю...

Отвлекаясь от горьких раздумий о своей судьбе, о жене, о сыне, чья жизнь ежеминутно подвергается смертельной опасности, о Вере, голос которой он теперь не может услышать, Федор Васильевич постарался представить себе, каким же будет в Ленинграде день Победы.

«Несомненно, арка, возведенная в честь победы над Наполеоном, должна послужить триумфальными воротами для победителей и в этой войне, — подумал он. — Новую строить не надо. То, что наши бойцы пойдут именно под этой аркой, будет символизировать закономерность, неотвратимость разгрома любых захватчиков, поднявших меч на Россию. Правда, русские солдаты, возвращавшиеся с победой из Парижа, проходили под другой аркой, деревянной. Но ведь нынешняя, каменная, была установлена на том же месте и в основном повторяет ту, деревянную. А где-то неподалеку должен быть воздвигнут памятник в честь победы над фашизмом».

Где установить этот памятник? И каким он должен быть? Федор Васильевич представил себе советского воина со знаменем в руках, попирающего ногой свастику в виде извивающихся в конвульсиях переплетенных змей...

Старый архитектор увлекся. Придвинул к себе лист бумаги, взял карандаш и стал делать набросок...

Поглощенный работой, он не слышал, как зачастил метроном, не слышал глухих разрывов снарядов. Лишь голос диктора, объявляющего, что район подвергается артиллерийскому обстрелу, вернул Валицкого к реальной действительности.

«Чем я занимаюсь? — с недоумением и горечью подумал он. — Какие там памятники!.. Когда еще она придет, победа?!»

Федор Васильевич стал собираться в бомбоубежище.

Раньше он туда не ходил, а сидел в своем кабинете, прислушиваясь к стрельбе зениток и взрывам бомб. Но после того, как к нему однажды явились дежурные из МПВО[1] и предупредили, что привлекут его к ответственности за несоблюдение правил поведения гражданского населения, Валицкий смирился и стал спускаться во время тревоги в подвал.

В отличие от многих других, он никогда не брал с собой ни еды, ни подушки с одеялом, хотя обстрелы длились иногда по нескольку часов,— ничего, кроме заранее приготовленного портфеля, в котором лежали фотографии жены и Анатолия и письма сына с фронта. Отправляясь в убежище, Валицкий доставал из шкафа какую-нибудь книгу и тоже клал ее в портфель. Он брал книгу наугад, следя лишь за тем, чтобы она не имела отношения к архитектуре, — все, что напоминало Валицкому о его ненужной теперь профессии, вызывало у него горечь и раздражение.

На этот раз он также взял, не выбирая, одну из тех книг, к которым уже много лет не прикасался, сунул ее в портфель и пошел к двери.

Бомбоубежище — большой, плохо освещенный, сырой подвал, бывшая котельная, — было уже полно людьми. Женщины с детьми, старики сидели и лежали на скамейках и койках-раскладушках.

Каждый раз, когда Валицкий входил в этот подвал, он испытывал горькое чувство от сознания своей принадлежности к людям, никакого активного участия в обороне города не принимающим, обреченным лишь на страдания, связанные с войной.

Валицкий осмотрелся и, всем своим видом давая понять, что оказался здесь совершенно случайно, прошелся между раскладушками, матрацами, расстеленными на каменном полу, к дальней скамье.

Там сидели женщина в косынке, инвалид с костылями, прислоненными к скамье, и какой-то старичок в металлических «дедовских» очках, на коленях его лежал сверток, очевидно, с чем-то съестным — масляные пятна уже проступили на оберточной бумаге.

Валицкий раскрыл свой портфель, вынул книгу и с удивлением обнаружил, что это томик Марка Твена на английском языке.

Марка Твена Валицкий читал лишь в юности и помнил только его повести о Томе Сойере и Гекльберри Финне. В памяти почему-то застряла также фраза писателя о том, что бросить курить очень

---

[1] МПВО — местная противовоздушная оборона.

легко, поскольку он, Марк Твен, делал это раз десять.

Федор Васильевич попытался сейчас припомнить, где и когда он купил эту прекрасно изданную книгу, — вероятно, еще до революции, за границей. Посмотрел оглавление. Одно из заглавий — «Таинственный незнакомец» — привлекло его внимание. Подумав, что именно подобного рода чтение поможет отвлечься от невеселых мыслей, Валицкий раскрыл книгу.

Однако едва он прочел первые строки, как услышал из-за двери громкий мальчишеский голос: «Нет, нет, не хочу, не пойду!»

Через минуту на пороге появился заплаканный мальчишка лет десяти, подталкиваемый сзади женщиной.

Все недовольно посмотрели в их сторону.

Женщина умоляюще сказала:

— Тише, Володя, тише! Не мешай людям отдыхать. Ты же видишь, люди тут...

Сидевший рядом с Валицким старичок чуть приподнялся и тем добродушно-ироническим тоном, которым обычно обращаются взрослые к напроказившим детям, сказал:

— Почему плачем, молодой человек по имени Володя?

Мальчик молчал, вытирая текущие по щекам слезы, а женщина торопливо проговорила:

— Вы уж извините, товарищи! Не хочет в убежище идти, ревет, как оглашенный!

Она снова подтолкнула мальчишку:

— Иди, иди! Всполошил людей!..

Мальчик сделал шаг вперед и опять остановился, обводя присутствующих недружелюбным взглядом.

— Какова же причина подобного поведения молодого человека? — не унимался сосед Валицкого.

Женщина села на уголок скамьи, притянула к себе упрямо передергивающего плечами мальчишку и ответила:

— Видите, вот не хочет! Трусы, говорит, только в убежище идут!.. Вы уж простите, — спохватилась она и добавила без всякого перехода: — Отец-то наш на фронте.

— Это почему же трусы? — явно обиженно проговорил сидевший на противоположной скамье мужчина средних лет с наголо обритой головой, в армейской хлопчатобумажной гимнастерке, но без петлиц.

Парнишка выпрямился и громким, срывающимся голосом закричал:

— Трусы! Конечно, трусы! Все вокруг говорят: смелым, смелым надо быть! А как же я смелым буду, если она чуть что — в убежище гонит?!

— А ты думаешь, смелость в том, чтобы фрицу башку под снаряд подставлять? — уже спокойнее спросил бритоголовый.

Несколько мгновений мальчик глядел на него в упор пристальным, недетским взглядом. Потом сказал с вызовом:

— А вам... а вам тоже на фронте надо быть!

— Я и был, — теперь уже совсем добродушно ответил бритоголовый. — На, гляди, если не веришь.

Он подтянул левую штанину, и все увидели, что нога — в гипсовой повязке.

— Стыдно, стыдно, Володя! — громким шепотом сказала женщина, снова притягивая к себе мальчика.

На этот раз он покорился, сел рядом, опустив голову.

В убежище снова наступила тишина.

«А меня никто не заподозрит в трусости. Никто не скажет, что мое место на фронте! — с горечью подумал Валицкий. — Старик! Все видят, что старик!..»

Чтобы не растравлять себя, он снова попытался читать.

Это была странная повесть. Действие происходило в 1500 году. Дьявол, принявший человеческий облик, явился к ничего не подозревающим, играющим в лесу мальчишкам. Сначала он продемонстрировал им несколько элементарных фокусов, которые тем не менее поразили детское воображение. Потом решил вмешаться в жизнь городка. Проделки следовали одна за другой...

Незаметно для себя Валицкий увлекся чтением и не заметил, что сидящий рядом неугомонный старичок время от времени заглядывает в его книгу.

Неожиданно тот спросил:

— На каком же это вы языке читаете?

— На английском, — буркнул, не поднимая головы, Валицкий.

— Великая вещь — знание иностранных языков, — со вздохом произнес старичок. — И о чем, извините, идет речь?

— О черте, — снова буркнул Валицкий, чувствуя, что от назойливого соседа не так легко отделаться.

— О че-ерте? — удивленно переспросил старик. — Гм-м... А я, грешным делом, когда вы сказали, что английским владеете, хотел вас спросить, не слышно ли что-нибудь о втором фронте?

Логика мышления соседа была более чем наивна.

Валицкий опустил раскрытую книгу на колени и иронически улыбнулся:

— Почему вы изволите полагать, что мне что-либо известно о втором фронте?

— Ну... — смущенно произнес старичок, — я думал... Ведь англичане теперь наши союзники. Говорят, что следует ожидать...

— Ничего не следует ожидать! — резко оборвал его Валицкий. — К вашему сведению, на про-

тяжении всей своей истории Англия заботилась только о себе.

Увидев, как растерянно и даже испуганно заморгал сосед, Федор Васильевич, смягчившись, добавил:

— Кроме того, я читаю не английского, а американского писателя. И не современного.

— Так, так, понимаю, — закивал головой старик. — Как прозывается, позвольте полюбопытствовать?

— Марк Туэйн, — сухо ответил Валицкий, машинально произнося имя писателя по-английски.

— Понимаю, — снова закивал сосед и добавил виновато: — Не приходилось слышать.

Наконец старик угомонился.

В подвале было тихо, слышался только учащенный стук метронома, — обстрел там, наверху, продолжался.

Валицкий снова погрузился в чтение.

Повесть из остроумной сказки постепенно превращалась в философский трактат. Дьявол проповедовал взгляд на людей как на существа, в нравственном отношении стоящие ниже животных.

Старичок опять оторвал Валицкого от книги.

— Извините великодушно. Вот вы пояснили, что про черта читаете. Надо полагать, в фигуральном, так сказать, смысле?

Валицкий раздраженно захлопнул книгу. Сосед начинал ему явно надоедать. Кроме того, Федор Васильевич заметил, что люди, сидевшие рядом, стали прислушиваться к их разговору.

Ему следовало бы промолчать, оставить вопрос старика без ответа. Но это было не в характере Валицкого.

— Вы хотите мне сообщить, что чертей в природе не существует? — язвительно произнес он.

— Нет, почему же! — возразил сосед. — Я, например, полагаю, что Гитлер и есть дьявол.

— Гитлер — негодяй и мракобес, — не замечая, что повышает голос, ответил Валицкий, — но к чертям отношения не имеет. Такими чертями, к вашему сведению, полна история человечества. Все эти Атиллы, Чингисханы, Барбароссы...

— Вы образованный, вам виднее, — согласно закивал старик, — но я все же думаю, что человек не может делать такое...

Он как-то растерянно заморгал и тихо добавил:

— У меня внучку убило... Маленькую... Мать в больнице лежит, отец на фронте. Она с матерью по улице шла. По Кировскому проспекту. И — снаряд... Дочке ногу оторвало. А внучку... Валечку... — Он неожиданно всхлипнул. — Даже чтобы похоронить, ничего не осталось... совсем ничего... Вы понимаете?

Валицкий почувствовал, как у него сдавило горло.

— Да, да... — поспешно и как-то виновато сказал он. — Я понимаю. Это ужасно...

— А я вот... сижу в подвале и спасаю свою жизнь... никому не нужную жизнь... — говорил старик. — Вот бутерброды соседка сунула... — Он кивнул на свой промасленный сверток и повторил с горькой усмешкой: — Бутерброды!.. Если бы я увидел... тех, что стреляют, у меня хватило бы сил, чтобы удушить... хоть одного... одного, на большее меня не хватит...

Старик умолк. Но его слова оказались той искрой, от которой вспыхнул пожар. Люди заговорили разом, перебивая друг друга, торопясь поведать каждый о своем горе: о разрушенном бомбой или снарядом доме, под обломками которого погибли их дети, или сестры, или братья, о похоронке на мужа или сына, полученной с фронта... Казалось, даже воздух этого подвала пропитан ненавистью к фашистам.

Федор Васильевич потрясенно слушал, губы его дрожали.

Выговорившись, люди стихли. Матери стали успокаивать проснувшихся детей, старики понуро опустили головы...

«Боже мой, почему я здесь, а не на фронте?! — хотелось крикнуть Валицкому. — Разве уже все окопы и эскарпы отрыты, все доты построены, все надолбы установлены, все мосты взорваны, разве нет применения моим знаниям, моему опыту?!»

Ритм метронома вдруг переменился: стал спокойным, размеренным. Прошла минута, другая, и голос диктора из черной тарелки репродуктора, прикрепленной к стене подвала, объявил:

— Обстрел района прекратился. Отбой!

Люди стали подниматься со своих мест. Направился к двери и Валицкий.

Кто-то тронул его за рукав. Федор Васильевич обернулся. Рядом шел старик — сосед по скамейке, он тихо сказал:

— Но мы его найдем, этого дьявола... Дети наши его найдут... Найдут и втопчут в землю. Вот так, вот так!.. — И старик яростно топнул ногой по гулкому каменному полу.

Следующий день прошел у Валицкого так же бесцветно, как и предыдущие.

Федор Васильевич зашел в Архитектурное управление, чтобы сообщить, что телефон его выключен и в случае надобности его следует вызывать открыткой или телеграммой, пообедал в учрежденческой столовой, к которой был прикреплен, и к шести часам вечера возвратился домой.

Ему казалось, что сегодня его должна навестить Вера. Почему? Да потому, что, узнав вчера, что телефон его отключен, она наверняка постарается зайти. И скорее всего это будет именно сегодня, в то время, когда обычно она звонила, то есть часов в восемь вечера.

Так убеждал себя Валицкий.

Он понимал, что его предположение сконструировано чисто логически, без учета многих обстоятельств: Вера может быть настолько занята, что вообще не сумеет отлучиться из госпиталя, и тем более мало вероятно, что она придет именно сегодня.

И все же Валицкий ждал ее. Ему хотелось видеть Веру не только потому, что она могла получить письмо от Анатолия, — сам Федор Васильевич вот уже третью неделю не имел вестей от сына. Нет, она была нужна, необходима ему сама по себе: даже телефонного разговора с Верой было достаточно, чтобы Федор Васильевич перестал чувствовать себя заброшенным и одиноким.

И вот он сидел в кресле, дочитывая, чтобы скоротать время, ту самую повесть Марка Твена, на которую так случайно наткнулся вчера. То и дело он откладывал книгу, брал карандаш и задумывался над наброском памятника Победы. Потом устремлял взгляд на желтый металлический циферблат стоящих в углу старинных часов, следил за тем, как короткими, едва заметными рывками передвигается черная минутная стрелка.

Метроном звучал размеренно-спокойно. И это обстоятельство заставляло Валицкого еще сильнее верить в то, что Вера обязательно придет, поскольку во время воздушного налета или артиллерийского обстрела движение по улицам прекращалось.

Пытаясь отвлечься от мыслей о Вере, Валицкий снова принялся читать. Злые, остроумно-парадоксальные рассуждения сатаны на какое-то время поглотили его внимание, однако с первым же ударом часов он отодвинул книгу.

Часы пробили восемь раз.

«Это еще ничего не значит! — успокаивал себя Валицкий. — Только бы не объявили тревогу!..»

В пятнадцать минут девятого Федор Васильевич начал сомневаться в том, что Вера сегодня придет, а в половине девятого уже окончательно понял, что ждет напрасно.

«Да почему, собственно, я был так уверен, что Вера придет именно сегодня? — спросил он себя. — Разве она обещала? Это все мои наивные расчеты. Она может прийти в любой другой день...»

«А может быть, не придет вовсе? — с тревогой подумал Федор Васильевич. — Ведь просто нелепо предполагать, что я значу для нее столько же, сколько она для меня. Если рассуждать трезво, то ничто не связывает ее со мной. Анатолий? Но она может переписываться с ним самостоятельно. Чувство жалости к одинокому старику? Смешно верить, что это чувство может занимать какое-то место в душе Веры, почти круглые сутки поглощенной работой в госпитале. Что ей до меня, зачем я ей — старый, чужой человек?!» — с горечью спросил себя Федор Васильевич.

И в эту минуту раздался резкий звонок.

«Пришла, все-таки пришла!» — торжествующе подумал Валицкий, вскочил, рывком отодвинув кресло, и трусцой побежал в прихожую.

Не зажигая света, нащупал рубчатое колесико старинного английского замка, повернул его, распахнул дверь.

На лестничной площадке тоже было темно: в последнее время, экономя электроэнергию, свет по вечерам — тусклую синюю лампочку — включали только внизу, в подъезде. Поэтому Валицкий не сразу разглядел человека, стоящего на пороге.

Это была не Вера, а какой-то военный.

«От Толи?» — мелькнула радостная и вместе с тем тревожная мысль.

Военный спросил:

— Простите... Это квартира товарища Валицкого?

Голос его показался Валицкому странно знакомым.

— Да, да, — поспешно ответил Федор Васильевич. — Извините, я сейчас зажгу свет.

Он привычно нащупал на стене прихожей выключатель и повернул его.

В дверях стоял человек среднего роста, в сером военном плаще и фуражке. Первое, что бросилось Валицкому в глаза, были зеленые звезды в петлицах плаща. За время пребывания на фронте Федор Васильевич усвоил знаки различия и сейчас понял, что перед ним дивизионный комиссар.

— Не узнаете? — спросил военный. — А ведь мы встречались. Моя фамилия Васнецов.

«Боже мой, какая нелепость, какой я дурак! — смятенно думал Валицкий. — Ну, конечно же, это Васнецов, как же я не узнал его сразу?!»

— Извините, — смущенно проговорил Федор Васильевич, — это столь неожиданно... Прошу вас, товарищ Васнецов. Входите, пожалуйста, входите!

Он был ошарашен тем, что к нему домой вдруг пришел секретарь горкома партии, член Военного совета фронта! Почему? Зачем?

Васнецов снял фуражку.

— Прошу извинить за вторжение.

— О чем вы! Я так рад... Пожалуйста, раздевайтесь, снимите ваш плащ...— растерянно говорил Валицкий.

Он и впрямь был вне себя от радости: перед ним стоял человек из того мира, от которого он, Валицкий, был отторгнут и в который рвался всем своим существом, — человек из гущи военных событий...

Васнецов снял плащ и теперь выглядел так, как тогда, когда Валицкий видел его вместе с Ворошиловым в дивизии народного ополчения, — в гимнастерке со звездами в петлицах, с красной комиссарской звездой на рукаве.

— Прошу вас ко мне в кабинет, прошу, товарищ дивизионный комиссар... Сергей... Сергей Афанасьевич, если мне не изменяет память?.. Садитесь вот сюда, садитесь, пожалуйста... Это все так... так

неожиданно!.. Разрешите предложить вам чаю... Правда, я сейчас живу один, и у меня...

— Нет, нет, Федор Васильевич, благодарю вас, — остановил его Васнецов. — У меня, к сожалению, очень мало времени. У вас не работает телефон...

— Да, да, представьте себе!.. — воскликнул Валицкий. — Вчера мне неожиданно позвонили с телефонной станции и...

— Я знаю. К сожалению, мы вынуждены были отключить все частные телефоны. Не хватает линий связи для военных нужд.

— Разумеется, конечно, я понимаю, — торопливо сказал Валицкий, подумав, что Васнецов может истолковать его слова как претензию. — Но из-за этого вам, как я понимаю, пришлось побеспокоиться...

— Ну, какое тут беспокойство, — заметил Васнецов, — я заехал по делу. К тому же был рядом, в штабе, на площади Урицкого. Прошу вас, Федор Васильевич, сядьте, а то неудобно — я сижу, а вы...

— Да, да, конечно, с удовольствием... — пробормотал Валицкий, опускаясь в кресло напротив, и по выработанной десятилетиями привычке машинально произнес: — Чем могу служить?

На какую-то долю секунды на лице Васнецова промелькнула улыбка. Но уже в следующее мгновение оно стало прежним: сосредоточенно-усталым.

— Во-первых, — сказал Васнецов, — я должен извиниться, что не ответил на ваше письмо об ополчении. Единственным моим оправданием, кроме очень большой занятости, может служить то, что вас наверняка не удовлетворил бы никакой ответ, кроме положительного.

— Именно на такой ответ я и рассчитывал! — прервал его Валицкий.

— Положительного ответа мы вам дать не могли.

— Простите, но...

— Не горячитесь, пожалуйста, я не хотел вас обидеть. С точки зрения субъективной вы поступили как настоящий советский человек, патриот. Но с точки зрения военной и, я бы сказал, государственной оставлять вас в ополчении было неправильно и нецелесообразно.

— Я категорически не согласен! — воскликнул Валицкий.

— Вот видите, — улыбнулся Васнецов, — вы не согласны даже теперь, когда мы беседуем. Следовательно, убедить вас письменно у меня не было никаких шансов. Однако я приехал к вам не для того, чтобы продолжать спорить. Есть дело, Федор Васильевич...

— Я к вашим услугам, — сказал Валицкий. — Согласен на любую работу. Я писал вам об этом.

— Мы создали несколько групп ученых из тех, кто остался в Ленинграде и выразил желание работать на оборону. Эти ученые, главным образом химики и инженеры-технологи, уже оказали армии огромную помощь в налаживании производства вооружения. Другая группа — преимущественно инженеры — занята на строительстве оборонительных сооружений в черте города. Они приступили к работе еще тогда, когда вы находились в ополчении, — добавил Васнецов, предвидя вопрос Валицкого, почему же его не зачислили в эту группу.

Тем не менее Федор Васильевич угрюмо сказал:

— Прошло уже немало времени с тех пор, как я вернулся в город...

— Верно, — согласился Васнецов, — но нам было известно, что ваша супруга ранена. Теперь, когда она эвакуирована, — другое дело.

Васнецов побарабанил своими тонкими, длинными пальцами по подлокотнику кресла и спросил:

— Федор Васильевич, вы действительно знакомы с техникой водоснабжения?

Вопрос Васнецова застал Валицкого врасплох. Однако уже в следующее мгновение он вспомнил, что в последней своей записке Васнецову упоминал и об этом.

— Будучи архитектором, я, естественно... — пробормотал он.

— Федор Васильевич, — не дал ему закончить Васнецов, — прошу вас внимательно меня выслушать. Не хочу скрывать, что город находится... — Васнецов помедлил, точно подбирая подходящие слова, — в очень трудном положении. Враг рвется с юга и юго-запада... — Устало покачал головой и повторил: — Очень трудное положение, Федор Васильевич.

Валицкий поднял на Васнецова свои водянистые глаза и неожиданно сказал:

— Сергей Афанасьевич, в начале войны вы были со мной более откровенны.

Васнецов посмотрел на него удивленно.

— Наверное, вы забыли нашу встречу в Смольном, — продолжал Валицкий. — Но я-то ее запомнил. Я был тронут тогда вашим доверием. Почему же теперь вы употребляете эти общие слова «с юга, с юго-запада»?.. Сергей Афанасьевич, — умоляюще и вместе с тем требовательно закончил он, — скажите прямо, где сейчас немцы?

— Хорошо, — глухо ответил Васнецов. — Враг захватил Урицк, Стрельну и находится у больницы Фореля.

Валицкий медленно опустил голову. Он сидел, будто придавленный к креслу. Он был ошеломлен.

Разумеется, Федор Васильевич знал из газет, что враг на подступах к Ленинграду. Но он не мог себе представить, что немцы почти в городе!

— Однако гитлеровские генералы делают ставку не только на свою, так сказать, живую силу, — донесся до него как бы издалека голос Васнецова. — Они стремятся сломить сопротивление ленинградцев, лишив их воды и электроэнергии.

Васнецов встал, сделал несколько шагов по кабинету, остановился у кресла, в котором все еще неподвижно сидел Валицкий, и снова заговорил:

— Немцы непрерывно бомбят и обстреливают объекты, которые обеспечивают город электроэнергией и водой. Нельзя исключить того, что им удастся вывести их из строя. Вы меня понимаете?

— Да, я вас понимаю, — почти беззвучно ответил Валицкий.

— Необходимо немедленно создать резервную сеть колодцев и скважин, и в первую очередь в районе заводов, производящих вооружение. — Теперь Васнецов говорил сухо, деловито. — Сегодня утром мы обсуждали этот вопрос на заседании Военного совета. Решено объединить все городские организации, связанные с бурением на воду, а также создать группу гражданских инженеров по подготовке города на случай перерыва в водоснабжении. Мы просим вас, — он положил руку на острое плечо Валицкого, — включиться в эту работу, причем на наиболее угрожаемом участке — на территории Кировского завода...

Валицкий, охваченный отчаянием после известия о положении города, постепенно приходил в себя. «Я нужен, нужен! Обо мне вспомнили!» — думал он. Он еще не представлял себе, в чем конкретно будет заключаться его работа. Главное, что ему доверяют, на него рассчитывают, его участие в обороне города столь необходимо, что сам Васнецов счел возможным лично приехать к нему!

Васнецов подошел к письменному столу, поднес к глазам лежавший там рисунок и спросил:

— Федор Васильевич, скажите, пожалуйста, что это такое?

Валицкий поднял голову и увидел, что Васнецов рассматривает эскиз памятника.

— Это... это так... — смущенно забормотал Федор Васильевич, — просто так, от безделья... так сказать, проба пера... карандаш просился в руки... Бросьте, пожалуйста, вот туда, в корзину!

— Зачем же?.. — пожал плечами Васнецов и еще раз взглянул на рисунок. — Что же это все-таки такое?..

— Видите ли... ну, как бы это вам сказать... — сбивчиво начал Валицкий, — я подумал о том, что, может быть, после войны нам следует установить памятник Победы... в районе Нарвских ворот... Так сказать, в ознаменование... Разумеется, — добавил он поспешно, — это я набросал просто так... для себя... Во всяком случае, сейчас...

Он хотел сказать: «Сейчас, когда немцы находятся в нескольких километрах от Путиловского завода, не до памятников Победы», — но почувствовал, что не в силах произнести эти слова.

Что-то дрогнуло в сурово-сосредоточенном лице Васнецова, на какое-то мгновение оно приобрело совсем иное, незнакомое Валицкому выражение: глубоко запавшие глаза посветлели, чуть дрогнули уголки плотно сжатых губ...

— Спасибо вам, Федор Васильевич... — тихо сказал Васнецов.

— Да что вы! — смущенно воскликнул Валицкий. — Это же просто набросок для себя, не имеющий никакого художественного значения!

— Он имеет другое значение, — задумчиво проговорил дивизионный комиссар, — и сейчас это важнее... Значит.... вы верите?

Вначале Федор Васильевич не понял смысла его вопроса, ему показалось, что Васнецов спрашивает, уверен ли он, Валицкий, в необходимости такого памятника. Но уже через секунду он осознал, что речь идет совсем о другом, куда более серьезном.

— Верю ли я? — проговорил Валицкий.

Федор Васильевич посмотрел прямо в глаза Васнецову и, пожалуй, только сейчас понял, как смертельно устал этот человек, понял, что существует он — говорит, движется, живет, — поддерживаемый лишь страшным напряжением нервов и воли.

— Я... несмотря ни на что, верю, — сказал Валицкий. — А вы? — И тут же смущенно умолк, поняв всю нелепость своего вопроса.

Какое-то мгновение длилось молчание.

Валицкий нарушил его первым.

— Мне казалось... — тихо проговорил он, — что вы тоже нуждаетесь в поддержке. Ведь вы тоже человек, а ноша ваша огромна. Может быть, с моей стороны бестактно, глупо... Но я хочу сказать вам то, о чем вы, может быть, не знаете... или не придаете этому серьезного значения... Вы разрешите?

Федор Васильевич понимал, что не имеет права назойливо задерживать Васнецова, у которого, конечно же, на учете каждая минута... Но был не в силах бороться с охватившим его желанием высказаться.

— Я слушаю вас, — серьезно сказал Васнецов.

— Простите меня, Сергей Афанасьевич, но вы, партийные люди, разбираетесь во многом таком, что для меня является книгой за семью печатями... Вы умеете делать революции. Вы сумели поднять на дыбы всю Россию. Я не мог себе представить, что за столь короткий срок можно преобразовать такую огромную страну. То, что вы сумели сделать, потрясает! Но не кажется ли вам, что кое-что вы... ну, как теперь принято говорить, недооцениваете? И сейчас самое время вам об этом напомнить!

— Что именно вы имеете в виду? — с явным удивлением спросил Васнецов, бросая быстрый взгляд на часы.

Валицкий не заметил этого взгляда. Да если бы и заметил, то не смог бы остановиться. Его, как говорится, уже «занесло».

Он по-петушиному вздернул голову и продолжал:

— Сергей Афанасьевич, часто ли вам приходит в голову тот исторический факт, что Россия в конечном итоге никогда не покорялась интервенции?

Никакой! Ни татарской, ни монгольской, ни тевтонской, ни шведской, ни французской, ни той, что была тогда, в восемнадцатом? Нет, нет, простите, я хочу закончить свою мысль! — запальчиво воскликнул он. Ему показалось, что Васнецов хочет прервать его. — Пожалуйста, не думайте, что с вами говорит малограмотный в политическом отношении старик! Я все понимаю: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Не нации, а классы разделяют людей». Все это я слышал, знаю, хотя не побоюсь сказать, что я лично всю жизнь делил людей лишь на порядочных и подлецов, но это уже другой вопрос. Так вот, теперь, когда немцы где-то возле Путиловского, мне хочется напомнить вам, что Россия никогда не покорялась врагу! И никогда не покорится. Никогда! — повторил он и потряс в воздухе пальцем. — Это был бы исторический нонсенс! Это невозможно!

Высказав все, что он считал нужным, Валицкий вдруг подумал: «Ну вот, прочел неуместную лекцию человеку, который сам привык учить других!..» На его лице появилось выражение растерянности. Он торопливо проговорил:

— Ради бога, простите... Я задержал вас...

Васнецов молчал. Он снова взял со стола листок с рисунком памятника, несколько мгновений вглядывался в него, точно стараясь рассмотреть нечто такое, чего не увидел в первый раз, потом перевел взгляд на Валицкого и, едва заметно улыбнувшись, спросил:

— Федор Васильевич! Каким видите вы цвет знамени, которое держит в руках этот боец?

— Знамя? — недоуменно переспросил Валицкий. — Красное, конечно. Но... вы же понимаете, это не картина, палитра гранита не столь разнообразна... Впрочем, разумеется, техническими средствами можно добиться определенной контрастности... Но я прошу вас, — внезапно заторопился он, — бросьте этот листок. Я уже сказал, что это просто так, для души...

— «Для души»! — повторил Васнецов, чуть сощурился и сказал: — Вот видите, душа вас не обманывает, вы чувствуете, что победить можно только под красным знаменем, ведь верно?

— Ну... ну кто же в этом сомневается? — пробормотал Валицкий, обеспокоенный мыслью, что Васнецов неправильно его понял и может составить о нем совершенно превратное впечатление. — Я еще раз прошу простить меня за то, что задержал вас своими разглагольствованиями. Вы, несомненно, торопитесь...

— Да, вы правы, я тороплюсь, — подтвердил Васнецов, — но, знаете, большевики — странные люди. Они никогда не уходят, не доспорив до конца, когда дело касается политики. Это уж у нас в крови.

Он бережно положил листок на стол и сказал с дружеской улыбкой:

— Дорогой вы мой Федор Васильевич, с чего это вы взяли, что мы, партийные люди, не знаем характера народа, с которым вместе делали революцию? Да, вы правы, русский народ всегда защищал свою Родину. С дубиной, с рогатиной, с мечом, с шашкой, с винтовкой — всегда! И тем не менее если бы интервенты в восемнадцатом задумали расчленить не советскую, а царскую Россию, боюсь, что они добились бы успеха. Вспомните, сколько времени длилось татарско-монгольское иго...

— На это были свои исторические причины! — снова запальчиво воскликнул Валицкий.

— Ну, разумеется, — готовно согласился Васнецов. — Я просто напомнил об этом, чтобы сказать: далеко не всегда один лишь национальный дух народа оказывается в силах противостоять лучше организованному и хорошо вооруженному врагу.

Он помолчал немного и продолжал с горечью:

— Федор Васильевич, мы с вами оба отдаем себе отчет в том, как трудно сложилась для нашей страны эта война. Но Гитлер объявил, что покончит с Советской страной в полтора, максимум в два месяца. Прошло уже три месяца, а мы стоим. Так вот, я хочу вас спросить, — с неожиданной горячностью и даже страстностью произнес Васнецов, — неужели вы думаете, что старая Россия, даже с поправкой на естественные темпы ее развития, могла бы устоять против этого нашествия? Вспомните первую мировую войну! Вы скажете, что и сегодня врагу противостоит исконная ненависть русских к любым интервентам? Согласен. Но сегодня русские стоят насмерть не только потому, что они русские, а потому, что они советские русские! И другие народы нашей страны стоят бок о бок с нами, потому что они советские люди. Советские! И война эта не просто схватка двух государств, но двух систем, двух образов жизни, двух идеологий!

Легкий румянец покрыл впалые, до синевы выбритые щеки Васнецова. Потом на его лице появилась ироническая усмешка.

— Нет времени доспорить с вами насчет порядочных и подлецов. Хочу лишь спросить: те немцы, которые протянули руки к нашим глоткам, они какие? Нет, вы ответьте, ответьте! — воскликнул он, видя, что Валицкий протестующе пожал плечами. — Ведь если согласиться с вашим, так сказать, чисто домашним делением, то и среди них есть и те и другие, так? Нет, дорогой мой Федор Васильевич, тех немцев, которые терзают сейчас нашу землю, определяет единственное и главное: они фашисты. Пусть разные по степени своей субъективной приверженности к фашизму, но именно сущность фашизма, его цели определяют сегодня их поведение! Здесь, в стенах вашего дома, вы вполне можете обойтись своими критериями порядочности и подлости. Но как только вы вступаете в классовую борьбу, единственным верным критерием стано-

вится реальная принадлежность к тому или иному лагерю. За ту идею, которую мы с вами считаем справедливой, за то знамя, что держит в руках этот боец, — он кивнул на рисунок Валицкого, — стоит сражаться и не жалко отдать жизнь. Вот так!

Он сощурил свои глубоко запавшие глаза и добавил:

— Теперь я могу ответить на ваш вопрос. Вы спросили, верю ли я. Да, Федор Васильевич, я верю. Непоколебимо верю!

Он прошелся по кабинету и уже другим тоном, тепло и участливо спросил:

— Куда эвакуировалась ваша супруга? Где она сейчас?

— Под Куйбышевом. У дальних родственников, — коротко ответил Валицкий. Он все еще находился под впечатлением страстных слов этого на первый взгляд сурового, замкнутого человека.

— Может быть, ей надо в чем-то помочь? Я могу поручить связаться с Куйбышевским обкомом партии.

— Нет, нет, что вы! — поспешно ответил Валицкий. Мысль о том, что обком партии будет в этой обстановке заниматься делами его семьи, показалась ему и в самом деле нелепой.

— Если не ошибаюсь, у вас есть сын?

— Да. Он на фронте.

— Спасибо вам, Федор Васильевич! — сказал Васнецов.

— За что же? — воскликнул Валицкий. — Это я вас должен благодарить!.. Я пережил ужасные дни в сознании, что не могу... участвовать... Часами бесцельно сидел за этим столом, читал какую-то дикую повесть...

— Эту? — спросил Васнецов, беря со стола раскрытую книгу. Полистал и спросил: — Английская?

— Да, Марк Твен. Помните? Ну, Том Сойер и прочее. Никогда не думал, что у него есть такое странное произведение.

— О чем?

— Бог знает что! — торопливо пояснил Валицкий. — О дьяволе. Философская повесть. Дьявол утверждает, что жизнь человечества в целом и каждого человека в отдельности предрешена и что любая попытка изменить ход событий влечет за собой страшные последствия... Извините, все это глупости, вам не до них.

— Рассуждения этого дьявола в общем-то не новы, — усмехнулся Васнецов. — Немало дьяволов в человеческой истории делали все от них зависящее, чтобы внушить людям мысль о покорности судьбе. Но революционерам, большевикам эта мысль ненавистна. Мы не покоримся никогда и никому. В том числе и немецкому фашизму. Недавно в горком пришло письмо от группы бойцов и командиров. Как бы вы думали, о чем? О том, какому наказанию следует подвергнуть Гитлера и его шайку, когда мы победим.

— К сожалению, это неактуально и пока не имеет практического значения, — с горечью проговорил Валицкий.

— Имеет! — убежденно сказал Васнецов. — Все имеет практическое значение. И ваш проект памятника, и то письмо. В них — вера в победу. Вера, несмотря на то, что враг на пороге! Кстати: я вас очень прошу сохранить этот эскиз. Уверен, он пригодится.

Часы пробили половину десятого.

Васнецов быстро взглянул на медный циферблат, сверил время со своими часами и заторопился:

— Надо ехать. Итак, горком просит вас, Федор Васильевич, завтра же утром отправиться на Кировский. Вам приходилось бывать когда-нибудь на этом заводе?

— К сожалению, нет. Все мои связи с бывшим Путиловским ограничились тем, что комиссар той ополченской дивизии, где я служил, был как раз оттуда. Иван Максимович Королев.

— Королев вновь на заводе, — заметил Васнецов. — Дирекция поставила вопрос о возвращении в цеха наиболее старых и опытных специалистов. — И повторил: — Значит, утром — на Кировский. Указания насчет вас будут даны. Вам предстоит срочно выяснить, хватит ли там уже пробуренных скважин, достаточно ли оборудования... Словом, в состоянии ли завод перейти на автономное водоснабжение, если городская сеть будет разрушена. Пропуск вам доставят завтра к восьми утра.

Он протянул Валицкому руку.

В это время из репродуктора прозвучал голос:

— Граждане! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение по улицам прекратить. Населению укрыться.

Зачастил метроном.

— Вам придется обождать, Сергей Афанасьевич! — озабоченно сказал Валицкий. — Знаете, теперь пошли такие строгости! У нас есть неплохой подвал. Я, правда, старался избегать...

— И очень напрасно, — сказал Васнецов. — Надо обязательно спускаться в убежище. Это приказ.

Радуясь, что Васнецов остается, и испытывая чувство некоторого смущения оттого, что подвал плохой, сырой, полутемный, Валицкий медленно шел рядом с ним по лестнице.

Подъезд был уже наполнен людьми — вниз, в убежище, вела из вестибюля узкая лестница, по которой могли одновременно спускаться не больше двух человек.

— Ну вот, — сказал Васнецов, — теперь до свидания.

— А разве вы?.. — растерянно сказал Валицкий.

— Работа, Федор Васильевич, работа! — скороговоркой проговорил Васнецов. — А вам сейчас — вниз! А утром — на Кировский. Договорились?

И, пожав Валицкому руку, дивизионный комиссар пошел к выходу, пробираясь между толпящимися людьми.

Глава XIII

Проходная Кировского завода была слабо освещена свисающими с потолка лампочками, окрашенными в синий цвет. Деревянные барьеры образовывали узкие проходы к дверям, за которыми начиналась территория завода.

У дверей стояли две женщины. Одна пожилая, высокая, плотная, с лицом, покрытым рябинками, другая помоложе и пониже ростом. Обе они были одеты в брезентовые куртки, из-под юбок выглядывали сапоги, на ремнях висели брезентовые кобуры с наганами.

Звягинцев вытащил из кармана гимнастерки свое удостоверение. Одна из женщин взяла его, нахмурив брови, полистала, прочла командировочное предписание.

— Куда следуете?

— В штаб обороны, — нетерпеливо ответил Звягинцев.

Вторая, перегнувшись через перила, тоже заглянула в удостоверение и сказала:

— Ладно, Андреева, не задерживай командира, сейчас я позвоню.

Она сняла трубку плоского телефонного аппарата, висевшего в простенке между дверьми:

— Охрану мне! Кто это?.. Воронцова с проходной говорит... Тут военный товарищ хочет к вам в штаб пройти... Ясно!

Повесила трубку, поправила оттягивавшую ремень кобуру и сказала Звягинцеву:

— Сейчас придут. Обождите...

Где-то невдалеке разорвался снаряд. Потом второй.

— Кидает! — проговорила та, что назвалась Воронцовой, и поджала губы.

— Пристрелку делает! — отозвалась Андреева.

— А вы что же, во время обстрела здесь остаетесь? Я хотел сказать — на посту? — спросил Звягинцев.

— Это смотря какой обстрел, — несколько свысока ответила Воронцова. — Коли сюда палит, — у нас тут рядом щель вырыта. А так попусту не бегаем, проходную без охраны тоже не оставишь. Мало ли какая сволочь на завод может пробраться!

Из темноты в проходную шагнул пожилой, широкоплечий мужчина в ватнике, перепоясанном брючным ремнем, на котором тоже висела кобура, только не брезентовая, как у женщин, а из коричневой кожи.

— Лаптев, — представился он Звягинцеву. — Куда следуете, товарищ майор?

Все повторилось сначала. Лаптев пролистал удостоверение Звягинцева от первой странички, на которой значились имя, отчество и фамилия, до последней, где отмечалось, женат ли «предъявитель сего» или холост, а также номер личного оружия, затем, все так же не спеша, прочел командировочное предписание и только после этого вернул документы Звягинцеву.

— Пошли, товарищ майор, — сказал он.

В темноте, едва рассеиваемой возникшим где-то пожаром, Звягинцев разглядел несколько сторожевых башен, громаду танка КВ, стену бетонного дота.

Раздался звук автомобильной сирены — промчалась пожарная машина. Торопливо, но почти не нарушая строя, по четыре в ряд, придерживая на ходу санитарные сумки, пробежали девушки. Гулко и часто стучал из невидимых репродукторов метроном.

— Что горит? — спросил Звягинцев быстро идущего впереди Лаптева.

— Тигельная кузница, — ответил тот, не оборачиваясь, — совсем недавно загорелась... Шарахнул снарядом, сволочь, и...

Он не договорил: неподалеку оглушительно стала бить зенитка. Лаптев остановился и поднял руку. Звягинцев не сразу понял, к чему тот прислушивается... А когда и сам прислушался, то различил в короткие между выстрелами зенитки паузы далекое сверлящее гудение.

— На свет прилетел, гад, — сквозь зубы проговорил Лаптев, — сейчас фугаски бросит. Переждем?

Звягинцев спросил, далеко ли еще идти, но голос его потонул в грохоте зениток. Теперь стало совершенно очевидно, что стреляет не одна пушка и не две, а несколько, и стреляли они не только с территории завода, но и из соседних кварталов.

Неподалеку с грохотом разорвалась фугасная бомба. Лаптев схватил Звягинцева за руку и, с силой потянув в сторону, спрыгнул куда-то вниз, увлекая его за собой.

Спустя несколько секунд Лаптев включил карманный фонарик. Звягинцев увидел, что они находятся в глубокой, почти в человеческий рост, траншее. Стены и потолок ее были обшиты досками. Вдоль одной из стен тянулись скамейки.

Помня о задании, с которым он прибыл на Кировский, Звягинцев, оказавшись в убежище, решил не тратить времени зря.

— А ну-ка, дай фонарь, товарищ Лаптев, — сказал он и медленно двинулся вдоль траншеи.

Осветив узким лучом стены, посмотрел, как сделана обшивка, затем исследовал потолок и поддерживающие его стояки, прикидывая, выдержит ли крепление, если бомба разорвется в непосредственной близости.

С удовлетворением отметив про себя, что убежище сделано добротно, он выключил свет и протянул фонарик Лаптеву.

— Ну, давай, товарищ Лаптев, двигать дальше, — сказал он.

— Придется переждать, товарищ майор, — ответил Лаптев. — Трусом казаться перед военным че-

ловеком не хочу, но и зазря голову подставлять мне не к чему. Да и вам тоже.

— За мою голову не беспокойся, — недовольно проговорил Звягинцев. — Я к вам направлен не для того, чтобы в убежище сидеть.

— Само собой, — согласился Лаптев. — Только во время обстрела ходить по территории не положено. Ни майору, ни рядовому. Да это и не убежище вовсе, — сказал он, явно стараясь затянуть разговор. — Так, щель, можно сказать.

— И много у вас таких щелей? — спросил Звягинцев, начиная понимать, что спорить с упрямым Лаптевым бесполезно.

— По всей заводской территории отрыты. Для рабочих — на случай бомбежки.

— Почему же сейчас здесь пусто?

— Так ведь только один самолет пока прорвался. И обстрела настоящего нет. В первые дни, когда обстрелы в новинку были, многие сразу в щели бежали. А сейчас попривыкли. Несподручно взад-вперед бегать... Случается, обстрел по два часа длится. Потом перерыв минут на двадцать, и снова... Сами посудите, ног не хватит из цеха в щель и обратно бегать, да и работать тогда будет некогда.

— А если по цеху ударит?

— Ну, смотря какой обстрел. Если в район цеха долбают, тут уж не приходится ждать, пока стукнет. У нас и в самих цехах убежища устроены — в подвалах, в подсобках. А щели — это уж когда большая бомбежка с воздуха. Вот тогда без них не обойтись.

— Может быть, все-таки пойдем, товарищ Лаптев? — проговорил, теряя терпение, Звягинцев и, не дожидаясь ответа, решительно направился к выходу.

Он выбрался по ступенькам наружу, слыша, как за ним поспешно поднимается Лаптев.

В темноте — пожар, видимо, потушили — урчал танковый мотор, слышалась далекая пулеметная стрельба. По небу пронеслась очередь цветных трассирующих пуль. Неистово стучал метроном.

— Налево, налево, товарищ майор, — торопил Лаптев, увлекая Звягинцева куда-то в сторону. — Бегом теперь надо...

Бежать Звягинцеву было трудно: болела нога. «А еще на передовую рвался, инвалид несчастный!» — с отчаянием и злостью думал он.

Звягинцев готов был крикнуть Лаптеву, чтобы тот бежал помедленней, но вдруг где-то совсем неподалеку разорвался снаряд.

— Ложись! — по привычке крикнул Звягинцев и, падая, увидел, что Лаптев, как опытный боец, уже распластался на земле.

В темноте они не видели, что снаряд взметнул к небу огромный столб земли, разворотил несколько ящиков с демонтированными станками, приготовленными к отправке через Ладогу. Лишь услышали, как куски покореженного металла с визгом ударили в стену ближнего цеха. И снова стало тихо.

— Пошли! — крикнул Лаптев, вскакивая на ноги.

Звягинцев подхватил чемоданчик и шинель, которые, падая, он выпустил из рук.

Из невидимых репродукторов прозвучал громкий голос:

— Район пятого цеха подвергается артиллерийскому обстрелу! Рабочим цеха немедленно укрыться! Движение по территории завода прекратить!

— Давай сюда, майор! — решительно сказал Лаптев и быстрым шагом направился к едва различимой в темноте насыпи.

Приблизившись, Звягинцев увидел низкую дверь. Лаптев рванул ее на себя.

— Вниз, товарищ майор, вниз!

В полной уверенности, что Лаптев снова привел его в какое-то бомбоубежище, Звягинцев, проклиная в душе слишком уж осторожного провожатого, стал медленно спускаться вниз.

Но Лаптев открыл еще одну дверь, и Звягинцев застыл от удивления.

В ярко освещенной комнате стояли маленькие столики с телефонами, на укрепленных перпендикулярно к столикам панелях мигали разноцветные лампочки, у аппаратов сидели девушки в спецовках и косынках.

— Что это, узел связи? — недоуменно спросил Звягинцев.

— Наш штаб МПВО, товарищ майор,— ответил Лаптев. — Проходите.

Он провел Звягинцева в следующую комнату, где за столом сидел человек в гимнастерке и что-то писал в большой, напоминающей конторскую книге.

— Товарищ Дашкевич! — доложил Лаптев. — Вот товарища майора из штаба фронта к нашему начальству сопровождаю, только сейчас не очень-то пройдешь, снаряды кидает, сволочь! Пришлось к вам зайти.

— Знаю, что кидает, — угрюмо ответил Дашкевич и, дописав строчку, посмотрел на Звягинцева: — Здравствуйте, товарищ майор. Начальник штаба МПВО завода Дашкевич. Присаживайтесь.

— Товарищ Дашкевич, — решительно сказал Звягинцев, — я имею срочное задание штаба фронта и должен немедленно увидеться с руководством завода. Ждать просто не имею права. Поэтому прошу вас...

— Минуточку! — прервал его Дашкевич и снял трубку одного из телефонов:

— Ты это, Николай Матвеевич? Это я... Обстановка, значит, такая: бьет по четвертому километру, по Котляровскому парку и по Международному проспекту. У нас сейчас еще два снаряда положил, один у турбинного, другой недалеко от центральной лаборатории. Жертв нет. Очаги пожаров ликвидируются. Пока все. Постой! — спохватился Дашкевич. — Здесь у меня майор из штаба фронта находится. Его Лаптев к вам сопровождал, да вот на полпути под обстрел попали. Так... Ясно, Николай Матвеевич.

Он повесил трубку и сказал Звягинцеву:

— Приказано, пока не кончится обстрел, обождать здесь, майор. Посидите...

Кадровый командир, Звягинцев привык неукоснительно подчиняться приказам. Однако, хорошо понимая, что назначение на Кировский завод является заданием военным со всеми вытекающими отсюда последствиями, он все же не мог побороть в себе ощущения, что находится среди гражданских людей, в тылу, хоть и вблизи передовой. Поэтому резко ответил Дашкевичу:

— Кем это «приказано»? Я ведь не с улицы, а из штаба фронта!

— Ну, так тем более, майор, — подчеркнуто спокойно откликнулся Дашкевич. — Осколком по дороге шарахнет — задания штаба не выполните.

— Разве у вас люди все время под землей сидят? — иронически спросил Звягинцев.

— Не сидят, — согласился Дашкевич, — и рабочие и начальство находятся там, где им положено. Но и под бомбы не лезут... Слушай, подежурь наверху, — обратился он к Лаптеву, — как стихнет, доведешь майора до поликлиники...

Звягинцев хотел было спросить, при чем тут поликлиника, но в это время в комнату вошла одна из девушек-телефонисток и доложила:

— В городе объявлена воздушная тревога. Налет на Автово.

— Ясно, — нахмурился Дашкевич, взял ручку и вписал несколько строчек в свою конторскую книгу. Потом поднял голову и, спохватившись, сказал: — Так чего вы стоите, товарищ майор? Садитесь. Вижу, нога-то у тебя больная, — добавил он, дружески переходя на «ты».

Звягинцев молча сел.

Вошла другая связистка.

— Обстрел железнодорожной ветки в Автово,— доложила она. — С восьмой вышки видно, что на Лифляндской улице пожар.

Дашкевич кивнул, опустил ручку в чернильницу и снова что-то вписал в свою книгу. Потом придвинул к себе микрофон, включил его и четко объявил:

— Говорит штаб МПВО Кировского завода. Артиллерийский обстрел района продолжается. Всем вышкам и наземным постам вести наблюдение. Движение по территории завода не разрешается.

Щелкнув выключателем, отодвинул микрофон.

— Товарищ Дашкевич, — сказал Звягинцев, — может быть, вы разъясните некоторые порядки у вас?..

Звягинцев хотел, чтобы Дашкевич ввел его в курс дела, но тот решил, что майор снова рвется наверх.

— Так ведь у фашистов, сволочей, подлая тактика, — сказал он. — Мы-то ее уже знаем. Парой снарядов по заводу ударит и затихает, начинает по соседним районам бить. Мы успокоимся, люди из убежища выйдут, а он и давай беглым огнем в это время!.. Раз уж война, и нам учиться приходится...

Звягинцев почувствовал, как чуть дрогнул под ногами пол, точно где-то произошел подземный толчок. «Похоже, бомба», — мелькнуло в его сознании.

В комнату опять вошла связистка.

— Тяжелым бьет! — торопливо сказала она. — По южной и юго-западной части. Подряд девять снарядов. Три человека убито, двое ранено.

В спокойном, медлительном на вид Дашкевиче произошла мгновенная перемена. Резким движением он снял трубку:

— Пожарные машины — в район обстрела, быстро! Юг и юго-запад. Санитарной команде и спасателям — туда же.

Сорвал трубку другого телефона:

— Товарищ Зальцма́н?.. Дашкевич. Тяжелым калибром бьет по южной и юго-западной части. По предварительным данным, трое убитых, двое раненых... У меня все. Слушаю, ясно... понял... ясно.

Придвинул микрофон, щелкнул выключателем и раздельно произнес:

— Говорит штаб МПВО. Противник обстреливает территорию завода. Всем наблюдательным постам докладывать обстановку каждые пять минут. На вышках следить за линией фронта. О любых замеченных передвижениях противника докладывать немедленно. Начальникам цехов в районе обстрела обеспечить укрытие рабочих.

Выключив микрофон, провел рукавом гимнастерки по взмокшему лбу, невесело усмехнулся и сказал:

— Видишь, майор, каково тут...

Звягинцев с интересом наблюдал за работой штаба МПВО. Если вначале ему казалось, что он теряет драгоценное время, что ему надлежит чем-то распоряжаться, чем-то командовать, то теперь он убеждался в том, что противовоздушная оборона завода организована отлично и ему очень полезно детальнее ознакомиться с постановкой дела.

— Я прибыл с заданием оказать посильную помощь заводу в организации обороны на случай прорыва немцев, — сказал Звягинцев. — Вот мои документы. — Он вынул из кармана гимнастерки удостоверение и командировочное предписание. — Если есть возможность, ознакомьте меня с системой организации противовоздушной обороны завода.

Дашкевич мельком взглянул на документы.

— Долго рассказывать обстановка не позволяет. А коротко — постараюсь. У нас несколько спецформирований: пожарное, противохимическое, медицинское... Дежурят и на наземных постах, и на наблюдательных вышках. Со всеми постами имеем прямую телефонную связь.

Он не успел закончить. В комнату одна за другой стали входить связистки, докладывая о сообщениях наблюдательных постов и начальников цехов. Из их информаций следовало, что новых жертв нет, очаги пожаров ликвидируются, существенных изменений на линии фронта, проходящей в четырех

километрах от завода, не наблюдается. Бой идет за больницей Фореля.

Дашкевич торопливо отмечал все это в своем огромном журнале, пока не раздался новый телефонный звонок. Не отрывая пера от бумаги, он снял трубку, назвал себя, молча выслушал и ответил: «Есть».

— Приказано проводить вас к руководству, — обратился он к Звягинцеву и, вызвав одну из связисток, попросил ее позвать Лаптева.

Через мгновение тот появился на пороге.

— Доставишь товарища майора к руководству.

Звягинцев встал, подхватил с пола свой чемоданчик.

— Не пришлось договорить, товарищ Звягинцев, — протянул ему руку Дашкевич. — В процессе работы со всем ознакомитесь.

После тишины подземелья Звягинцев вновь оказался в гулком, тревожном мире. В отсвете пожаров вырисовывались контуры заводских корпусов — старых, «путиловских», с овальными крышами, и новых, современных. На крышах он увидел людей: они хватали щипцами горящие предметы — то ли «зажигалки», то ли куски пылающего дерева — и сбрасывали вниз, на землю.

Неподалеку дружинники в брезентовых куртках и пожарных касках растаскивали в стороны обугленные стены какого-то дощатого строения. Проехала «эмка», искусно лавируя между траншеями и дотами. Прошла колонна вооруженных винтовками рабочих.

Звягинцев отметил про себя: каждый хорошо знает, что должен делать. Ни суеты, ни бесцельного движения.

Наблюдая за происходящим, Звягинцев невольно замедлил шаг, но Лаптев требовательно сказал:

— Прошу побыстрей, товарищ майор! Сюда давайте, за мной...

Наконец он вывел Звягинцева к небольшой площади, на которой располагалось несколько зданий. Над дверью дома, к которому они подошли, было написано: «Поликлиника».

— Послушайте, товарищ Лаптев, — недоуменно проговорил Звягинцев, — мне ведь к руководству надо, а не к медикам!

— А я вас туда и веду, — не оборачиваясь, ответил Лаптев.

Они обошли здание, вошли в маленький подъезд и стали спускаться вниз.

Отворив дверь в подвальное помещение, Звягинцев сощурился от яркого света. В небольшой комнате вокруг письменного стола сидели три человека.

— Разрешите? — произнес Звягинцев.

Люди подняли головы. Двое из них были ему незнакомы. Третьего, Васнецова, он узнал сразу.

Звягинцев сделал два шага вперед и отрапортовал:

— Товарищ член Военного совета! Майор Звягинцев прибыл на завод из штаба фронта для оказания помощи в строительстве оборонительных сооружений.

— А, здравствуйте, майор, старый знакомый,— сказал Васнецов, устало улыбаясь. — Командующий говорил, что послал сюда военного инженера... Значит, вы и есть этот инженер? Что ж, представляйтесь своему новому начальству.

Звягинцев, не зная, кому должен в первую очередь представиться, смотрел на сидящих за столом незнакомых ему людей. Один из них, невысокий, черноволосый, был в обычном гражданском костюме, в пиджаке и белой сорочке, с галстуком; другой, повыше ростом, широкоплечий, коротко подстриженный, с густыми, мохнатыми бровями — в гимнастерке без знаков различия.

Васнецов, видимо, почувствовав замешательство майора, указал на черноволосого:

— Директор завода товарищ Зальцман. — Затем перевел взгляд на того, что был в гимнастерке: — А это парторг ЦК на Кировском товарищ Козин.

Зальцман встал, протянул Звягинцеву руку. Поздоровался и Козин.

— Присаживайтесь, майор, — сказал Васнецов, — продолжим, товарищи.

Звягинцев сел к столу.

— Товарищ Козин, — поторопил Васнецов, — вы остановились на секторах обороны.

— Партком полагает разделить территорию на три сектора обороны. — Козин провел пальцем по расстеленному на столе плану заводской территории и прилегающих к ней районов. — Первый сектор пройдет от угла улицы Стачек и переулка Газа вдоль заводского забора, через виадук, по железнодорожной насыпи и далее, мимо проходной по улице Калинина к старому чугунолитейному цеху, до центральной лаборатории. Второй сектор будет включать турбинный цех, деревню Алексеевку, ремесленное училище и Главную контору... Третий сектор — от калининской проходной через водокачку, вдоль забора завода имени Жданова, до турбинного и механического цехов. Часть отрядов начала занимать позиции впереди — вроде боевого охранения. Они поддерживают связь с дивизией Папченко...

Звягинцев слушал парторга, весь напрягшись. Он уже понимал, что речь идет не просто о строительстве оборонительных укреплений, так сказать, впрок, на всякий случай, а о том, что сама эта территория может оказаться в ближайшем будущем полем боя.

«Но как же так?.. Неужели с того времени, как я говорил с Королевым, положение на фронте снова ухудшилось?» — думал Звягинцев.

— Истребительный батальон составит второй эшелон, — продолжал докладывать Козин,— ему поручена оборона завкома, старой кузницы и турбинного цеха. Артдивизион...

За дверью послышался шум, громкие голоса. Все подняли головы. Зальцман встал, чтобы посмотреть, что происходит.

В этот момент дверь распахнулась, и в комнату ворвался странный человек: на нем была белая, но перепачканная грязью сорочка со сдвинутым куда-то набок галстуком-бабочкой, седые волосы растрепаны. Потрясая в воздухе какой-то бумагой, он с порога закричал:

— Это... это черт знает что такое, товарищ Васнецов! Я узнал, что вы здесь, и хочу немедленно переговорить с вами, но меня не пускают! Насколько я понимаю, меня послали сюда не в бирюльки играть, а выполнять важное военное задание!..

Звягинцев с недоумением смотрел на долговязого седого старика, который столь бесцеремонно ворвался на заседание руководителей завода и, игнорируя остальных, обращается в таком тоне прямо к Васнецову. По выражению лиц Зальцмана и Козина он понял, что человек этот им известен, но и они удивлены его вторжением.

Старик подбежал к столу, бросил поверх лежащего там плана завода лист кальки, на котором тушью была вычерчена какая-то схема, и, тыча в нее пальцем, продолжал кричать:

— Вот посмотрите, сделайте одолжение, что будет, если эта линия выйдет из строя?! Где обводная часть? Я спрашиваю, где обводная часть, извольте мне ответить?!

— Извините, пожалуйста, — строго сказал Зальцман, — но мы ведь договорились, что по всем техническим вопросам вы будете обращаться к главному энергетику, который получил необходимые указания...

— Прошу прощения, — прервал его старик все тем же тоном, — это не технический, а чисто оборонный вопрос! О-бо-рон-ный! — еще более распаляясь, прокричал он по слогам. — Что же касается вашего главного энергетика, то он отличный специалист, но час тому назад, невзирая на его протесты, у нас сняли тридцать человек рабочих! Мы еще вчера составили дополнительную схему — вот она лежит перед вами, — чтобы ее осуществить, необходимо провести трубопроводы сюда и сюда, надо поставить резервные насосы на случай, если будет перебита одна из линий. Полсуток рабочие вели работы, не прекращая их даже во время обстрела, а теперь, видите ли, они кому-то понадобились!..

Наконец он замолчал, видимо исчерпав все аргументы и полностью излив свое возмущение.

— Федор Васильевич, — тихо сказал Васнецов, — в последние часы ухудшилось положение на фронте. Вы представьте себе, что будет...

— Нет, позвольте! — визгливо перебил Васнецова старик. — Это вы, уважаемый Сергей Афанасьевич, представьте себе, что произойдет, если люди и завод останутся без воды! Я не спрашиваю, что рабочие будут пить и как смогут продолжать работать цеха. Но пожары! Я спрашиваю: чем вы будете тушить пожары?

— Товарищ Валицкий, — резко сказал, вмешиваясь в разговор, Козин, — рабочие, которых у вас забрали, сейчас пошли занимать боевые позиции на подступах к заводу. Вам это понятно?

«Валицкий?.. — машинально повторил про себя Звягинцев и вдруг подумал: — Неужели это опять тот самый?..»

— Мне все понятно, — выкрикнул Валицкий, — но...

Он вдруг осекся и умолк. Видимо, только в эту секунду до него дошел смысл сказанного Козиным.

— Да... простите... — пробормотал Федор Васильевич. — Но... но, — неуверенно проговорил он, — насколько я понимаю, одна задача не должна исключать другую... Вы же сами говорили, — растерянно посмотрел он на Васнецова, — что разрушение водоснабжения грозит... катастрофой...

Он весь как-то обмяк, стоял, беспомощно опустив руки.

— Примем меры, товарищ Валицкий, примем меры, — нетерпеливо проговорил Зальцман, — главный энергетик получит необходимые указания. Рабочие снова будут выделены. Дайте нам закончить.

— Да... да... простите... Я понимаю, что обращаюсь несвоевременно... — тихо сказал Валицкий, взял со стола свою кальку и направился к двери.

— Как вас здесь устроили, Федор Васильевич? — неожиданно спросил Васнецов.

Валицкий обернулся, непонимающе поглядел на Васнецова, пожал плечами:

— Боже мой, какое это имеет значение! О чем вы спрашиваете?.. О чем? — повторил он с горькой усмешкой. И вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь.

— Продолжим, — тяжело вздохнув, сказал Васнецов.

— Я остановился на указаниях артдивизиону, — снова склоняясь над планом, заговорил Козин. — Он займет позиции на подступах к деревне Алексеевке, улице Стачек и далее — по улице Якубениса, Новой улице, Чугунному переулку и улице Возрождения. Придадим дивизиону и минеров. Мин у нас, правда, маловато... У меня все.

Он вопросительно посмотрел на Васнецова.

Несколько секунд длилось молчание. Потом Васнецов спросил, оборачиваясь к Звягинцеву:

— Вы слушали внимательно, майор? Возможно, у вас есть какие-либо замечания или предложения?

«Что ответить? — лихорадочно думал Звягинцев. — Сказать, что еще не вошел в курс дела, и этим обнаружить, что в данный момент не могу принести никакой реальной пользы? Или, в свою очередь, задать несколько технических вопросов, высказать какие-то общие соображения, чтобы создать хотя бы видимость своей компетентности?.. Нет, — тут же резко возразил он себе, — это была бы

недостойная коммуниста и командира игра. В такой момент — даже преступная игра».

— Извините, товарищ дивизионный комиссар,— твердо ответил Звягинцев, — но в штабе меня ознакомили с положением на фронте лишь в самых общих чертах. К тому же с тех пор прошло не менее пяти часов. А главное, я почти незнаком с территорией завода. Хотелось бы посмотреть все на местности, в натуре. После этого буду готов доложить свои предложения.

Васнецов, помолчав, сказал:

— Вот что, товарищ Звягинцев. Относительно положения на фронте отвечу коротко: враг с часу на час может начать решающий штурм Ленинграда. Мы должны быть готовы к этому.

Он расстегнул планшет, вынул сложенную вчетверо карту и расстелил ее на столе.

— Смотрите. Противник уже ворвался в Урицк — Старо-Паново. Наши ведут бой перед Лигово и здесь, в районе больницы Фореля. Если немцам удастся прорвать оборону, бой перенесется в зону завода.

Звягинцев впился взглядом в прочерченную на карте красным карандашом линию.

— Говорите, плохо знаете территорию? — продолжал Васнецов. — А по плану, по схеме завода сможете сориентироваться?

— Разумеется, товарищ дивизионный комиссар, — ответил Звягинцев. — Но надо бы познакомиться с территорией, так сказать, визуально. Необходимо осмотреть оборонительные укрепления на местности

— Не забывайте — время, время! — резко подчеркнул Васнецов. — Часть рабочих отрядов уже занимает боевые позиции.

— Сколько времени вам надо?— спросил Зальцман, нетерпеливо поглядывая на часы.

— Ладно, не будем считать минуты, — решительно сказал Васнецов, складывая карту и пряча ее в планшет,— помогите майору быстрее ознакомиться с территорией и с уже созданными оборонительными укреплениями. Выделите в помощь ему знающего человека. Однако в вашем распоряжении, товарищ Звягинцев, не больше двух часов. Как только ознакомитесь с обстановкой, немедленно подготовьте приказ, где и какие доты и заграждения надо срочно достроить. Особенно противотанковые! А теперь, товарищ Зальцман, соедините меня со Ждановым.

Зальцман снял трубку телефона прямой связи со Смольным.

— Говорит Зальцман. Товарищ Васнецов хочет поговорить с Андреем Александровичем. — И передал трубку Васнецову.

В воцарившейся тишине были слышны или, скорее, угадывались по легким сотрясениям стен далекие разрывы бомб и снарядов.

— Это я, Андрей Александрович, — произнес наконец Васнецов. — Да, я все еще на Кировском. Хочу узнать, какова обстановка...

Молча слушал, все ниже склоняясь над столом.

— Так... Ясно... — проговорил он. — Сейчас выезжаю. Ничего, проскочу. — И положил трубку на рычаг.

— Немцы снова атакуют Пулковские, — глухо сказал он. — Пока безуспешно. Пытаются расширить и клин на Финском побережье, овладеть Петергофом. Действуйте, как решили. Когда будет готов проект боевого приказа на оборону, позвоните мне в Смольный.

Васнецов встал. Какое-то время он стоял неподвижно. Потом сказал тихо, но твердо и с какой-то особой проникновенностью:

— Обком и горком верят в кировцев и надеются на них. Так было всегда. И так будет всегда. — Помолчал и добавил: — Желаю успеха. Очевидно, мы... скоро снова увидимся.

Что хотел сказать этими словами Васнецов? Выразить ли непреклонную уверенность в том, что и в следующий свой приезд он застанет завод такой же неприступной крепостью? Или подчеркнуть, что если придется драться с врагом на ленинградских улицах, защищать заводские корпуса, то он, Васнецов, будет с кировцами, в рядах коммунистов, поднявшихся на последний, смертельный бой?..

Так или иначе, в, казалось бы, простых, будничных словах секретаря горкома был глубокий, внутренний смысл. И это поняли все. Может быть, потому рукопожатия, которыми обменялись с Васнецовым Козин, Зальцман и Звягинцев, были столь крепкими.

В тот момент, когда Васнецов прощался со Звягинцевым, Козин снял телефонную трубку и тихо произнес несколько слов, которые майор не расслышал.

Когда Васнецов ушел, Козин сказал Звягинцеву:

— Сейчас тут один товарищ должен прийти, наш старый кадровый рабочий, мастер, он отвечает по линии парткома за оборонительные сооружения. Он покажет вам боевые объекты, готовые и строящиеся. — Козин покачал головой. — В нелегкий день пришел ты к нам, товарищ майор. Но боюсь, что завтра будет еще труднее.

Зальцман осуждающе взглянул на парторга и нахмурился.

— Товарищ майор, — сказал он подчеркнуто деловито. — Может, у вас все же есть вопросы?

— Пока нет, товарищ директор, — ответил Звягинцев. — После осмотра территории доложу свои соображения.

— Тогда я хочу сказать вам кое-что, — сухо произнес Зальцман. — Мы поняли, что о заводе вы мало знаете. Верно?

— Ну, в Ленинграде нет человека, который не знал бы о Кировском, — возразил Звягинцев.

— Речь не об этом, — прервал его Зальцман. — О том, какую продукцию выпускаем, вам известно?

— В общих чертах. Я ведь работал в штабе фронта.

— В общих чертах теперь для вас недостаточно. Так вот, коротко информирую. Наша продукция сейчас — танки КВ, дивизионные и полковые пушки. Но хотя завод еще перед войной был переведен на оборонную продукцию, в смысле знаний тактики мы люди не очень военные. А ситуация складывается такая, что нашим рабочим, может быть, придется вести в бой свои танки и стрелять из своих же пушек. Поэтому я прошу вас помочь не только по части оборонительных сооружений, но и в подготовке людей к возможному бою. Знаю, времени в обрез, но... — Он помолчал и резко закончил: — Это все. Вопросов по-прежнему нет?

— Все, что смогу, сделаю, товарищ директор, — ответил Звягинцев. — Один предварительный вопрос: какими подразделениями располагает завод?

— Истребительный отряд, артдивизион, пулеметная рота, цеховые рабочие отряды для защиты непосредственно завода, — перечислил Зальцман. — И несколько тяжелых танков в полной боевой готовности с экипажами из рабочих.

— Неужели в этих подразделениях совсем нет кадровых бойцов? — с надеждой на утешительный ответ спросил Звягинцев.

— Нет.

— Но стрелять-то хотя бы эти люди умеют?

— Да, конечно, часть из них и в армии служила, — вмешался в разговор Козин, — но все же это не военные: рабочий народ, инженеры, техники. Освобождены от производства не все, а только четыреста пятьдесят—пятьсот человек, они на казарменном положении. В случае необходимости мы, конечно, можем выставить гораздо больше. Нужно будет — всех поднимем в бой!... И все-таки это завод, а не полк, не дивизия...

Звягинцев не сомневался, что, осмотрев территорию завода, быстро сориентируется в обстановке и сможет помочь в строительстве оборонительных укреплений.

Но сейчас шла речь не только об этом. Надо быть готовым к непосредственному столкновению с противником! А опыта ведения боя среди зданий, фактически в городских кварталах, он, Звягинцев не имел никакого.

— Что ж, будем вместе думать и решать, — сказал он. — Еще вопрос. Если до самого последнего момента завод будет выпускать продукцию, а врагу удастся ворваться...

— Ни один танк, ни одна пушка, ни один цех врагу не достанутся, — резко прервал Звягинцева Козин. — На этот случай все предусмотрено и утверждено в Смольном. У индукторов дежурят надежные люди. Те... — он на мгновение умолк, точно горло его свела судорога, и закончил уже совсем тихо: — Те, у кого рука не дрогнет, хотя завод для них дороже жизни... — Он отвернулся, чтобы скрыть свое волнение. Потом сказал: — С этими делами мы ознакомим вас позже. Сейчас главное — боевая готовность. Если немцы прорвутся сюда, будем драться за каждый цех, за каждый метр заводской территории!..

Открылась дверь. Зальцман поднял голову и, глядя поверх плеча Звягинцева, поспешно сказал:

— Давай, давай, Максимыч, входи, ждем!

Звягинцев обернулся. Перед ним стоял Иван Максимович Королев...

Он был все в той же военной форме, которую носил, когда Звягинцев встретился с ним под Лугой, даже красные петлицы не спороты, только на месте комиссарских «шпал» остались не тронутые солнцем следы.

Иван Максимович развел руками и хотел что-то сказать, но заговорил Козин.

— Знакомься, Максимыч, — сказал он. — Это майор Звягинцев. Приехал из Смольного для помощи в организации обороны. Нужно пройти с ним по заводу....

Тут только Козин заметил, что Королев не слушает его и как-то странно смотрит на Звягинцева.

— Ты понял меня, Максимыч? — несколько удивленно проговорил Козин, но в этот момент Королев радостно воскликнул:

— Алешка?! Живой!

И пошел к майору, раскинув руки.

Они обнялись.

— Это каким же чудом ты у нас оказался? — не сразу выпуская Звягинцева из своих объятий, спросил Королев.

— Так и вы ведь в дивизии комиссарили, — улыбаясь, отвечал Звягинцев. — Вот здорово, что вы здесь!

Он и в самом деле был счастлив встретить Ивана Максимовича. И не только потому, что со времени боев на Луге не видел Королева и ничего не знал о его судьбе, но и потому, что с неожиданным появлением Королева у Звягинцева исчезло, прошло без следа владевшее им чувство некоторой отчужденности, неуверенности в том, что он сумеет быстро найти свое место в этом невоенном коллективе.

Зальцман и Козин с удивлением наблюдали за этой встречей.

— Выходит, вас знакомить не надо, — ухмыльнулся Козин.

— Да, уж на этот раз, парторг, руководить не придется, — улыбаясь, подтвердил Королев.

— Тем лучше, — бросил взгляд на часы Зальцман и сухо сказал Королеву, как бы отодвигая все, что не имело прямого отношения к делу: — Майор прислан штабом фронта для помощи. Сейчас он в первую очередь должен ознакомиться с системой оборонительных укреплений.

— Вы, конечно, член партии? — неожиданно спросил Козин Звягинцева.

— Да.

— Ну так вот, считайте теперь себя коммунистом-кировцем.

— Я на учете в парторганизации штаба фронта, — немного смущенно сказал Звягинцев.

— От такой чести не отказывайся, — строго перебил его Королев. — Здесь большевики работали, когда тебя и в проекте еще не значилось. По путиловской земле Ленин ходил.

— Ладно, Максимыч, не ворчи, еще успеем просветить товарища, — сказал Козин. — Идите, не теряйте времени. Покажешь майору, где и что мы построили, куда кого поставили, — словом, все, что ему нужно. И быстрее. Возьмите дежурную «эмку». И поосторожнее в случае обстрела. Кстати, выясним обстановку...

Он снял телефонную трубку.

— Козин говорит. Как дела наверху, товарищ Дашкевич? Добро. Но будь начеку. Тишина тоже бывает злая... — И, повесив трубку, задумчиво проговорил: — Тихо. И в городе стало тихо. И в дивизии Папченко тоже. Приумолкли немцы. Не знаю, что это значит. Во всяком случае, надо использовать затишье.

Он посмотрел на Королева и Звягинцева, и, точно удивляясь тому, что видит их все еще здесь, сказал:

— Что же вы, товарищи? Идите! Сейчас... — Он посмотрел на часы, — половина пятого. Вы должны вернуться в шесть тридцать.

Звягинцев подхватил было свой чемоданчик и шинель, но Козин остановил его.

— Вещи оставьте, — сказал он. — Ночевать будете с нами. Здесь, в соседней комнате. Вот еще что, Максимыч... По дороге зайдешь в партком. Скажешь, чтобы дежурный сейчас же обзвонил все цеховые парторганизации и повторил еще раз: полная боевая готовность. Действуйте!

Королев и Звягинцев поднялись наверх. Начинался хмурый осенний рассвет. Пожары были потушены, но к небу все еще тянулись столбы дыма. Сильно пахло гарью.

У здания заводоуправления стоял танк КВ. Экипаж расположился возле гусениц. Танкисты в ватниках и шлемах молча курили.

— Так как же ты все-таки к нам попал, Алексей? — спросил Королев, когда они зашагали по площади.

— Под Лугой был ранен, с месяц провалялся по санбатам и госпиталям, потом явился в штаб фронта и получил назначение к вам. Вот и вся моя история. Ну, а вы-то как? Ведь я вас последний раз в дивизии видел!

— Вернули, — угрюмо ответил Королев. — Мастер я по сборке танков, понимаешь? Как специалиста вернули. Часть людей на восток эвакуировалась, тысячи в ополчение ушли... Кому здесь танки выпускать? Вот и вернули. А теперь, глядишь, снова воевать придется. Я с фронта, а фронт ко мне, вот какие пироги, друг Алексей.

— Плохие пироги, Иван Максимыч, горькие, — мрачно сказал Звягинцев.

— Сладких еще не напекли. Не успели.

— Честно говоря, в голове не укладывается, что немец вот сюда, к заводу, прорваться может!

— Что ж, прорвется — драться будем. А ты что, боя боишься, что ли? Раньше за тобой этого не водилось.

— И сейчас не водится, — с обидой ответил Звягинцев. — Немцев я не боялся и не боюсь. Времени остается мало — вот что тревожит. Мне же надо разобраться, что к чему тут у вас, разработать задание, расставить людей...

— Ах, во-он оно что! — иронически протянул Королев. — Значит, ты, Алеша, полагаешь, что люди тут до тебя сложа руки сидели?

— Что вы, Иван Максимыч! У меня и в мыслях... — начал было Звягинцев, но Королев не дал ему договорить.

— Знаю, есть у вас, кадровых, ну, у некоторых, скажем, такое убеждение, будто только вы к войне готовились. А мы, если хочешь знать, тоже ушами не хлопали! Еще в начале войны сколько щелей, убежищ на случай бомбежек приготовили, поглядишь — увидишь, на армейских КП таких, как у нас, блиндажей нет! А сейчас доты построили, орудия установили, дивизию вооружили за неделю, на фронт отправили. И учились. Зажигалки тушить учились. Металл электрон знаешь, нет? Вот видишь, не знаешь, а еще командир! Это сплав такой — алюминий и магний. Зажжешь стружку — пламя до двух с половиной тысяч градусов. На такой стружке учились. Артиллерийский тир есть, полигон. Вот как мы готовились!

Он махнул рукой и сказал уже спокойно:

— Ладно. Поживешь с нами — увидишь. Кировский — это, брат, вроде Кронштадта...

— Куда мы сейчас? — спросил Звягинцев.

— В партком зайдем. Что Козин наказывал, слышал? Ну вот. А потом я в твоем, майор, полном распоряжении. Тебе что осматривать-то в первую очередь надо?

— Расположение дотов, их секторы обстрела, противотанковые препятствия, — перечислял Звягинцев.

Они подошли к заводоуправлению. На крыше здания виднелась зенитная установка. У подъезда стояла выкрашенная в серо-зеленый с разводами цвет «эмка». Шофер, парень лет двадцати пяти, сидел в машине, курил.

— Прохоров, — сказал ему Королев, — поступаешь в мое распоряжение. Указание Козина. Ясно?

— Ясно, — ответил Прохоров. — Если в город ехать, то хорошо бы поскорее, пока тихо.

— В город не поедем. Здесь, по территории, покрутимся. Жди, сейчас вернемся.

Они поднялись по лестнице. Иван Максимович открыл дверь, на которой висела узкая табличка:

«Партком». В накуренной комнате у стола сидела девушка в красной косынке, вокруг нее толпились люди. В углу стоял пулемет «максим».

Королев прошел к следующей двери, обитой коричневым дерматином, Звягинцев — следом за ним.

И в этой комнате плавали клубы табачного дыма. В простенке между окнами за столом сидел человек средних лет в спецовке. На столе рядом с телефонами лежал автомат.

— Ну, что там стряслось, Максимыч, зачем тебя вызывали? — настороженно спросил он.

— Дело есть, Петр Васильевич. Вот майору наши огневые точки и позиции надо показать. А тебя Козин просил срочно проверить по цехам боеготовность. Люсю сажай на телефон, пусть тоже обзванивает.

— Ребята говорили, Васнецов приезжал: машину его видели, — снижая голос, сказал Петр Васильевич.

— Я его не застал.

— Темнишь?

— Этого еще не хватало, — резко ответил Королев. — Сказано тебе: проверь готовность, пошли ребят проверить посты. Те, что... на крайний случай. Понял?

— Понял.

— Ну, я пошел, — сказал Королев.

— Постой, Максимыч, тут тебе из проходной звонили минут двадцать назад. Ждет там тебя кто-то.

Королев недоуменно пожал плечами, снял трубку одного из телефонов:

— Главную проходную!.. Королев из парткома говорит. Кто там меня вызывал?..

Неожиданно лицо Королева изменилось, глубокие морщины расправились, брови чуть приподнялись.

— Верка, ты?! — удивленно проговорил он.

Звягинцев вздрогнул и весь напрягся, услышав это имя.

А Королев ворчливо-ласково сказал в трубку:

— Выпороть тебя за это надо! Ладно, жди, сейчас буду. — Он повесил трубку, повернулся к Звягинцеву: — Верка там, в проходной... видишь, какое дело... Ты знаешь, что она вернулась? Партизаны вывели.

— Я знаю, — ответил Звягинцев. — Мне Павел Максимович рассказал.

— Давай-ка, майор, подъедем к проходной вместе. Сейчас... — Он посмотрел на часы. — Сорок пятого. Несколько минут потратим, не больше, — сказал Королев, точно извиняясь.

— Я... может быть, я подожду вас здесь? — нерешительно предложил Звягинцев.

— А чего ждать? Все равно по территории поедем, посмотришь и то, что тебе нужно. И для нее радость будет тебя встретить. Поехали...

Звягинцев увидел Веру в открытую дверь проходной. Она была в расстегнутом ватнике, надетом поверх гимнастерки, в короткой юбке и сапогах.

Может быть, потому, что проходная освещалась мертвенным светом двух покрытых синей краской лампочек, лицо Веры показалось Звягинцеву очень бледным, исхудавшим.

Ему хотелось броситься к ней, опережая Королева... Но он безвольно остановился у дверей проходной, чувствуя, что не в состоянии сделать больше ни шага.

— Ты зачем здесь? Кто тебе разрешил? — громко говорил Королев дочери. Но в голосе его, несмотря на строгие интонации, звучала радость.

— К нам вчера раненых привезли с передовой, прошел слух, что вблизи завода уже бои идут, — тихо сказала Вера.

— Глупости они говорят, твои раненые, панику разводят! — рассердился Королев. — Никаких немцев тут и в помине нет!

Он притянул Веру к себе, обнял.

— Как же ты, дочка?.. — пробормотал он дрогнувшим от волнения голосом. — Как же ты до завода-то добралась?

— А у меня пропуск есть на хождение в ночное время по всему городу. Нам ведь и на спасательные работы выезжать приходится, — торопливо говорила Вера. — На попутной полуторке добралась, мне на полсуток отпуск в госпитале дали... Ну, чтобы отдохнуть... Третью ночь не спим, раненые все поступают, поступают...

Только тут Вера заметила неподвижно стоявшего на пороге Звягинцева.

— Алеша! — вскрикнула она, и в голосе ее слились удивление и радость.

Королев оглянулся и сказал с добродушной улыбкой:

— Вот и еще сюрприз, Алексей собственной персоной. Заводским стал, на подмогу прислали.

Вера подбежала к Звягинцеву, притянула его к себе, поцеловала.

Алексей растерялся, мысли его смешались, он порывисто обнял Веру, но тут же смущенно опустил руки.

Они были не одни. Две женщины-охранницы с любопытством наблюдали за этой сценой, отец стоял рядом.

— Здравствуй, Вера, — проговорил Алексей сдавленным голосом. — Ну... как ты?

Но Вера точно не слышала его вопроса.

— Алеша, милый, — радостно говорила она, — значит, и ты в Ленинграде? Да? Почему же не позвонил, не разыскал меня?

— Ранен он был, твой Алеша, — пробурчал Королев, — только вчера в город прибыл — и сразу к нам.

— Так я это знаю, помню, тогда, в лесу, — закивала головой Вера. — Ну а сейчас-то здоров?

— Да, здоров, совсем здоров, — как-то механически отвечал Звягинцев, не отрывая от нее глаз.

— А я в госпитале сейчас работаю, там и живу, на Выборгской, я сейчас тебе адрес запишу, будешь в городе — зайдешь, непременно зайди, Алеша! У тебя есть на чем записать? — торопливо говорила Вера.

Непослушными пальцами Звягинцев расстегнул нагрудный карман гимнастерки, вытащил блокнот и карандаш. Она черкнула несколько строк, сама вложила блокнот ему обратно в карман, застегнула пуговку и нежно пригладила топорщащийся клапан кармана.

В проходную с улицы вошли несколько рабочих, на ходу вынимая из спецовок и ватников пропуска.

— Вышли бы вы на улицу, не мешали бы людям проходить! — почему-то ворчливо проговорил Королев.

Звягинцев нерешительно посмотрел на Веру.

— Давайте, давайте, проходная маленькая, людям дорогу загораживаете, нечего тут толкаться! — настаивал Королев, хотя они никому не мешали.

Вера первой вышла на улицу, Звягинцев — за ней.

В этот ранний утренний час здесь было тихо. Баррикады по обе стороны виадука казались безлюдными, но Звягинцев теперь хорошо знал, сколь обманчиво это впечатление.

Они стояли у заводского забора и молчали. Наконец Вера сказала:

— Значит... зайдешь, Алеша? А если из Ленинграда куда-нибудь перебросят, то напиши. Обещай, пожалуйста.

И Звягинцев вдруг понял: это прощание. Через мгновение они расстанутся.

Да он и не мог, не имел права задерживаться. Его ждали важные, неотложные дела, он не распоряжался своим временем. Но заставить себя первым попрощаться у него не было сил.

Хотелось о многом сказать Вере... Сказать о том, что, может быть, они вообще видятся в последний раз в жизни, потому что немцы и в самом деле с часу на час могут прорваться сюда, и тогда он, Звягинцев, будет вместе со всеми защищать завод и либо отгонит немцев, либо погибнет здесь, среди развалин взорванных заводских корпусов...

Хотелось найти какие-то единственно нужные, весомые слова, одну лишь фразу, которая вместила бы в себя все, все...

Он взял Веру за руки, крепко сжал их в своих шершавых, огрубевших ладонях и неожиданно для себя сказал совсем не то, о чем думал сейчас:

— Ты... прости меня, Вера!

— Простить? — недоуменно переспросила она. — За что?

— Я был... я думал, что... — сбивчиво, весь охваченный волнением, проговорил Звягинцев, — Что и ты... словом, когда любишь, то кажется, что и та, которую...

Он на мгновение умолк, все крепче сжимая руки Веры, потом заговорил снова:

— Вот и этой ночью по дороге на завод я проезжал мимо твоего дома... и не мог не смотреть... Не хотел, но не мог! А ты... — И опять замолчал, потом разом разжал ладони, отпуская Верины руки, и уже с какой-то внутренней яростью сказал: — Но зачем все это?! Я спрашиваю тебя, к чему?

Вера молчала. Она глядела на него грустными глазами, и Звягинцеву показалось, что они полны слез.

Однако он уже не мог остановиться.

— Зачем ты просишь меня заходить, писать? Дружба? Да? Дружба? Я понимаю, пусть хоть что-то, сейчас, когда война, когда рядом враг, и дружба — это очень много. Но... есть другое, понимаешь, другое! Мне мало твоей дружбы! А для большего я тебе не нужен. И ни к чему нам...

Резким движением он отстегнул пуговицу нагрудного кармана.

Вера поняла, что он хочет вернуть ей адрес, и схватила его за руку.

— Не смей! — крикнула она, потом тихо сказала: — Ты странный! И сильный и слабый одновременно. Ты не понимаешь, почему мне нелегко. Но сейчас я и хочу, чтобы мне было нелегко. Я сегодня лишний раз поняла, что жизнь, Алеша, глубже, чем мы полагаем. Нельзя так легко бросаться друзьями! И любить человека, видимо, можно поразному...

Звягинцев напряженно вслушивался в эти сбивчивые слова.

Но голос Веры потонул в мощном гуле танковых моторов. Заводские ворота распахнулись, и оттуда медленно выползли один за другим три тяжелых танка. Люки башен были открыты, над ними возвышались командиры машин.

Один из них, совсем еще молодой парень, увидев Веру, помахал ей рукой и крикнул, стараясь перекричать гул мотора:

— Прощай, дорогуша! Немца утюжить едем! Адресок бы дала на случай!...

Танки двинулись вдоль улицы Стачек в сторону больницы Фореля. Вера помахала им вслед. Потом повернулась к Звягинцеву, положила руки ему на плечи и тихо сказала:

— Я многое пережила, Алеша. Такое, что и в страшном сне не приснится... И я хочу быть уверенной, что если мы будем живы, то встретимся. И что ты, как сможешь, приедешь ко мне в госпиталь, навестишь. Еще прошу, Алеша, об отце... Старый ведь он... — На глазах ее блеснули слезы. — Нет, нет, больше ни о чем! — воскликнула она, видя, что Звягинцев хочет что-то сказать. — Только одно: ты приедешь? Да?

— Хорошо, Вера. Будет так, как ты хочешь, — глухо сказал Звягинцев и, взяв Верину руку, поднес ладонь к своим губам. — Не тревожься за отца. Мы теперь вместе.

Дверь проходной открылась, оттуда вышел Королев. Он посмотрел на часы.

— Все, Верка! У Алексея нет больше времени. И у меня тоже. Дела. Сама понимаешь. — Он притянул Веру к себе, поцеловал в лоб. — И чтобы больше не смела самовольничать. А то матери в Чкалов напишу.

— До свидания, Вера! — сказал Звягинцев, резко повернулся и шагнул в проходную.

Через минуту к нему подошел Королев.

— Ну? — спросил он. — Наговорились? Все хорошо?

— Не знаю, — не поднимая головы, ответил Звягинцев и тихо повторил: — Не знаю. Сейчас война. Ни о чем другом думать не имею права.

— Врешь, имеешь! — грубовато сказал Королев. — Вспомни — за что воюешь? Разве не за будущее?

— Может, вы и правы, — медленно проговорил Звягинцев.

Он вдруг вспомнил о старике Валицком.

— Иван Максимович, этот Валицкий и есть тот самый?..

Королев покосился на Алексея, буркнул:

— Да, его отец. Пошли. — Потом все-таки добавил: — Прислали на завод помогать строить дополнительные линии водоснабжения. Хороший, боевой старик.

— А сын? — резко спросил Алексей.

— А я, если помнишь, уже один раз тебе говорил, что не имею привычки с сыновей на отцов вину перекладывать... А парень на фронте теперь. Вот и весь сказ. Поехали. Уже десять минут шестого.

Он рывком открыл дверь машины.

То, что увидел Звягинцев в последующие полтора часа, очень обрадовало его: он убедился — завод превращен рабочими в укрепленный район.

В подвальных помещениях цехов были оборудованы укрытия на случай обстрелов и бомбежек, в нижних этажах корпусов заложенные кирпичом окна были превращены в бойницы. На перекрестках подъездных путей возвышались доты для противотанковых пушек и тяжелых пулеметов. И все это было построено не наспех, а добротно, из кирпича, бетонных плит на цементном растворе, с железобетонным верхом.

Вдоль южной и юго-западной стен завода тянулись траншеи. Наблюдательные вышки имели прямую телефонную связь с заводским штабом МПВО.

В районе проходной, выходящей на улицу Калинина, Звягинцев увидел четыре танка в полной боевой готовности. На крышах турбинного цеха, здания главного конструктора завода и заводоуправления стояли зенитные орудия.

Время от времени Звягинцев просил остановить машину, осматривал местность и делал торопливые заметки на схеме.

Боевое хозяйство было очень велико. Оценивая его как военный инженер, Звягинцев был в основном удовлетворен.

Кое-где нужно было прорыть дополнительные ходы сообщений между дотами, построить новые огневые точки фронтом на север и северо-восток, чтобы усилить круговую оборону.

Был седьмой час утра, когда Звягинцев вместе с Королевым в последний раз вышел из машины, чтобы осмотреть надолбы, установленные у шоссе, идущего вдоль берега Финского залива.

Утро было хмурое. По небу медленно плыли огромные черные облака.

Звягинцев и Королев услышали характерный звук «юнкерса». Задрав головы, они прислушались. Стало ясно: там, на недоступной высоте, летел не один, а несколько бомбардировщиков.

В репродукторах, установленных по всей территории завода, зачастил метроном. Уже знакомый Звягинцеву голос Дашкевича объявил:

— Внимание! Воздушная тревога! Немецкий самолет сбросил над территорией завода парашютистов! Бойцам истребительного отряда немедленно направиться в район танковых цехов, ближе к заливу! Воздушная тревога!

Снова лихорадочно застучал метроном. Королев схватил Звягинцева за плечо.

— Парашютисты? Где? Ты что-нибудь видишь? — крикнул он, не отрывая взгляда от неба.

И вдруг они увидели, что и впрямь из-за туч спускается раскрытый парашют.

Звягинцев взобрался на крышу машины и снова устремил взгляд вверх. Других парашютов пока не было видно.

Загрохотали зенитки...

Соскочив на землю, Звягинцев бросился в кабину, увлекая за собой Королева, и скомандовал шоферу:

— А ну, газуй в сторону залива!

Машина рванулась вперед.

Со всех сторон к заливу бежали люди, раздавалась стрельба: палили из винтовок по парашютисту.

На заводе были готовы ко всему: к бомбежкам, к обстрелам и даже к непосредственному вторжению врага со стороны больницы Фореля или с берега Финского залива. Но парашютисты?! Этого никто не ждал. И потому не только бойцы истребительного отряда, но и все те, кто имел личное оружие: работники заводской охраны, члены парткома, руководители цеховых парторганизаций, — услышав объявление по радио, устремились в район танковых цехов.

Звягинцев напряженно всматривался в медленно приближающийся к земле парашют. Под куполом покачивалось что-то продолговатое, лишь отдаленно напоминающее человеческую фигуру.

«Нет, это не парашютист, на кой черт немцам понадобилось сбрасывать единственного парашю-

тиста? — лихорадочно думал Звягинцев. — Но, может быть, это летчик с подбитого немецкого самолета?» И вдруг он понял: это совсем другое!..

Звягинцев снова взобрался на крышу автомашины и во весь голос крикнул:

— Слушать мою команду! Прекратить стрельбу! Не толпиться!

То ли потому, что голос Звягинцева прозвучал громко и властно, то ли потому, что он, одетый в военную форму, был с крыши «эмки» виден отовсюду, но те, кто стоял поближе, повернули к нему головы и перестали стрелять.

Однако с разных концов завода к танковым корпусам продолжали бежать встревоженные люди.

Выхватив пистолет, Звягинцев несколько раз выстрелил в воздух и что было сил крикнул:

— Слушай команду! Ложись! Это бомба!

Он спрыгнул с машины, рванул из-за руля шофера, увлекая его на землю...

Падая, Звягинцев увидел, как из подъезда находящегося рядом здания выскочил старик Валицкий. Без пиджака, в расстегнутой рубашке, взъерошенный, он бежал, размахивая обрубком водопроводной трубы, и пронзительным голосом кричал:

— Бей парашютистов!

Звягинцев вскочил, рванулся к старику, с размаху сбил его с ног и сам покатился по земле...

Разрыва тяжелой фугасной бомбы, которую немцы впервые сбросили здесь на парашюте, Звягинцев, кажется, и не слышал. На него свалилось что-то свинцово-тяжелое, в уши ударила взрывная волна.

Когда Звягинцев пришел в себя, то увидел, что люди уже поднялись с земли, выбрались из щелей, из-за укрытий.

Он с трудом встал на ноги, покачиваясь, сделал несколько шагов.

Ивана Максимовича нигде не было видно.

Корпус, в который попала бомба, горел. Выносили убитых и раненых. С воем промчалась пожарная машина.

Кто-то с силой потряс Звягинцева за плечо. Оглянувшись, он увидел Королева.

Вне себя от радости, что старик жив, Звягинцев начал говорить, что надо немедленно оказать первую помощь раненым, организовать их эвакуацию. Королев что-то отвечал ему, но он не слышал ни голоса Королева, ни своего собственного.

Наконец Звягинцев понял: наклонясь к самому его уху, Иван Максимович кричал:

— В штаб, немедленно в штаб! Раненым помогут. А нас в штабе ждут! Уже на десять минут опоздали!

Глава XIV

Если бы самым крупным зарубежным военным специалистам предложили, взглянув на карту, предсказать судьбу Ленинграда, они, наверное, пришли бы к выводу, что этот город обречен. Кольцо блокады опоясывало его, замыкаясь на берегах Ладожского озера, немецкая артиллерия беспрерывно вела обстрел улиц, самолеты сбрасывали на город тысячи бомб.

Казалось, что немецким армиям, стоящим у ворот этой гигантской, со всех сторон осажденной крепости, нужно сделать одно, последнее усилие, и они овладеют ею.

В этом был все еще уверен и фельдмаршал Риттер фон Лееб, несмотря на то, что в его распоряжении оставалось лишь двое суток, в течение которых он мог использовать для штурма города всю свою армейскую группировку — сотни тысяч солдат, тысячи орудий, минометов и танков, более полутора тысяч самолетов.

Да, фон Лееб все еще не сомневался в успехе, хотя знал, что через сорок восемь часов ему предстоит, согласно приказу Гитлера, начать переброску ряда частей на Центральное направление.

В течение двух последних суток войскам командующего 18-й армией генерала Кюхлера удалось закрепиться в Пушкине и Слуцке, окончательно овладеть Урицком. Но продвинуться по побережью к Кировскому заводу Кюхлер не сумел. Измотанные и поредевшие в результате ожесточенного сопротивления, его войска были достаточно сильны, чтобы прочно удерживать занятые рубежи, но уже слишком слабы для того, чтобы преодолеть укрепления на подступах к городу.

Понимая, что до тех пор, пока не будет взят Петергоф и на побережье Финского залива не удастся накопить достаточное количество войск, к Кировскому заводу не прорваться, фон Лееб пришел к выводу, что ключ от Ленинграда лежит на вершине главной Пулковской высоты. Захватив эту высоту, можно было бы обеспечить прорыв непосредственно на Международный проспект.

И хотя неоднократные попытки пехотных, моторизованных и танковых частей Кюхлера овладеть высотой не дали пока желаемых результатов, фон Лееб не сомневался, что в ближайшие часы она будет захвачена.

Но прошли еще сутки — теперь только двадцать четыре часа из тех девяноста шести, которые дополнительно были отпущены Гитлером фон Леебу, оставались в распоряжении фельдмаршала, — а главная Пулковская высота по-прежнему оставалась непокоренной, хотя бои на подступах к ней не затихали ни на минуту.

И снова перед фельдмаршалом встал вопрос: что будет, если и последующие сутки не принесут решающей победы?..

«Петербург должен пасть!» — мысленно восклицал фон Лееб.

Однако старый фельдмаршал не мог не отдавать себе отчета в одном логически необъяснимом обстоятельстве. Казалось бы, сопротивление советских войск, блокированных со всех сторон, подвергае-

мых массированному огню артиллерии и бомбежкам с воздуха, должно было бы ощутимо ослабевать. Но в реальной действительности происходило нечто прямо противоположное.

Анализируя сводки, поступавшие в Псков из штабов штурмующих Ленинград соединений, выслушивая по телефону доклады генералов Кюхлера и Буша, командира 4-й танковой группы Хеппнера и командующего 1-м воздушным флотом Келлера, фельдмаршал не мог не заметить, что в последнее время тактика советских войск изменилась: вместо естественных в их положении оборонительных действий они перешли к наступательным...

Фон Лееб сравнивал эту новую тактику с поведением боксера, который, будучи прижатым к канатам ринга, несмотря на сыплющиеся на него удары, не только не думает об угрозе нокаута, но, неизвестно откуда черпая силы, старается наносить ответные удары.

Фон Лееб знал, что советская Ставка произвела замену командующего фронтом и теперь противостоящими его армиям войсками руководит генерал Жуков. С характеристикой бывшего начальника Генерального Штаба Красной Армии фон Лееб ознакомился еще до войны: абвером были подготовлены материалы о главных советских военачальниках. Теперь фельдмаршал пытался восстановить в памяти содержавшиеся в характеристике Жукова сведения: «Профессиональный военный... Отличился во время боев с японцами на реке Халхин-Гол... Обладает решительным характером и сильной волей... Самоуверен... Сторонник наступательной тактики... Одна из восходящих звезд на советском военном небосклоне... Несомненно, пользуется особым расположением Сталина...»

«Вероятно, — размышлял фон Лееб, — неожиданное изменение «военного почерка» русских под Петербургом во многом и объясняется появлением в Смольном Жукова. Но что может сделать даже самый решительный генерал, когда судьба города фактически решена?»

До мозга костей проникнутый верой в абсолютное превосходство немецкой военной школы, фон Лееб пытался представить себе, что бы предприняли на месте Жукова Мольтке, Людендорф или Гинденбург. И неизменно приходил к выводу, что любой из них в аналогичной ситуации был бы бессилен что-либо изменить...

Размышляя о причинах упорства Советской Армии, фельдмаршал, разумеется, не принимал во внимание никаких факторов, кроме чисто военных. Мысль о том, что для сотен тысяч советских людей оборона Ленинграда является битвой не только за родной город, не только за собственную жизнь, но и за ту идею, которая эту жизнь вдохновляла, не приходила и не могла прийти в голову фон Леебу. Именно поэтому то, что происходило сейчас у стен Ленинграда, казалось ему парадоксом.

Но подобная противоестественная ситуация, по глубокому убеждению фон Лееба, могла существовать лишь временно. И хотя в распоряжении фельдмаршала оставалось только двадцать четыре часа, он все еще не сомневался, что ближайшие сутки принесут ему желанную победу.

В те сентябрьские дни весь запуганный немецкими победами мир с часу на час ожидал, что голос радиодиктора объявит о падении второго по величине и значению города России. Но ни Кейтель, ни Гальдер, ни Йодль, ни сам Гитлер уже не тешили себя надеждой на захват Ленинграда в ближайшее время.

Однако фюрер не хотел признаться в этом. Он заявлял о необходимости немедленно готовить решающий удар на Москву, что, естественно, предполагало переброску части войск группы армий «Север» в распоряжение фон Бока. И когда истекли три из четырех выпрошенных фон Леебом дней, он приказал Гальдеру дать необходимые указания о начале такой переброски.

В тот же день фон Лееб получил предписание Гальдера направить 41-й корпус и 36-ю моторизованную дивизию на Московское направление.

На ежедневных оперативных совещаниях Гитлер говорил теперь только о подготовке наступления на Москву. Казалось, он забыл о Ленинграде, бывшем в течение трех месяцев войны его вожделенной целью.

И никто не решался спросить Гитлера, каковы же его дальнейшие планы на северо-востоке. Все в ставке понимали, что любое напоминание будет истолковано фюрером как бестактная попытка вынудить его публично признать поражение.

Поздно ночью камердинер Гитлера штурмбаннфюрер Гейнц Линге разбудил Гальдера: фюрер требовал начальника генерального штаба сухопутных войск немедленно к себе.

Это было необычно. Мучимый бессонницей, Гитлер по ночам никого, кроме врача, не вызывал.

Никто не догадывался, что у Гитлера развивается страшный недуг — болезнь Паркинсона. Пройдет еще три с лишним года, прежде чем профессор де Кринис поставит этот диагноз и тем самым обречет себя на самоубийство. Тем не менее о том, что Гитлер находится в состоянии сильного нервного возбуждения, знали многие. Резко возросшую раздражительность и нетерпимость фюрера обитатели Растенбургского леса объясняли бессонницей, обострившейся в связи с неблагоприятно складывающейся ситуацией на фронтах. Все были уверены, что первая же решающая победа излечит его. Никто, кроме личного врача фюрера Мореля и Гейнца Линге, не знал, что только специальные инъекции могли помочь Гитлеру заснуть хотя бы на несколько

часов, а утром вывести его из состояния прострации.

Интуиция подсказывала Гальдеру, что ночной вызов к фюреру не предвещает ничего хорошего.

Холодный и наблюдательный, генерал видел, что Гитлер все последние дни вопреки обыкновению делает огромные усилия, чтобы не дать выхода обуревающему его бешенству. Но рано или поздно гроза должна разразиться. И не на него ли, Гальдера, падет сейчас первый удар молнии? Не его ли намерен фюрер сделать ответственным за неудачи фон Лееба и вынужденную отсрочку наступательных операций на Центральном направлении?

Разумеется, начальник генерального штаба мог бы попытаться защитить себя напоминанием, что он еще в августе предлагал начать наступление на Москву. Но Гальдер был слишком умен и слишком хорошо знал характер Гитлера, чтобы верить в эффективность такого самооправдания. Выигрыш в любом споре с фюрером неизбежно влек за собой жестокую расплату за это.

Гальдер боялся теперь гнева Гитлера именно потому, что фюрер, выдвинув главной целью захват Петербурга, оказался не прав. Впрочем, сегодня начальник генштаба отдавал себе отчет в том, что захватить Москву тогда, в августе, было желательно, но... невозможно.

В душе он понимал, что не только маниакальное желание как можно скорее овладеть Петербургом руководило тогда фюрером. Яростное сопротивление русских — вот что заставило Гитлера попытаться «разменять» одну трудно достижимую победу на две, казавшиеся более реальными: отсрочить наступление на Москву, чтобы получить взамен Петербург и богатства Украины и Кавказа.

Каковы же итоги? Петербург не взят и не будет взят в ближайшее время — в этом Гальдер был теперь убежден окончательно. Победы на юге не заслоняют этого зловещего факта, о котором рано или поздно узнает вся Германия, весь мир.

Только захват Москвы может заставить людей забыть о неудаче под Петербургом. Но теперь наступление на советскую столицу придется вести в распутицу, на пороге страшной русской зимы.

Все эти мысли проносились в мозгу Гальдера, пока он торопливо одевался.

«Зачем он вызвал меня ночью, зачем?» — с тревогой размышлял начальник генерального штаба.

Внезапно он застыл в оцепенении, подумав о том, о чем старался не вспоминать и о чем не забывал ни на минуту.

Мысль о этом приходила Гальдеру в голову каждый раз, когда он чувствовал, что фюрер им недоволен, когда ощущал на себе его буравящий, подозрительный взгляд.

Нынешний начальник генштаба дорого дал бы за то, чтобы этого никогда не было. Но это было. Всего три года назад он, Гальдер, не только считал, что Гитлера необходимо убрать, но имел неосторожность откровенно беседовать об этом с близкими ему людьми из военных кругов.

Гальдеру, как и некоторым другим генералам, в то время казалось, что, восстановив былую силу и могущество немецкой армии, жестоко расправившись с коммунистами, а затем и с социал-демократами в Германии, подчинив всю экономику страны военным целям, Гитлер тем самым уже сделал свое дело и, подобно небезызвестному мавру, должен уйти, поскольку внешняя политика его слишком авантюрна.

Гальдера и его единомышленников беспокоил тот факт, что Гитлер намеревался развязать войну на западе. Более разумным и менее опасным в военных верхах считали другой вариант: немедленный союз с западными державами для совместного удара на восток, по Советской России.

Советский Союз был вожделенной целью и самого Гитлера, в этом планы фюрера и его генералов совпадали. Но пути достижения этой цели им представлялись по-разному.

Своими сомнениями Гальдер делился с некоторыми другими генералами, в чем позднее жестоко раскаивался.

Правда, все те, кто полагал, что Гитлера надо убрать, были связаны между собой круговой порукой не на жизнь, а на смерть.

Заместитель Гальдера генерал Штюльпнагель, руководитель абвера адмирал Канарис (который был за «мирное» устранение Гитлера), начальник одного из отделов абвера генерал-майор Ганс Остер, генералы фон Лееб, фон Бок, Вицлебен и Гаммерштейн — все эти люди, тогда, в 1938 году, так или иначе допускавшие мысль о том, что устранение Гитлера и замена его одним из высших немецких генералов пошли бы на пользу армии и обеспечили бы более короткий путь к завоеванию мирового господства, умели молчать.

После успеха западной кампании все они, опьяненные легкими победами и убедившиеся в том, что поход на Восток теперь не за горами, стали служить Гитлеру не за страх, а за совесть. Но это произошло уже позднее...

А тогда, в 1938 году, было другое. Были секретные совещания, интриги, посылки тайных эмиссаров в Рим, к папе, с просьбой выступить негласным посредником в переговорах между немецкими генералами, с одной стороны, и Парижем и Лондоном — с другой. Эмиссары сновали между Цоссеном, где размещался тогда генеральный штаб германских сухопутных войск, и Римом, Лондоном, Цюрихом...

И все это длилось до тех пор, пока о генеральских интригах не пронюхал Гейдрих — шеф гестапо и СД — службы безопасности.

Ни Гальдер, ни кто-либо другой из связанных с ним генералов не знали тогда, многое ли стало известно Гейдриху, — какие именно подробности и чьи имена. Не знали они об этом и теперь. Более

того, им не было известно, сообщил ли Гейдрих обо всем Гитлеру или поныне хранит в тайне свои козыри, чтобы использовать их в подходящий момент...

Случайно или нет, но молния ударила тогда совсем в другую сторону.

Восьмого ноября 1939 года в Мюнхене, в здании, где проходило традиционное собрание в память «пивного путча», — первой попытки Гитлера захватить власть в 1923 году — взорвалась бомба. При этом пострадало более тридцати человек, но сам фюрер, выступавший здесь с речью, остался невредим: он покинул собрание за несколько минут до взрыва.

На другой день все немецкие газеты напечатали сообщение о том, что гестапо удалось раскрыть заговор против фюрера. Кто же готовил этот заговор? Оказывается, английские агенты. Двое из них уже схвачены СД на голландской территории и доставлены в Германию.

Гальдер терялся в догадках, стараясь понять, есть ли какая-либо связь между этой, несомненно, подготовленной гестапо инсценировкой покушения на фюрера и тем, что стало известно Гейдриху о «генеральской фронде»?

Может быть, именно полученные шефом гестапо сведения и натолкнули его на мысль инсценировать другой заговор, во главе которого якобы стояли англичане, и тем самым дать в руки Гитлеру дополнительный повод для того, чтобы покончить с Англией?..

Однако тогда все остались на своих постах — и Гальдер, и Канарис, и Штюльпнагель, и фон Лееб, и фон Бок. Молния их не коснулась. Десятки других людей, так или иначе отвечающих за «безопасность фюрера», оказались в концлагерях и на плахе, — казнь с помощью топора уже вошла в моду в Германии. Объятые страхом, генералы поторопились немедленно прекратить интриги, уничтожить в своих домашних архивах все, что могло хотя бы косвенно свидетельствовать о наличии конспиративных связей между ними. Ни словом, ни намеком не возвращались они к своим прошлым намерениям. Более того, каждый из них с удвоенным рвением старался продемонстрировать Гитлеру свою беззаветную преданность и покорность.

Но, постоянно живя в атмосфере страха и подозрительности, тайного соперничества в собственной среде, глухой вражды между старыми военными кадрами и офицерами нацистской формации, между гестапо и абвером, между Борманом и Герингом, все они время от времени задавали себе роковые вопросы: «Что же все-таки стало известно Гейдриху?», «Донес ли он Гитлеру о том, что знал, или оставил имеющиеся у него материалы про запас?»

Время постепенно заглушило тревогу. Гальдер и его бывшие единомышленники пришли к выводу, что Гитлер или ничего не знает, или решил поставить крест на прошлом, уверенный, что не только окончательно усмирил своих честолюбивых генералов, но и превратил их в покорных псов.

Собственно, так оно и было. Бывшие «бунтари» подобострастно ловили каждый взгляд фюрера, каждый его жест.

Так вел себя и Франц Гальдер. Умный и высокомерный генерал утешал себя мыслью, что не он превратился в безропотного слугу бывшего ефрейтора, а сам Гитлер, по существу, стал орудием немецкого генералитета, стремящегося к мировому господству.

Однако размышлять об этом Гальдер позволял себе только ночью, только оставаясь наедине с самим собой. В служебное же время он вместе с «высокопоставленным ничтожеством», каким всегда считал Кейтеля, вместе с Иодлем и другими генералами ставки верно служил своему фюреру.

И тем не менее в критические моменты, ощущая на себе тяжелый, подозрительный взгляд Гитлера, Гальдер испытывал страх. Страх неизвестности. И тогда в сознании его снова возникал тревожный вопрос: «Знает или не знает?...»

Именно этот вопрос задавал себе Гальдер и сейчас, неожиданно разбуженный ночью по приказу фюрера.

Он в последний раз взглянул в зеркало, одернул китель, посмотрел на часы и понял, что больше медлить нельзя. Размеренным шагом, стараясь не прислушиваться к частым гулким ударам сердца, прошел по пустынному коридору бункера. У внешней двери стояли двое часовых-эсэсовцев в черных мундирах, с автоматами на груди. Увидев начальника генерального штаба, они молча вытянулись и щелкнули каблуками.

Гальдер открыл дверь и шагнул в темноту.

Было ветрено. Вокруг шумела листва невидимых в темноте деревьев. Откуда-то издалека доносился крик совы.

Несколько десятков метров отделяли помещение, в котором жил Гальдер, от «зоны безопасности № 1», где находился бункер фюрера. Начальник генштаба по многу раз в день проделывал этот путь и сейчас уверенно ориентировался в темноте.

Чем ближе подходил он к «зоне», окруженной несколькими рядами колючей проволоки, которая в ночное время находилась под током высокого напряжения, тем чаще освещали его лучи фонариков.

Десятки эсэсовцев охраняли подходы к бункеру, туда не существовало постоянных пропусков, — почти ежедневно менялись их цвет, форма и шифр. Любой генерал, даже самого высокого ранга, незнакомый охране в лицо, подвергался перед «зоной» обыску. Все, кто шел туда, обязаны были сдать оружие.

Гальдера охрана хорошо знала, поэтому фонарики, вспыхивая на мгновение, тут же гасли, и в темноте раздавалось лишь щелканье каблуков.

Лишь у самого входа в «зону» генералу пришлось на несколько минут задержаться. Начальник пропускного пункта, рослый штурмбаннфюрер, привыкший к тому, что в столь позднее время только доктор Морель или Гейнц Линге посещают Гитлера, приблизившись к Гальдеру, спросил:

— Это вы, мой генерал? Не ожидал увидеть вас в столь поздний час.

Он произнес эти слова почтительно и вместе с тем высокомерно-иронически, тем тоном, каким сотрудники личной охраны Гитлера обращались обычно ко всем, кто не принадлежал к высшему руководству СС, СД или гестапо.

— Меня вызвал фюрер, — сухо ответил Гальдер.

— К сожалению, наш фюрер не щадит себя даже ночью, — с наигранной печалью в голосе произнес эсэсовец. — И вы, мой генерал, лишаетесь заслуженного отдыха, — добавил он уже почти фамильярно.

Гальдер промолчал. Он понимал, что в этот момент один из невидимых в темноте эсэсовцев, склонившись над железным шкафом, в котором был установлен телефон, справляется у охранников, дежурящих в бункере Гитлера, действительно ли начальник генштаба вызван к фюреру в столь необычное время.

За спиной штурмбаннфюрера возник кто-то. Гальдер не слышал, что именно шепнул он на ухо эсэсовцу, шепнул и тотчас же исчез.

— Почему же вы медлите, мой генерал? — подчеркнуто удивленно спросил штурмбаннфюрер. — Проходите, пожалуйста, прошу вас!

Он сделал шаг в сторону, вытянулся, щелкнул каблуками и, выкинув вперед правую руку, вполголоса произнес:

— Хайль Гитлер!

Когда Гальдер вошел в кабинет Гитлера, тот сидел за письменным столом в нижней сорочке и кителе, накинутом на плечи, и что-то читал. Дверь из кабинета в спальню была открыта, на тумбочке у постели горела лампочка. В ее свете поблескивали лежащие на блюдечке осколки стеклянной ампулы.

— Входите, Гальдер, — сказал, не поднимая головы, Гитлер остановившемуся у порога генералу.

Тот сделал несколько шагов к столу.

— Садитесь! — нетерпеливо приказал Гитлер и откинулся на спинку кресла. По лицу его пробежал едва заметный нервный тик. — Вечером Варлимонт представил мне свои соображения относительно Петербурга. Читайте! — И он резким движением придвинул к краю стола раскрытую папку.

Опустившись на стул, Гальдер начал читать текст, отпечатанный на специально для фюрера изготовленной машинке с крупным шрифтом.

— Не тратьте времени, читайте отчеркнутое! Там — вся суть, — нетерпеливо проговорил Гитлер.

Гальдер поспешно перелистал страницы. В самом конце черным жирным карандашом были отчеркнуты следующие строки:

«Для начала мы блокируем Петербург герметически и разрушим город, если возможно, артиллерией и воздушными силами. Когда террор и голод сделают в городе свое дело, мы можем открыть любые ворота и разрешить невооруженным людям уйти. Остальная часть «крепостного гарнизона» может оставаться там на зиму. Весной мы войдем в город (не следует возражать, если финны сделают это раньше нас), вышлем всех, кто выжил, в глубину России или возьмем их в плен, сотрем Петербург с лица земли и передадим район севернее Невы финнам».

— Прочли? — нервно спросил Гитлер. — Ваше мнение? Мне надо знать его немедленно.

Какое-то время Гальдер молчал. Он пытался сообразить, принадлежит ли эта новая идея, означавшая отказ от намерения захватить Петербург штурмом, самому Варлимонту или он лишь изложил новую позицию фюрера.

С одной стороны, трудно было себе представить, что Варлимонт мог сунуться к Гитлеру с докладом, не зная его точки зрения на столь важный вопрос. Во всяком случае, будучи заместителем Йодля, он не посмел бы сделать это без согласия своего шефа, который был фактически начальником личного штаба фюрера. Сам же Йодль...

— Я жду! — требовательно произнес Гитлер.

Медленно, стараясь выиграть еще хоть немного времени, Гальдер закрыл папку и положил ее на стол. Потом тихо сказал:

— Мой фюрер! Если сегодня рассматривать положение под Петербургом с чисто военной точки зрения, то после того, как фон Лееб лишится части своих сил, трудно ожидать, что он сумеет...

— У него останется еще достаточно сил, — прервал Гальдера Гитлер. — Мы просто забираем у него то, что он вымолил в августе, когда топтался на Лужской линии!

«Чего же он все-таки хочет, какое решение уже принял?» — растерянно думал Гальдер, вглядываясь в нервно подергивающееся лицо Гитлера.

— Вы правы, мой фюрер, — произнес он наконец. — Конечно, у фон Лееба останутся еще значительные силы, если не намного превосходящие, то, во всяком случае, не уступающие по численности и вооружению силам противника. Кроме того, возможность систематически вести артиллерийский огонь по городу...

— Прекратите вилять, Гальдер! — с угрозой в голосе проговорил Гитлер. — Мне нужен ваш ясный ответ: можем мы овладеть Петербургом немедленно? Да или нет?

Гальдер понял, что продолжать игру опасно. И, решив, что самое правильное сделать ставку на «солдатскую прямоту», сказал твердо и вместе с тем проникновенно:

— Мой фюрер! Я знаю, что от своих верных солдат вы всегда требуете только правды. Полагаю, что фон Лееб не способен справиться с поставленной перед ним задачей. Он стар и, как оказалось, слаб...

Гитлер молча глядел на него немигающими глазами-буравчиками.

«Я продаю фон Лееба, — подумал Гальдер и тут же оправдал себя, — что ж, судьба Лееба все равно решена. Гитлер никогда не простит ему провала под Петербургом».

Да, фон Лееб действительно был обречен, командовать ему оставалось недолго. Но, конечно же, не поэтому предавал его сейчас Гальдер. Фельдмаршал был одним из тех, кто вместе с Гальдером некогда составлял тайную оппозицию Гитлеру. И если в хранящихся за семью замками папках Гейдриха от всего этого остался какой-то след, то почему лишний раз не подчеркнуть, что его, Гальдера, и фон Лееба уже давно ничто не связывает?..

— ...поэтому мне кажется, — продолжал Гальдер уже более решительно, — что с точкой зрения, изложенной полковником Варлимонтом, надо согласиться...

Он умолк, остановленный внезапной мыслью о том, что слова его могут вызвать непредвиденную реакцию, побудив Гитлера немедленно отозвать фон Лееба. Фюрер, никогда не упускавший возможности стравить своих генералов, может передать фон Лееву мнение о нем начальника генштаба. Кто знает, что ответит в порядке самозащиты фельдмаршал...

— ...И все-таки, — поспешно добавил Гальдер, — я не вижу необходимости заменять фон Лееба. Любой новый командующий начнет с просьбы вернуть назад те части, которые вы, мой фюрер, уже распорядились передать фон Боку. Все это осложнит задачу концентрации основных сил на Московском направлении. К тому же со стабильной блокадой, предлагаемой Варлимонтом, справится и фон Лееб.

— Он справится? — зловеще повторил Гитлер. — Ах, он справится?

Резким движением Гитлер сбросил китель на спинку кресла, наклонился, опираясь ладонями о стол, и, глядя в упор на генерала, медленно, раздельно произнес:

— У меня, у Германии украли победу, а вы, Гальдер, говорите об этом так, как будто ничего не случилось?!

«Какое страшное у него лицо!» — подумал вдруг Гальдер. Он, десятки раз видевший Гитлера в самом различном состоянии, в минуты гнева и высокомерного торжества, на трибуне и за столом, не помнил, чтобы у фюрера было такое лицо. Его покрасневшие от бессонницы глаза походили бы на кроличьи, если бы в них не горела ненависть. Землистого цвета кожа на щеках подергивалась в непрерывном тике. Прядь жирных, покрытых перхотью волос, свисая, закрывала и без того узкий лоб.

— Стоять на рельсах петербургского трамвая, видеть город в бинокль, иметь возможность громить его из пушек и не овладеть им?! — снижая голос до свистящего шепота, продолжал Гитлер.

Неожиданно он вскочил и выбежал из-за стола. В бриджах и ночных туфлях, в расстегнутой нижней сорочке, из которой высовывались худые ключицы, Гитлер метался по комнате и, потрясая кулаками, кричал:

— Три месяца я держал на северо-востоке две армии — сотни тысяч солдат, танки, целый воздушный флот, — в то время, как мои дивизии под Смоленском истекали кровью! Я спрашиваю: зачем, к чему?! Для того, чтобы и сегодня стоять под Петербургом в бессилии, подобно загипнотизированной курице, которая не в состоянии перешагнуть меловую черту?!

Гальдер тоже вскочил и стоял неподвижно, боясь опустить голову.

— Импотенты, тупые фельдфебели, лизоблюды! — кричал Гитлер. — Вы недостойны моего гения, недостойны дышать со мной одним воздухом, вы украли у меня победу! Я должен был еще месяц, еще полтора месяца назад быть в Петербурге, а сегодня уже в Москве! Чем ответите вы мне за позор?! Своими жизнями? Но вы недостойны даже пули, даже топора! Петли — вот чего вы заслуживаете, петли, петли, петли!

Он стоял почти вплотную к Гальдеру и потрясал кулаками над его головой. Казалось, еще минута, и он ударит начальника генштаба.

«Пес, бешеная собака, — подумал в бессильной ненависти Гальдер. — Тебя надо было пристрелить еще три года назад!» И тут же похолодел от ужаса, представив, что Гитлер каким-то образом сможет прочесть его мысли.

Но, будучи не в силах справиться с собой, побелевший от страха и обиды, он все же не выдержал и сказал то, чего не должен был говорить.

— Мой фюрер, — проговорил Гальдер сдавленным голосом, — вы сегодня были бы уже в Москве, если бы прислушались к моему мнению, если бы поверили Гудериану тогда, в августе...

Эти негромко произнесенные слова произвели на Гитлера совершенно неожиданное действие. Он вдруг застыл с поднятыми вверх кулаками, слышно было только его хриплое, прерывистое дыхание.

Потом медленно опустил руки, по-утиному вытянул шею и, почти касаясь своим лицом лица генерала, громким шепотом произнес:

— Вы полагаете, что были правы, сопротивляясь моей воле, Гальдер?.. Я вытравлю из вас этот дух Цоссена! Вытравлю до конца!

Гальдер почувствовал, что у него немеют руки и ноги: в Цоссене располагался штаб сухопутных войск в 1938 году. «Значит, знает, все знает?!» — в страхе подумал генерал.

Что ответить? Промолчать? Сделать вид, что не понимает зловещего смысла этих слов, что намек до него не дошел? Задать недоуменный вопрос? И если Гитлер разъяснит, что именно имел в виду, то все отрицать? Или, наоборот, признаться, что по глупости сомневался в быстром завершении западного похода и, лелея ту же, что и фюрер, мечту — ударить по России, — высказывал сожаление в связи с отсрочкой этого удара?

Гальдер усилием воли заставил себя поднять голову. Он знал, что ведет сейчас игру не на жизнь, а на смерть, и должен сделать решающую ставку.

— Мой фюрер, — сказал он, глядя в буравящие глаза Гитлера. — Если бы каждый из нас был в состоянии сразу же оценить величие ваших замыслов, то не существовало бы той естественной дистанции, которая разделяет гения и обычных людей. Вы сверхчеловек, и в первые мгновения людям трудно проникнуть в ход ваших мыслей. Вы не можете наказывать за это. Справедливость требует, чтобы вы проявляли снисхождение к чисто человеческим недостаткам тех, кого почтили своим доверием, и в конечном итоге судили их в соответствии с реальными поступками. В данном случае вы знаете, что ваш августовский приказ был выполнен безоговорочно. Минутные колебания мои, фон Бока или Гудериана не оказали никакого влияния на наши конкретные действия.

Гальдер произнес эту длинную тираду проникновенно, почти вдохновенно. Страх пробудил в сухом, рационалистичном генерале актерское дарование.

И он выиграл. Гитлер снисходительно махнул рукой, отвернулся, сделал несколько шагов взад и вперед по комнате.

В самом ли деле этого уверенного в своем сверхчеловеческом даре маньяка подкупила верноподданническая речь или он просто подумал о том, что накануне решающего похода на Москву нельзя разбрасываться такими опытными штабистами, как Гальдер, и отложил вопрос о его судьбе на будущее?..

Так или иначе, но внешне Гитлер успокоился. После нескольких минут молчаливого хождения по комнате он остановился возле письменного стола и отрывисто спросил:

— Значит, вы за предложение Варлимонта?

— Да, — ответил Гальдер, который понял, что Гитлер уже принял решение, — и хотел бы доложить вам, мой фюрер, почему именно. Прекратив попытки немедленно овладеть Петербургом, мы сохраним десятки тысяч немецких солдат. Блокада, голод, который, несомненно, начнется в городе, и артиллерийский обстрел неминуемо обрекают Петербург на капитуляцию. Я не говорю уже о том, что, когда моральные и физические силы обороняющихся будут окончательно подорваны, фон Лееб сможет, не дожидаясь формальной капитуляции, легко преодолеть те укрепления, которые русские сегодня столь яростно защищают. И наконец, главное. Если Петербург не капитулирует до взятия Москвы, то после того, как падет столица, это последует само собой: ведь исход войны будет фактически решен.

Гитлер молчал, внимательно слушая Гальдера. Наконец он проговорил едва слышно:

— Хорошо. Я согласен. — И, точно повинуясь какому-то внутреннему импульсу, внезапно крикнул: — Но никакой капитуляции Петербурга не принимать! Ни Москвы, ни Петербурга! Население этих городов должно понести наказание за жизни наших солдат, оставшихся лежать в проклятой русской земле! Белый флаг? — Он рассмеялся коротким, лающим смехом. — Нет! Это была бы слишком дешевая плата.

Гитлер подошел к своему креслу, надел френч, застегнул его на все пуговицы. Без обычной сорочки с галстуком френч выглядел нелепо — видна была обнаженная впалая грудь.

— Сейчас я изложу основные принципы нашего отношения к проблеме Петербурга в дальнейшем, — медленно произнес Гитлер. — На их основе вы подготовите директиву. Пишите, Гальдер!

Генерал растерянно огляделся. У него не было с собой бумаги.

— Чего же вы ждете? Пишите! — повторил Гитлер. Он схватил со стола большой блокнот, карандаш и резким движением протянул их Гальдеру.

Все так же стоя, Гальдер раскрыл блокнот и, слегка подавшись вперед, всем своим видом демонстрируя готовность, приподнял карандаш над чистым листом бумаги.

— Заголовок: «Будущее Петербурга», — начал диктовать Гитлер. — Первое. Я решил стереть Петербург с лица земли. — Он рассек воздух ребром ладони. — После поражения Советской России не будет ни малейшего основания для дальнейшего существования этого большого города... Маннергейм также сообщил нам, что у него нет заинтересованности в существовании Петербурга... Второе. Просьбы военно-морского флота о сохранении портов и морских приспособлений мне известны, однако выполнить их невозможно, так как это шло бы вразрез с генеральной линией в отношении Петербурга. Третье...

Уже не глядя на Гальдера, перестав следить, успевает ли тот записывать, Гитлер громко, точно обращаясь к невидимым толпам людей, торжественно и угрожающе закончил:

— Приказываю задушить Петербург в блокаде, артиллерийским обстрелом и непрерывными бомбардировками с воздуха стереть этот город с лица земли!

Гальдеру показалось, что фюрер находится в состоянии какого-то транса: Гитлер глядел в пространство воспаленным, неподвижным взглядом...

Наконец он очнулся, перевел уже осмысленный взгляд на Гальдера и добавил:

— Если со стороны русских последует предложение о сдаче, оно должно быть категорически отклонено. Все! Идите.

Генерал вырвал исписанный лист, положил блокнот и карандаш на стол, на мгновение вытянулся, молча выкинул вперед правую руку и, резко повернувшись, направился к двери.

— Подождите! — остановил его Гитлер. — Добавьте в приказ, что капитуляция Москвы тоже ни при каких условиях не будет принята!

...Оказавшись на свежем воздухе, Гальдер остановился и в изнеможении прислонился спиной к стволу старого дуба.

Он чувствовал, что не только лицо, но и все тело его покрыто жарким, липким пóтом. Расстегнул воротник кителя, подставляя грудь холодному ветру. Посмотрел на светящийся циферблат ручных часов. Было без десяти пять.

Все кругом уже посветлело — лес с прорубленными в нем продольными и поперечными просеками, вышки с установленными на них пулеметами...

Гальдер вынул платок, вытер лицо и шею, застегнул китель и, одернув его, тяжелой, усталой походкой направился к своему бункеру.

Глава XV

Сидя в своем кабинете, фон Лееб читал доставленное ему с утренней авиапочтой письмо из располагавшегося в Гатчине штаба генерала Кюхлера.

Письмо было от оберст-лейтенанта Данвица.

«Господин генерал-фельдмаршал! — читал фон Лееб. — Час назад я был вызван в штаб, где получил распоряжение подготовить мою часть к переброске на другой фронт. Нам был зачитан Ваш приказ, в котором Вы, ссылаясь на волю фюрера, предлагаете начать переброску войск не позже чем через восемь часов с момента оглашения данного приказа.

Я понимаю, что не имею права входить в обсуждение причин, побудивших высшее командование принять такое решение.

Тем не менее, поскольку часть, в которой я имею честь служить, названа в числе подлежащих переброске, осмеливаюсь обратиться к Вам с покорнейшей просьбой: разрешить мне остаться здесь, в составе вверенных Вам войск. В последние дни на нашем участке фронта в результате ожесточенных контратак противника имеются большие потери командного состава. Нет необходимости говорить, что я готов занять любую должность, до командира роты включительно, так как считаю своим долгом воевать здесь до окончательной победы, от которой, я уверен, нас отделяет всего несколько дней.

Не сомневаюсь, что просьба моя могла бы быть легко удовлетворена командованием корпуса или армии, однако, поскольку моим начальникам известно о фактах Вашего личнóго, господин генерал-фельдмаршал, участия в моей судьбе, они не считают возможным принять соответствующее решение без Вашего на то согласия.

Только по этой причине я, с разрешения генерал-полковника Кюхлера, и осмеливаюсь беспокоить Вас. Оберст-лейтенант Арним Данвиц».

Дважды перечитав рапорт, фон Лееб погрузился в тяжелые раздумья.

Сегодня истекал последний из четырех дней отсрочки, данной ему фюрером. Еще вчера вечером он получил приказ ставки начать переброску 41-го корпуса и 36-й моторизованной дивизии на Центральное направление...

Итак, его личная судьба, по-видимому, решена. Гитлер не простит ему того, что произошло. Кто-то должен нести ответственность за то, что Петербург до сих пор не взят. И, конечно же, этим козлом отпущения будет именно он, фон Лееб.

Фельдмаршал подошел к открытому окну. Тишина, царящая на городских улицах, угнетала его. Она вызывала мысли о бессилии его войск, готовых признать поражение.

«Почему все это произошло?» — мучительно спрашивал себя фон Лееб.

Он сделал несколько шагов по комнате, устланной огромным ворсистым ковром, остановился у висевшей на стене карты. От бухты Финского залива, похожей на раскрытую звериную пасть, опускаясь полукругом к югу, до Ям-Ижор и вновь поднимаясь к северо-востоку до берега Ладожского озера, тянулась линия рубежей 18-й и 16-й армий.

Еще одна линия извивалась с крайнего запада до окраины Петергофа — здесь части 18-й армии отрезали на побережье Финского залива 8-ю советскую армию.

«Но какое же это поражение? Кто посмеет, взглянув на карту, произнести это слово?! — мысленно воскликнул фон Лееб. — Разве мои войска не стоят по-прежнему в нескольких километрах от Путиловского завода, находящегося в черте города? Разве из данных разведки не вытекает, что русские считают прорыв к заводу неизбежным, — иначе зачем бы они строили там баррикады? Разве не всего лишь одна возвышенность — эта проклятая Пулковская высота — отделяет мои танки от Международного проспекта Петербурга? Разве русским удалось хоть где-нибудь отбросить мои войска на значительное расстояние, хоть где-нибудь прорвать кольцо блокады? Так в чем же мое поражение, в чем?! Ведь если мне удастся сделать еще один рывок, только один, то мнимое поражение немедленно обернется победой! Всего один рывок, и моя честь, мое будущее будут спасены!»

Эти размышления привели фон Лееба в состояние возбуждения. «Отвод некоторого количества войск, — убеждал он себя, — не так уж страшен. Чтобы осуществить последний рывок, мне и не нужны все наличные силы. «Везде быть сильным нель-

зя», — это говорил еще Клаузевиц. Нужно сконцентрировать ударные танковые и моторизованные части на определенных, решающих направлениях. Ведь мог же Гудериан позволить себе глубокие танковые прорывы, когда, не заботясь о тылах, презрев опасность, нависающую на флангах, бросал вперед танки и мотопехоту. Почему же я не могу применить эту тактику здесь, тем более что прорыв хотя бы в несколько километров глубиной будет означать вступление моих войск на петербургские улицы?!»

Фон Лееб уже не думал о том, почему ему не удалось осуществить этот прорыв до сих пор. Подобно шахматному игроку, сохранившему много фигур, но оказавшемуся в цейтноте и сознающему, что с минуты на минуту упадет флажок часов, фон Лееб лихорадочно обдумывал тот единственно верный ход, который должен был принести ему победу. И чем дольше он думал, тем больше приходил к выводу, что нужно как-то изменить тактику, что русские уже освоились с создавшейся ситуацией и, поняв, что противник ставит своей задачей на юге захватить главную Пулковскую высоту, а на западе прорваться от Урицка и Стрельны к Путиловскому заводу, подтянули свои основные силы для отражения этих ударов.

Риттер фон Лееб считался одним из самых опытных военачальников Германии. Он с юношеских лет посвятил себя военному делу и в первой мировой войне участвовал уже в чине старшего офицера. Он проштудировал сотни книг, знал назубок походы всех вошедших в историю полководцев — от Александра Македонского до Мольтке-младшего, все коллизии исторических битв — от Фермопил и Канн до Вердена.

И, разумеется, считал способность проникнуть в замыслы вражеского военачальника одним из главных достоинств полководца.

Тем не менее в характере фон Лееба, в самом образе мышления, отличающем не только его, но и других генералов фашистской Германии, было нечто такое, что практически парализовывало эту теоретически высоко ценимую ими способность.

Воспитанный в духе прусско-юнкерского высокомерия, еще более укрепившегося после молниеносных побед немецкого оружия на Западе, после, казалось бы, решающих успехов на германо-советском фронте, фон Лееб не считал нужным даже задумываться над оперативными замыслами советских военачальников.

Разве есть необходимость проникать в мысли людей, которыми, как был уверен фон Лееб, руководит только страх перед комиссарами? Разве есть нужда гадать о дальнейших планах советских генералов, если ход войны определяют не они, а наступающие на всех фронтах немецкие войска?

Представления фон Лееба о Советском государстве и советских людях сводились к двум-трем тощим догмам. Этот убеленный сединами фельдмаршал смыслил в советской действительности не больше, чем не тронутый цивилизацией дикарь в современной науке и технике.

Но от дикаря фон Лееба отличала самоуверенность. Убежденный в расовой неполноценности русских, не говоря уже о других народах, населяющих Советский Союз, которых он мысленно объединял понятием «азиаты» или «монголы», уверенный, что только большевики, комиссары, Чека держат их в узде, фон Лееб полагал, что знает о Советском Союзе вполне достаточно.

Поэтому каждый раз, когда он пытался понять причины, побуждающие советские войска продолжать бессмысленное, на его взгляд, сопротивление, он оказывался в тупике. «Почему русские солдаты не перебьют своих комиссаров? Почему в окруженном Петербурге не вспыхивает восстание?» Ответить себе на эти вопросы фон Лееб не мог.

Однако сегодня он уже не предавался бесплодным размышлениям. Все его мысли были сосредоточены на одном: найти ход, который оказался бы неожиданным для противника.

«Нужен еще один шаг, один-единственный рывок, одна хитро задуманная и решительно проведенная операция, — убеждал себя фон Лееб, — и я захвачу этот проклятый город!»

И постепенно план этой новой операции стал вырисовываться.

Она должна состоять из двух этапов. Начать следует с очередной атаки на главную Пулковскую высоту, чтобы создать у советских генералов впечатление, что немцы повторяют попытку штурмовать высоту в лоб. Но в тот самый момент, когда русские решат, что им удалось отбить и эту атаку, нужно установить огромную дымовую завесу и под ее прикрытием о б о й т и высоту западнее, в районе Финское Койрово, и оттуда, не дав опомниться противнику, ударить на Московское шоссе, захватить окружную железную дорогу и ворваться в городские кварталы с юга. Не с юго-запада, как того, несомненно, ожидает Жуков, а с юга! Таким образом, Пулковская высота окажется отсеченной, и советские части, сосредоточенные для ее обороны, не смогут участвовать в боях на улицах города.

Одновременно следует бросить танки на Петергоф. Это позволит расширить плацдарм на побережье и заставит противника держать значительное число своих войск на подступах к Путиловскому заводу.

А для того чтобы перед началом операции деморализовать русских, нужно за несколько часов до штурма Пулковской высоты провести «акцию устрашения»: подвергнуть город одновременно массированному артиллерийскому обстрелу и бомбежке с воздуха.

Фон Лееб почувствовал, что его охватывает нервная дрожь. Он был уже уверен, что задуманная

им операция принесет долгожданный успех. Он представил себе, как будут растерянны русские, оказавшись отрезанными.

«Сбросить!» — торжествующе произнес вслух фон Лееб, взмахнул рукой и тут заметил, что по-прежнему сжимает в пальцах листок с рапортом Данвица.

Он снова пробежал глазами напечатанные на машинке строки. Две из них задержали его взгляд: «...до окончательной победы, от которой, я уверен, нас отделяет всего несколько дней».

Фон Лееб схватил со стола красный карандаш и подчеркнул эти слова. Потом размашисто написал поперек листа: «Генерал-полковнику Кюхлеру. Просьбу удовлетворить».

Нажав кнопку звонка, вызвал адъютанта:

— Через тридцать минут пригласите на оперативное совещание начальника штаба и начальников родов войск.

Бомбежка Ленинграда с воздуха началась в пять часов утра. В это же время ударили по жилым кварталам батареи, установленные на Вороньей горе, в районах Колпина и Отрадного.

Предпринимая этот, пожалуй, самый сильный обстрел города силами авиации и артиллерии, фон Лееб был уверен, что ему удастся наконец посеять панику среди населения и, заставив Смольный сконцентрировать все усилия на тушении пожаров и спасении гибнущих под обрушивающимися домами людей, отвлечь внимание советского командования от Пулковской высоты, штурм которой был назначен фельдмаршалом на двенадцать часов того же дня.

Мысленно представляя себе состояние руководителей ленинградской обороны, фон Лееб был прав только в одном: все они сознавали, что для Ленинграда наступили самые тяжелые дни и что враг готовится к решающему штурму города.

Еще семнадцатого сентября, когда на южных и юго-западных окраинах города срочно возводились новые баррикады, а возглавляемые секретарями райкомов партии «тройки» Кировского, Московского, Володарского и Ленинского районов получали дополнительное количество взрывчатки для минирования заводов, Жуков и Жданов подписали суровый, продиктованный осадным положением приказ войскам фронта.

Передний край проходил теперь по линии Урицк—Пулково—Ям-Ижора. По окружной железной дороге создавалась вторая полоса обороны. На левом фланге, у Невы, она замыкалась мощным узлом в районе Петрославянки. И, наконец, третья оборонительная полоса сооружалась в районах Кировского завода, Дома Советов, мясокомбината.

Вся зона северней Пулкова была разделена на секторы, и каждый из них имел по нескольку опорных пунктов. В случае прорыва врага через Пулково эти позиции должны были защищать бойцы Ленинградского гарнизона и специальные формирования рабочих — практически все взрослое мужское население города Ленина.

Вскоре после того, как немцы начали массированный обстрел и бомбардировку города, Жуков и Жданов спустились в смольнинское бомбоубежище, служившее во время бомбежек, по существу, командным пунктом фронта.

Жданов заметно нервничал: сильный обстрел срывал его планы — он собирался поехать на Кировский завод, побывать в цехах, побеседовать с рабочими, проверить ход строительства оборонительных сооружений.

Во все трудные периоды жизни Ленинграда руководители партийной организации города опирались в первую очередь на коммунистов-кировцев. История этого завода была тесно связана с первыми российскими рабочими забастовками и стачками, с деятельностью Ленина в Петербурге, с революцией 1905 года, со взятием Зимнего, с разгромом Юденича и других белогвардейских генералов, с периодом восстановления страны после разрухи гражданской войны, с борьбой против зиновьевской и троцкистской оппозиций, с первыми пятилетками...

Последний раз Жданов был на заводе месяц назад. И теперь, когда немцы находились в четырех километрах от Кировского, он решил снова поехать туда, чтобы лично оценить создавшееся положение.

Однако Жуков решительно воспротивился этому: ехать под таким огнем было слишком рискованно. И, кроме того, командующему, который старался разгадать, что означает этот массированный налет на город, не кроются ли за ним какие-то новые намерения противника, хотелось, чтобы Жданов находился здесь, рядом с ним, на КП фронта.

Спустившись вниз, они прошли в кабинет Жукова. Командующий сел за стол, Жданов стал вышагивать взад и вперед по маленькой комнате.

— Налета такой силы еще не было... Немцы что-то замышляют, Георгий Константинович, — произнес он встревоженно.

Жуков промолчал, хотя думал о том же.

На столе перед ним лежала карта Ленинградской области с отмеченными на ней позициями советских и вражеских войск. Жуков не отрывал от нее взгляда.

Жданов подошел к висевшей на стене карте Советского Союза, посмотрел на ломаную линию фронта, точно заново изучая ее, потом сел у стола рядом с Жуковым.

Командующий не подавал вида, что замечает волнение Жданова. Однако снял трубку одного из телефонов:

— Жуков. Доложите обстановку.

Жданов, сидевший рядом, хорошо слышал голос, раздававшийся в трубке: налет сильнее всех предыдущих, немцы ведут беглый артиллерийский

огонь, перенося его с одного района на другой, стремясь создать впечатление, что весь город обстреливается одновременно. В воздухе находится до сорока вражеских самолетов.

— Ясно... — не дослушав, сказал Жуков и снял трубку аппарата прямой связи с КП Балтфлота:

— Трибуца. Говорит Жуков.

Через несколько мгновений раздался голос адмирала.

— Жуков говорит, — повторил командующий. — Хочу знать, в состоянии ли наконец Кронштадт и вся артиллерия флота подавить огонь этих хулиганов?

Адмирал доложил, что артиллерия — и береговая и корабельная — ведет непрерывный огонь по батареям, обстреливающим город, но вражеские самолеты бомбят и корабли. Приходится отбиваться и от них.

— А вы, что же, думали, что фрицы дадут вам стрелять, как на полигоне? — резко сказал Жуков. — Сосредоточьте больше огня на районах Вороньей горы и Отрадного, там тяжелые батареи противника. Даю полчаса, чтобы заткнуть им глотку!

Он положил трубку.

— Может быть, позвонить и Новикову? — сказал Жданов.

— Нет необходимости, — пожал плечами Жуков. — Все истребители уже подняты в воздух. Авиация делает все, что в ее силах. И Трибуцу ни к чему было звонить. Он без нас знает, как вести огонь и по каким районам. Позвонил только, чтобы успокоить вас.

— Значит, нам остается ничего не делать и просто ждать? — раздраженно спросил Жданов.

— Андрей Александрович! — ответил Жуков. — Мы с вами не в состоянии сейчас изменить что-либо там, наверху. Все, абсолютно все, вплоть до рабочих на заводах, делают то, что им надлежит делать. Понукать их бессмысленно. Метаться под огнем с места на место — тоже. Мы не должны покидать командного пункта.

Жданов и сам был сторонником централизованного управления и не особенно одобрял, например, привычку Ворошилова то и дело самому выезжать в части. Он понимал, что Жуков прав.

Однако сознание того, что в эти минуты наверху с грохотом обваливаются дома, погребая под развалинами сотни людей, не давало Жданову покоя.

— Согласен с вами, Георгий Константинович, — уже более мягко сказал он. — Командный пункт есть командный пункт. И все же я хочу знать, что вы собираетесь предпринять?

— Сидеть и думать, — коротко ответил Жуков.

Жданов чиркнул спичкой, закурил и вопросительно поглядел на него.

Командующий откинулся на спинку кресла и, не глядя на Жданова, будто обращаясь к самому себе, медленно произнес:

— Что же все-таки это означает?

— Вы о чем? — настороженно спросил Жданов.

— Все о том же, Андрей Александрович, все о том же. Хочу понять: что именно замышляют немцы?

— Штурмовать город! Ворваться на улицы! Вот чего они хотят! — нервно ответил Жданов. — А мы сидим здесь и...

— Андрей Александрович! — перебил его Жуков. — То, что немцы хотят ворваться в город, это элементарно. Но какими силами? Откуда? Вот что мы должны понять. Именно мы с вами! Мы обязаны разгадать конкретные намерения противника. Все люди там, наверху, делают свое дело. А наш с вами долг заключается сейчас в том, чтобы проникнуть в планы противника.

— Георгий Константинович, — проговорил Жданов, — может быть, еще раз справиться в штабе, каково положение? Мы можем упустить драгоценное время.

Он встал и снова заходил по кабинету.

— Если будет что-либо новое, мне доложат, — спокойно ответил Жуков. — Сядьте, Андрей Александрович, прошу вас.

Жданов нехотя сел.

— Очень важно понять, будет ли фон Лееб снова штурмовать город наличными силами или Гитлер перебрасывает ему новые контингенты, — проговорил командующий. — Вы как полагаете?

Жданов пожал плечами:

— Гадать на кофейной гуще не умею. Никаких сведений о переброске новых частей противника разведка не сообщала.

— Я и сам знаю, что не сообщала. Но, во-первых, разведчики могли и проморгать. Во-вторых, Гитлер может начать эту переброску именно теперь, одновременно с массированным налетом на город.

— Почему вам кажется, что Гитлер поступит именно так? — настороженно спросил Жданов.

— Пробую поставить себя на его место, — кривя губы в жесткой усмешке, ответил Жуков. — Вот уже более двух недель фон Лееб пытается прорваться в город. Как пес, бросается на забор и срывается вниз. Не верю, что Гитлер будет долго это терпеть! Ленинград ему нужен позарез, вот так! — Жуков провел ребром ладони поперек шеи. — Немцы уже раструбили на весь мир, что город у их ног. Что же теперь остается делать Гитлеру, если фон Лееб наличными силами взять Ленинград не может? Издать очередной приказ? Но я уверен, что Гитлер все формы приказов уже испробовал. Спрашиваю еще раз: что, по логике вещей, Гитлер должен сделать?

И Жуков вопросительно посмотрел на внимательно слушающего его Жданова.

— Вы уже ответили на этот вопрос, — сказал Жданов. — Насколько я понял, вы уверены, что Гитлер перебросит под Ленинград новые воинские контингенты.

— А вы что — не согласны? — хмурясь, спросил Жуков. — Подумайте сами: отказаться от захвата Ленинграда Гитлер не может, это факт. Спокойно наблюдать, как мы отражаем одну за другой атаки фон Лееба, он тоже не будет, в этом я убежден. Гитлер не может не считаться с фактором времени...

— Вот именно... — задумчиво проговорил Жданов. Он опять подошел к висящей на стене карте и несколько секунд сосредоточенно глядел на нее.

— Георгий Константинович, — сказал он, — по-моему, вы правы почти во всем. И в том, что Ленинград для Гитлера — это вопрос и стратегический и престижный. И в том, что захватить его немцы попытаются во что бы то ни стало. Но даст ли Гитлер фон Леебу новые значительные подкрепления?.. Сомневаюсь.

— Одно предполагает другое, — нетерпеливо проговорил Жуков, — вы что же, полагаете, что Гитлер ограничится очередной накачкой фон Леебу? Убежден, что он с него уже и так семь стружек снял. Нет, накачками сражения не выигрываются! Если Гитлер убедится, что фон Лееб наличными силами взять город не в состоянии, то...

— И все же сомневаюсь, — не дав Жукову договорить, произнес Жданов. — Вот вы сказали: фактор времени! Да, все намеченные Гитлером сроки захвата Ленинграда давно прошли. Но этот же фактор времени диктует немцам необходимость скорейшего наступления на Москву. Ведь впереди — зима! Такова чисто военная сторона вопроса. Но есть и другая, не менее важная, — политическая. От того, удастся ли Гитлеру захватить Москву, зависит многое. Поведение стран-сателлитов. Дальнейшая позиция Турции. Соблюдение американцами сроков военных поставок. Словом, Гитлеру нужна Москва во что бы то ни стало. А раз это так, то перебросить сюда значительные подкрепления с других фронтов Гитлер вряд ли сможет.

— Что ж, это логично, — медленно проговорил Жуков. — Но вы опять-таки не учитываете, что при теперешнем уровне технической оснащенности немецкой армии, при наличии большого количества подвижных средств переброска даже значительных контингентов может быть произведена в короткий срок. Гитлер авантюрист по натуре и может рассчитывать так: перебросить войска, захватить Ленинград и вернуть эти войска обратно, на Центральное направление...

— Не знаю, — покачал головой Жданов, — вы человек военный и лучше меня знаете, как могут планироваться подобные операции. И все же я уверен, что Гитлер не настолько глуп, чтобы не понимать, что, если немцам даже удастся прорваться в город, мы будем вести борьбу за каждую улицу, за каждый дом. Танковые бои в огромном городе малоэффективны. Следовательно, Гитлер должен рассчитывать главным образом на живую силу. При всем своем авантюризме он вряд ли рассматривает бой за Ленинград как короткую военную прогулку. Так он мог рассуждать три месяца, даже месяц, даже две недели назад. Но сегодня... Нет, Гитлер не рискнет снимать части с Московского направления, я в этом убежден, Георгий Константинович!

Несколько секунд длилось молчание. Потом Жуков проговорил:

— Что ж, не исключено, что вы и правы. Тем более что, по сведениям Разведуправления Генштаба, Гитлер забирает у Рунштедта и перебрасывает в центр вторую армию и вторую танковую группу...

Жуков встал и подошел к карте.

— Думаю, что немцы попытаются прорвать фронт Конева где-то здесь, возле Духовщины, Рославля и Шостки с целью окружить в районах Вязьмы и Брянска Западный и Брянский фронты и бывший мой, Резервный... — произнес он задумчиво. — Однако, — точно обрывая себя, продолжал он, — сейчас речь не об этом. Мы с вами отвечаем за судьбу Ленинграда и должны предугадать планы врага именно здесь, на нашем фронте.

Он поглядел на Жданова, который, стоя лицом к карте, внимательно слушал его, и сказал:

— Давайте сядем и постараемся сосредоточиться на главном.

Они снова сели у стола.

Открылась дверь, и на пороге появился начальник разведотдела штаба фронта комбриг Евстигнеев.

— Товарищ командующий! Поступили сведения, которые я счел необходимым доложить вам срочно...

— Не тяни. В чем дело? — хмурясь, спросил Жуков.

— Я получил донесение от одной из наших разведгрупп из района Луги, что от Ленинграда в сторону Пскова движутся колонны немецкой мотопехоты. Отмечены и танки...

— Что?! — воскликнул Жуков. — От Ленинграда?! — Он даже приподнялся с места. — Да ты понимаешь, что говоришь?!.

Он снова опустился на стул, помолчал мгновение и уже обычным своим, не терпящим возражений тоном произнес:

— Ерунда! Или врут твои разведчики, или им эти данные вражеская агентура подсунула.

— Никак нет, товарищ командующий, — уважительно, но твердо возразил Евстигнеев, — я своих людей знаю. Того, что сами не видели, выдавать за факт не будут. Я подготовил срочное донесение в Генштаб. Разрешите доложить. Вот...

И, вынув из своей папки листок бумаги, он протянул его Жукову.

Тот прочел, скомкал листок в кулаке, бросил в угол комнаты.

— У вас голова на плечах есть, комбриг? — взорвался он. — Немцы с часу на час могут в город ворваться, а вы преподносите Военному совету и Москве успокоительные байки об отходе противника! Никому об этом ни слова, поняли? Идите! Да

проверьте хорошенько тех, кто подсунул вам такую липу.

Евстигнеев молча сделал уставной поворот и вышел из кабинета.

— Вы твердо уверены, что сведения Евстигнеева не заслуживают внимания? — спросил Жданов.

— Чушь... или провокация!

Жданов пристально посмотрел на командующего.

— Георгий Константинович, — тихо произнес он, — когда вы сейчас произнесли слово «провокация», я вспомнил ваш рассказ о том, как товарищ Сталин тогда, в июне, воспринял сообщение о перебежчике. Помните?

Жуков передернул плечами:

— Не вижу ничего общего, Андрей Александрович! — недовольно сказал он. — Да, тогда товарищ Сталин, к сожалению, не поверил... И... это сильно сказалось на нашей готовности принять вражеский удар.

Он умолк, сосредоточенно глядя куда-то в пространство, и Жданов понял, что в эти минуты Жуков мысленно вернулся в то недавнее прошлое, в тот мирный еще день, от которого теперь их отделяли долгие месяцы войны...

— Да, тогда товарищ Сталин назвал эти сведения провокационными, — продолжал Жуков. — Именно провокацией, — повторил он с горечью и махнул рукой, точно отметая нахлынувшие на него воспоминания. — Сейчас иное! Немцы вот-вот начнут штурм! Болтовня о каком-то их отходе может лишь ослабить нас!

— Согласен, — кивнул Жданов. — Но есть еще одно обстоятельство...

— Какое? — настороженно спросил Жуков.

— Мы с вами отвечаем за оборону Ленинграда. И это наше главное и святое дело. Но.... но Ленинград, Георгий Константинович, это лишь часть страны. Если сведения разведчиков о какой-то переброске войск к Пскову верны, то это подтверждает, что противник сосредоточивает войска для удара на Москву. Имеем ли мы право не сообщить об этом немедленно Ставке?

Жуков резко поднялся, сделал несколько шагов по маленькому кабинету и, остановившись перед сидящим у стола Ждановым, убежденно сказал:

— За сокрытие каких-либо важных сведений от Москвы я сам с любого голову сниму. Но дезориентировать Ставку не могу. Представит Евстигнеев еще хотя бы одно подтверждение — немедленно передадим. А пока... не об отходе врага надо думать, а о том, как отстоять город! Он опять зашагал от стены к стене. — Гитлер действительно должен быть идиотом, чтобы отводить войска, когда они стоят на пороге Ленинграда. Впрочем... если... если это все же правда, то, значит... немцы и впрямь в полном цейтноте!..

Он возбужденно ударил по столу ладонью и воскликнул:

— Тогда правы и вы и я! Фон Лееб подкреплений не получит, но наверняка сделает отчаянную попытку спасти свою карьеру и еще раз попробует ворваться в город! Но не широким фронтом! Для этого у него нет уже сил... Клином! С маневром! Но где? Я хочу знать точно, в каком месте?! Не настолько же он туп, чтобы упрямо штурмовать Пулковскую высоту с юга и рваться к Кировскому на побережье, то есть именно там, где мы его ждем! Да и потери у него огромные!.. Нет, он должен что-то придумать, этот фон Лееб, обязательно должен! Но где? Где он ударит?!

— Может быть, из района Урицка или все же — с побережья? — проговорил Жданов.

Жуков нахмурился. Петергофско-Стрельнинское направление беспокоило его в последние сутки все больше и больше: продолжая рассекать части 8-й армии, отрезанной на Финском побережье, немцы вчера утром овладели восточной частью Петергофа. Стрельна, расположенная восточнее, была захвачена еще раньше.

Вчера днем Жуков и Жданов направили Военному совету 8-й армии телеграмму с требованием остановить немцев: «Если ваша армия допустит захват немцами Петергофа, враг разгромит наш Кронштадт...»

Но телеграмма не дала желаемых результатов. Немцы продолжали продвигаться к центру Петергофа.

Вечером того же дня Военный совет фронта принял решение о смене командующего и члена Военного совета 8-й армии.

И тем не менее Жуков был уверен, что сейчас немцы еще не в силах предпринять решающее наступление на Ленинград со стороны побережья. Накопленных ими там войск было явно недостаточно для массированного удара.

Однако, отвечая Жданову, он задумчиво произнес:

— Может быть, и оттуда... А может быть, и нет...

В этот момент в комнату вошел начальник штаба фронта генерал Хозин.

— Товарищ командующий, — сказал он, — вы приказали доложить, если будут перемены в обстановке. Противник прекратил обстрел центральных районов города и сосредоточил огонь на Московском и Кировском районах.

— Это все?

— Так точно, пока все.

— А что на побережье? — спросил Жданов.

— Там ничего нового, Андрей Александрович.

— Хорошо. Идите, — сказал Жуков, и Хозин вышел.

— Значит, вы считаете, что из Урицка? Возможно... — раздельно проговорил Жуков. — Но фон Лееб должен предполагать, что и мы больше всего ожидаем главного удара именно на этом направлении и сосредоточим там главные силы...

Он быстро подошел к письменному столу, нажал кнопку звонка и крикнул появившемуся адъютанту:

— Федюнинского на провод!

Через минуту адъютант доложил, что командующий 42-й армией у телефона.

Жуков схватил трубку:

— Как у тебя сейчас обстановка под Пулковской?

Некоторое время сосредоточенно слушал.

— Так... — наконец произнес он. — Значит, говоришь, неожиданное затишье... Не люблю я этих затиший... Следи как следует за Пулковской! Подкрепления подошли?.. Да брось ты со своим чертовым кодом! Нет времени разбираться в этой тарабарщине! Сколько пехоты и танков получил?..

Выслушав ответ Федюнинского, спросил:

— Как саперы, закончили свои дела на переднем крае? Ладно. Внимание флангам, понял? Особенно тому, что к Урицку... Глаз с него не спускай! При первом же изменении обстановки доложишь немедленно. У меня все.

Жданов ожидал, что командующий скажет, что́ именно доложил ему Федюнинский, но Жуков склонился над картой.

Хотя Жданов, являясь одним из руководителей ленинградской обороны, и приобрел определенный военный опыт, научился мыслить категориями специфически военными, не только теоретически, но и на практике осознав значение военной стратегии и тактики, он оставался прежде всего политическим деятелем, партийным организатором. Жуков же был полководцем, человеком военным до мозга костей. Ему не нужно было стараться мыслить военными категориями. Он просто не мог, не умел думать иначе. Военная карта говорила ему больше, чем любое подробное словесное описание.

И сейчас, глядя на одну из таких карт, он хорошо представлял себе реальную расстановку сил в районе боевых действий. Жуков, глядя на карту, не просто воспроизводил картину прошедшего боя — он умел предвидеть характер будущего сражения, в считанные минуты как бы «проигрывал» различные его варианты сначала за себя, потом за противника. Он умел на время абстрагироваться от самого себя и перевоплотиться в противника, чтобы затем, снова став самим собою, оценить намерения врага.

Наконец, Жуков оторвался от карты и проговорил:

— Уверен, фон Лееб пойдет в обход!

— В обход... чего? — не сразу понял Жданов.

— Да высоты, Андрей Александрович, центральной Пулковской высоты! — воскликнул Жуков.

— Почему вы так решили?

— Да потому, что высоту ему никак не удается взять, хотя он кидается на нее уже в который раз! — громко и даже, как показалось Жданову, весело сказал командующий. — Смотрите! — И, склонившись над картой, Жуков стал водить по ней пальцем: — Два направления — здесь, вдоль Финского залива, и тут, с юга в лоб на Пулково, — стали уже шаблоном. Мы привыкли отражать удары именно отсюда. И к новым ударам тут готовимся. Это учитывает фон Лееб. И именно поэтому на сей раз он прикажет Кюхлеру ударить вот оттуда — из района Финского Койрова, в обход высоты с юго-запада!

— Оставляя ее в наших руках?

— Немцы наверняка рассчитывают, что если им удастся ворваться в город, то отсеченная от Ленинграда центральная высота как узел обороны потеряет свое значение. Так произошло с Гатчиной. Все попытки Кюхлера взять Пулковскую высоту в лоб нами отбиты. Что же остается делать фон Леебу? Обойти высоту! Помните: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет!»

— Вы считаете, что маневр будет столь примитивным?

— Ну, изобретать что-либо грандиозное, сражаясь с «русскими хамами», этот пруссачок, вероятно, считает ниже своего достоинства. Мол, по Сеньке и шапка! Он убежден, что мы не способны разгадать его тактических ходов, поскольку находимся в мышеловке. Да и времени изобретать что-то особое у него нет.

Жуков снова нажал кнопку звонка.

— Хозина! — приказал он адъютанту, едва тот отворил дверь.

Через несколько секунд появился Хозин.

— Иди сюда, Михаил Семенович, — приказал Жуков и, обойдя стол, склонился над картой. — Немедленно подготовь указания Федюнинскому о контрударе на случай, если немец попрет отсюда, из района Финского Койрова, — он показал пальцем на карте, — в обход высоты. Это первое. Второе: свяжись с Новиковым и предупреди, что в самое ближайшее время может потребоваться массированная бомбежка этого района. Третье. Передашь в штаб Балтфлота и артиллеристам, чтобы были готовы поставить заградительный огонь перед Кискином и Финским Койровом. Понял? Действуй. Через пятнадцать минут доложишь о результатах. Я буду у себя, наверху.

— Вы полагаете, товарищ командующий... — хотел что-то уточнить обстоятельный, неторопливый Хозин, но Жуков прервал его:

— Действуй! Время дорого! Через пятнадцать минут встретимся — все обсудим. Иди!

Если еще несколько минут назад Жуков размышлял вслух, не скрывая своих сомнений, то теперь командующий преобразился — он вновь стал резким, властным, абсолютно убежденным в своей правоте и не терпящим никаких расспросов и тем более возражений.

— Георгий Константинович, Федюнинский сообщил какие-то новости, подтверждающие ваши предположения? — спросил его Жданов, когда Хозин ушел.

— Нет, у него пока тихо.

— Почему же тогда вы столь твердо уверены, что враг пойдет в обход высоты?

— Пойдет, Андрей Александрович, — убежденно сказал Жуков. — Фон Лееб не был бы Леебом, если бы не пошел. Я этого пруссака нюхом на расстоянии чую. Буду у себя наверху! — бросил он, уже открывая дверь.

Жданов решил тоже подняться в свой кабинет, тем более что, судя по размеренному стуку метронома, обстрел Смольнинского района прекратился.

Он уже направлялся к двери, когда раздался звонок.

Едва взглянув на телефоны, Жданов сразу определил, что звонит аппарат ВЧ.

С тех пор как Ленинград оказался в блокаде, проложенная по дну Ладожского озера линия междугородной правительственной связи ВЧ стала единственной телефонной линией, связывающей город с Москвой.

Разумеется, были и другие формы связи, и прежде всего прямая телеграфная, тоже проложенная под водой. Но переданные по телеграфу слова запечатлялись в виде мертвых букв на узкой бумажной ленте. И только по телефону ВЧ можно было услышать живой человеческий голос.

Москва стала теперь для ленинградцев и очень близкой, и недостижимо далекой.

Близкой не только потому, что была центром руководства обороной страны, но и потому, что символизировала Советскую Родину, все то, ради чего миллионы советских людей шли на смертный бой.

Географическое же расстояние от Ленинграда до Москвы как бы бесконечно увеличилось. Ленинградцы привыкли к тому, что Москва рядом, «под боком». Засыпая в «Стреле», ленинградец видел в окно перрон Московского вокзала в Ленинграде, утром же оказывался на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Теперь же добраться из блокированного Ленинграда до столицы было труднее и опаснее, чем в мирное время до льдов Арктики...

Возможность услышать по телефону живой голос находящегося в Москве человека стала для сотен тысяч ленинградцев недоступной роскошью. И хотя Жданов не входил в их число, поскольку разговаривал с Москвой иногда по нескольку раз в день, с тех пор как Ленинград оказался в блокаде, звонок аппарата ВЧ каждый раз вызывал в нем безотчетное чувство тревоги и радостного волнения.

Он поспешно снял трубку и назвал себя.

— Ты что, уже сидишь на месте Жукова? — раздался в трубке голос, который Жданов мог бы узнать по первому произнесенному слову.

Отлично изучивший все интонации этого голоса, Жданов сразу понял, что Сталин шутит, и тем не менее ответил серьезно и сдержанно:

— Жуков только что отправился наверх, в свой кабинет, товарищ Сталин. Я сейчас скажу, чтобы аппарат переключили.

— Не надо. Как дела на фронте? Положение на вчерашний день я знаю. Что нового на сегодня?

— Особых перемен нет, если не считать, что немцы вот уже два часа обстреливают и бомбят город.

— Много жертв?

— Еще нет точных сведений, налет не кончился. Но жертв, конечно, много. Что касается положения на фронте, то противник пока на прежних рубежах. Однако, по мнению Жукова, немцы с часу на час предпримут попытку нового штурма.

— Так думает товарищ Жуков. А как думает товарищ Жданов?

— Полагаю, что командующий прав, — после короткой паузы ответил Жданов. — Эта ожесточенная бомбежка не случайна.

— Так... — проговорил Сталин. — Минуту. Сейчас возьму карту вашего фронта.

Теперь, когда в трубке не звучал человеческий голос, можно было услышать ровный, негромко гудящий фон, точно эхо всех ветров вселенной тревожным гулом отдавалось в мембране.

Жданов представил себе, как Сталин своей неторопливой, неслышной походкой идет к длинному, узкому столу, берет нужную карту, возвращается обратно...

— Так, — снова раздался в трубке голос Сталина, — в каком же месте Жуков ожидает очередной штурм немцев?

Жданов замялся, поскольку не знал, счел ли бы необходимым сам Жуков высказывать свое предположение Сталину. Однако многолетняя привычка говорить этому человеку только правду, ничего не утаивая, взяла верх.

— Жуков полагает, что противник попытается обойти Пулковскую высоту с юго-запада.

Некоторое время Сталин молчал, очевидно уточняя по карте названный Ждановым район. Потом сказал:

— В свое время Юденич стремился захватить эту высоту и установить на ней свою артиллерию. Почему Жуков считает, что фон Лееб поступит иначе?

— Потому что немцы уже много раз пытались захватить высоту в лоб, но это им не удается, как не удалось и Юденичу. Жуков полагает, что на месте Лееба предпринял бы обход.

— К счастью для нас, Жуков не находится на месте фон Лееба, — ответил Сталин добродушно-иронически.

Затем спросил уже обычным, деловым тоном:

— Но почему все-таки Жуков так уверен, что немцы не попытаются снова взять высоту штурмом?

— Он считает, что из-за ограниченного лимита времени и сил фон Лееб вынужден действовать быстрей.

— Так. Лимит времени... — медленно произнес Сталин. — Да, теперь на очереди у немцев мы,

Москва. Что ж, логично. Вы готовы к этим немецким «действиям быстрей»?

— Мы выполним свой долг, товарищ Сталин.

— Ленинградцы уже выполнили свой долг — сорвали летнее наступление немцев на Москву, — негромко проговорил Сталин с той проникновенностью, которую Жданов ощутил в его голосе только один раз — когда Сталин выступал по радио 3 июля. — Теперь мы просим вас сделать все возможное и... невозможное, чтобы не только отстоять Питер, но и сковать на дальнейшее северную группировку немцев. Мы и впредь будем помогать вам, чем можем. Сегодня Ставка решила перебросить на ваш фронт сто семьдесят пятый штурмовой авиаполк. В ближайшее время к вам вылетит генерал-полковник Воронов, он поможет лучше организовать артиллерийскую оборону города. Кулик получил указание всемерно активизировать действия пятьдесят четвертой армии, чтобы прорвать блокадное кольцо. Я знаю, — голос Сталина зазвучал глуше, — что всего этого мало. Но больше Ставка сделать сейчас не может.

— Мы понимаем, — тихо ответил Жданов.

— У нас есть еще одна просьба к питерцам, — снова заговорил Сталин. — Точнее, к морякам Балтфлота. До нас дошли сведения, правда, еще не проверенные, что у вас под боком, в Стрельне, собралась или собирается какая-то банда, претендующая на роль то ли центральной комендатуры, то ли русского правительства. — Голос Сталина стал жестким, грузинский акцент усилился. — Мы не знаем, из кого состоит это, извините за выражение, правительство, — слово «правительство» Сталин произнес «правытэлство», и от этого оно прозвучало саркастически, — то ли это белогвардейская шваль, пытающаяся проскользнуть в Питер между ног немцев, то ли какие-нибудь другие немецкие марионетки. Во всяком случае, по слухам, они готовятся отслужить благодарственный молебен в Казанском соборе по случаю избавления от проклятых большевиков... Вот мы и думаем: не пойти ли им навстречу, не отслужить ли для них вместо молебна панихиду силами кронштадтской артиллерии? Уточнить место, накрыть район и пропахать его поглубже? В Кронштадте, несомненно, еще есть моряки, которые в свое время били по Юденичу. Уверен, они с особым чувством ударят по его последышам. У меня все, — сказал Сталин. — У тебя есть вопросы?

— Пока только один, товарищ Сталин. Есть ли ответ от Черчилля?

Речь шла об ответе на предложение Советского правительства перебросить на советско-германский фронт несколько английских дивизий для совместной борьбы против общего врага.

— Есть, — с усмешкой в голосе произнес Сталин. — Черчилль ответил, что не может. — Он помолчал и добавил: — В девятнадцатом мог. А теперь, видите ли, не может. — Эти слова «нэ можэт» — снова прозвучали унижающе-презрительно. — У тебя все?

— Да, у меня все, — ответил Жданов.

— Тогда передай братский привет товарищам питерцам. Братский привет и благодарность.

В трубке раздался щелчок. Снова появился далекий гудящий фон.

Жданов повесил трубку. Посмотрел на часы. Снял трубку телефона, соединяющего этот кабинет командующего с расположенным на втором этаже.

— Жуков, — раздалось в трубке.

— Только что звонил товарищ Сталин, — сказал Жданов, — сейчас я к вам зайду. Что слышно у Федюнинского?

— Пока тихо, — сказал Жуков, и Жданов почувствовал, что командующий недоволен этой тишиной, что она тревожит его и настораживает.

Глава XVI

Поздним вечером на набережной Невы, у здания школы выстроился стрелковый батальон, один из вновь сформированных городским штабом народного ополчения.

Через несколько минут батальон должен был отправиться на передовую, но о том, где именно предстоит ему воевать, ни командир, ни комиссар еще не знали. Им, в последний раз оглядывавшим шеренги бойцов, было известно только одно: следует дойти строем до Средней Рогатки, а там погрузиться на автомашины, которые доставят их куда-то на боевые позиции.

Командиром батальона был капитан Суровцев, комиссаром — старший политрук Пастухов. Наскоро сформированное подразделение, которое они приняли, не имело ничего общего с их саперным батальоном, воевавшим два месяца назад на Луге.

После памятного первого боя тот батальон перекидывали с участка на участок то с заданием минировать подходы к позициям, то, когда положение становилось критическим, снова бросая саперов в бой.

В августе батальон занимал оборону на западном фланге Лужской линии, под Кингисеппом. Именно здесь немцы предприняли массированный удар, завершившийся прорывом Лужского оборонительного рубежа.

Для батальона Суровцева, точнее, для горстки оставшихся от него бойцов, настали горькие дни отступления. В трудных боях они прошли вместе с другими частями многодневный путь от Кингисеппа к Ленинграду и были отведены в город на переформирование.

Здесь, в Ленинграде, Суровцев и Пастухов получили приказ явиться в городской штаб народного ополчения. Они уже знали, что различие между прошедшими тяжелые университеты войны ополченцами и кадровыми частями стало весьма отно-

сительным. Не только потому, что ополченскими формированиями теперь, как правило, командовали профессиональные военные, но и потому, что сами ополченцы с каждым днем войны все более превращались в закаленных, опытных солдат.

О том, чтобы их послали в саперную часть, так сказать, по специальности, ни Суровцев, ни Пастухов не просили, зная, что не хватает прежде всего командиров, имеющих боевой опыт командования пехотой.

Стрелковый батальон, в который их направили, был одним из подразделений, дополнительно создававшихся в эти дни во исполнение решения Военного совета фронта. Он формировался частью из бойцов, прошедших трудный путь отступления, частью из добровольцев-ополченцев.

И вот теперь батальон готов был выступить на передовую.

Моросил мелкий дождь. Слышались глухие артиллерийские разрывы.

Накинув на плечи плащ-палатки, Суровцев и Пастухов в последний раз обходили ряды бойцов.

Лица бойцов были сумрачно-сосредоточенны, — каждый из них понимал, что, вероятно, через несколько часов ему предстоить вступить в смертельный бой, что решается не только судьба Ленинграда, но и его собственная судьба.

Невидимый в темноте репродуктор донес на набережную негромкий голос. Оратор говорил монотонно и в то же время торопливо, с каждой фразой все ускоряя темп.

— Ребята, Вишневский по радио... — сказал кто-то из бойцов.

Собственно, он мог бы и не пояснять. Ленинградцы в эти дни безошибочно узнавали голос писателя Всеволода Вишневского.

У Вишневского была необычная манера выступать. Свои страстные речи-призывы он произносил без пауз, спешил, точно боялся, что не успеет сказать все, что хочет, в отведенное ему время.

И тем не менее эти скороговоркой произносимые слова обладали огромной силой воздействия. Обычные, будничные в начале речи, они постепенно обретали глубокий смысл, хотя интонация речи не менялась.

Может быть, именно в этом своеобразном противоречии между лишенной каких-либо внешних эффектов манерой говорить и полным внутреннего накала содержанием и заключался секрет того огромного впечатления, которое производили выступления Вишневского.

Бойцы и командиры стояли неподвижно. Каждому из этих застывших в напряжении людей казалось, что слова писателя-моряка обращены именно к нему, что для него, отправляющегося сейчас на передовую, говорит Вишневский.

Безостановочно следовавшие одно за другим слова напоминали лихорадочную пулеметную очередь. Писатель говорил о том, что сегодня, в этот час, каждый рядовой боец, каждый матрос решает судьбу Ленинграда, что противник несет огромные потери и нужен еще один, решающий удар, чтобы враг зашатался, был сбит с ног. От готовности каждого защитника Ленинграда, каждого коммуниста и беспартийного, каждого комсомольца бросить свою жизнь на чашу весов зависит движение стрелки этих весов...

— Будьте достойны героев, которые умели биться за Родину, честь и правду, — призывал Вишневский, — умели идти в огонь на муки и испытания. Так вперед же, товарищи, вперед, юность, вперед, ленинградцы, вспомним о том, чье имя носит великий город, о неустрашимом Ленине, и ринемся вперед всеми силами!

Вишневский сделал наконец короткую паузу и, по-прежнему не повышая своего глуховато звучавшего голоса, произнес заключительные слова:

— Мы должны победить, должны. И победим!

Четко и размеренно, точно маятник огромных часов, начал отбивать свои удары метроном.

Первым нарушил молчание Суровцев. Тщетно пытаясь скрыть охватившее его волнение, он звонким голосом воскликнул:

— Батальон, слушай мою команду!.. На защиту родного города, на разгром фашистских оккупантов... шагом марш!

И несколько смущенно покосился на стоявшего рядом Пастухова.

— Правильно скомандовал, комбат! — тихо сказал комиссар.

Шеренги бойцов двинулись по Литейному проспекту.

Шаги многих десятков ног, обутых в тяжелые кирзовые сапоги, гулким эхом отражались от стен домов.

Встречные машины притормаживали и прижимались к тротуару, чтобы пропустить воинскую колонну. Редкие прохожие на мгновение задерживались на тротуарах и провожали бойцов взглядами, полными горечи и надежды.

Шагая вместе с Суровцевым во главе колонны, Пастухов вдруг поймал себя на мысли, что ему хочется как можно скорее выйти за пределы города. Проходя мимо разрушенных домов, он ощущал почти физическую боль. Ему казалось, что город кровоточит.

Смысл его жизни заключался теперь в одном: защитить Ленинград от фашистов. Задержать немцев или погибнуть — иного выбора не было.

О судьбе отца и матери, оставшихся в Минске, городе, казавшемся теперь Пастухову почти нереальным, существующим в другом, чужом мире, на другой планете, он не имел никаких известий. Изредка вспоминал он о женщине, на которой женился еще до мобилизации и с которой расстался год спустя, точнее, она рассталась с ним, узнав, что Пастухов решил навсегда остаться в армии, тем самым обрекая ее на постоянные скитания. Он вспо-

минал о ней беззлобно, как моряк, оставшийся в безбрежном океане, вспоминает о последнем виденном им клочке земли, об исчезнувшем за горизонтом острове, к которому больше никогда не вернется...

Все, что было для Пастухова дорогим и близким, слилось в мыслях о Ленинграде.

Ленинград стал для него не просто городом, но и мечтой, которая согревала в холодные северные августовские ночи, когда, пробираясь с бойцами из вражеского окружения под Кингисеппом, в короткие часы отдыха лежал он на просыревшей земле, подстелив шинель и укрывшись плащ-палаткой. С Ленинградом были связаны тогда для Пастухова все его надежды на будущее.

Но, вернувшись в Ленинград, он не испытал ожидаемого чувства радости. Он видел, как любимый город рвут на части снаряды и бомбы, как с грохотом рушатся стены домов, хороня под собой людей. Его мучило сознание собственного бессилия, и желание как можно скорее снова оказаться на фронте стало единственным желанием Пастухова...

И вот через несколько часов он снова будет на передовой.

Захваченный мыслями об этом, Пастухов невольно ускорил шаг.

— Не торопись, — угрюмо сказал Суровцев, — до Средней Рогатки еще далеко.

Батальону действительно предстоял дальний путь через весь город — по Литейному, Владимирскому, Загородному и Международному проспектам.

Они шли и шли, преодолевая километр за километром. И чем ближе подходили к окраине, тем чаще встречались им установленные на скрещениях улиц доты, противотанковые надолбы.

Южная окраина города была совсем пустынной: по решению обкома партии более ста тысяч жителей Нарвской, Московской и Невской застав перебрались в центральные и правобережные районы Ленинграда.

На Международном проспекте батальону то и дело приходилось перестраиваться в цепочку, чтобы пройти между баррикадами, сложенными из камня, мешков с землей, тяжелых вагонных скатов.

Пропуская строй мимо себя, Пастухов напряженно вглядывался в лица бойцов. О чем думали сейчас эти люди? О враге, который на их глазах калечил родной город? О предстоящем бое? О родных и близких, оставшихся там, позади, в затемненных домах, обстреливаемых фашистской артиллерией?..

Если, проходя по центральным улицам города, бойцы еще вполголоса переговаривались, то теперь они молчали. Только плотно сжатые губы, только угрюмые лица выдавали чувства, владевшие сейчас ими.

— Во что город превратился... Страшно смотреть... — хрипло, каким-то чужим голосом сказал Суровцев.

— А ты гляди, гляди! Злее будешь! — отозвался Пастухов.

— У меня злобы и так девать некуда, — мрачно ответил Суровцев, — всем, кому не хватает, одолжить могу...

Пастухов промолчал.

Впереди снова возникла баррикада, и Суровцев опять приказал перестроиться в цепочку.

И снова комбат и комиссар стояли у бойницы, пропуская молчаливых, сосредоточенно шагающих бойцов.

Было уже темно, и бойцы, естественно, глядели себе под ноги, но Пастухову казалось, что они идут, опустив голову, потому что не в силах смотреть на разрушенные дома, что их душат горечь и ненависть.

Десятки дней и ночей провел на фронте Пастухов рядом с бойцами и хорошо знал, чем была для них эта война. Она захватила людей целиком, все их чувства, все мысли. Каждый не только умом, но и сердцем сознавал, что враг угрожает их родной земле, их семьям, всему тому, без чего не мыслил себе существования советский человек.

И, глядя на молчаливо проходивших мимо бойцов, Пастухов подумал о том, о чем думал уже не раз: какова же должна быть сила идеала, ради защиты которого они готовы идти в бой не на жизнь, а на смерть, сражаться до последней капли крови!

Миновав проход в очередной баррикаде, батальон снова перестроился в шеренги и продолжал свой путь по темному Международному проспекту.

Артиллерийская канонада стала слышнее. Время от времени в темном небе взрывались и гасли ракеты, на мгновение освещая окружающее бело-голубым призрачным светом.

Было около двух часов ночи, когда батальон подошел к Средней Рогатке.

— Помнишь, комиссар, как мы тут Звягинцева ожидали? — проговорил Суровцев. — Помнишь, как гадали, каким этот штабной майор окажется?

— Оказался что надо, — ответил Пастухов.

О Звягинцеве ни Суровцев, ни Пастухов не имели никаких известий.

Когда после того, первого боя под Лугой Пастухов с бойцами доставил раненого Звягинцева в расположение батальона, немцы снова пошли в атаку. И тут Звягинцев был ранен вторично, по странному совпадению в ту же ногу. Атаку отбили. А майора пришлось увезти в санбат. На следующий день, когда наступило некоторое затишье, Пастухову удалось связаться с санбатом, но оттуда ответили, что Звягинцева переправили в армейский госпиталь: требовалась сложная операция. А затем опять начались трудные бои, и след майора совсем потерялся.

— Война роднит людей, — задумчиво произнес Суровцев. — Не могу забыть, как мы к этим местам тогда, в июле, подходили... Поверишь, когда сказал майор, что нам под Лугу путь держать, меня как кипятком обдало. Подумал тогда: неужели?! Неужели враг может подойти так близко?! А теперь вот...

— Не хнычь, комбат, — сухо ответил Пастухов.

— Я не хнычу! — горячо ответил Суровцев. — Ты меня знаешь. Доведется с немцем на улицах драться — все равно в победу не перестану верить, патроны кончатся — зубами буду фашисту глотку рвать!

Он помолчал немного и уже тише добавил:

— Не о том я... Просто подумал, как роднит людей война.

— Правое дело роднит, — сказал Пастухов.

— Ладно, не просвещай, сам грамотный. А только я этого майора всю жизнь помнить буду — первый бой вместе принимали. Как подумаю, что его, может, и в живых нет — всю душу переворачивает... Когда товарищ погибает — будто кусок сердца вырывают. Тебя вот, просветителя, не дай бог убьют...

— Меня не убьют, — убежденно сказал Пастухов. — И тебя не убьют. Это я тебе как комиссар заявляю, мне все известно.

— Шуточки?.. — обидчиво проговорил Суровцев. — Ты что, думаешь, я смерти, что ли, боюсь? Друга потерять страшно, боевого товарища, вот я о чем!

— В этих боях все в строю остаются — и живые и мертвые. Да и с чего ты решил Звягинцева-то хоронить? Я, например, уверен, что жив он. Может, сейчас где-нибудь на передовой нас с тобой вспоминает... И не то ты слово все время употребляешь: «страшно». Друга потерять не страшно, а горько. А страшно совсем другое...

— Что же?

— Немца на ленинградских улицах представить. Вот это действительно страшно. Помнишь, нам в политотделе дивизии гитлеровский приказ показывали? Ну, чтобы Ленинград с лица земли стереть. Чтобы все опять в первозданном виде, как до Петра. Топь и болота. Представь себе на минуту — нет Ленинграда, только гнилые испарения над болотами клубятся... Вот об этом действительно подумать страшно!

— Да что ты мне гитлеровскую пластинку проигрываешь! — с неожиданным раздражением проговорил Суровцев. — Мало ли что психу в голову втемяшится! Топь и болота! Придет время, мы его самого заставим в собственном дерьме захлебнуться!

— Такую постановку вопроса поддерживаю! — усмехнулся Пастухов.

Некоторое время они шли молча.

— Слушай, комиссар, — снова заговорил Суровцев, — а есть у тебя такое чувство... ну, как бы это выразить... будто от нас все зависит? Ну не вообще от войск, а именно от нашего батальона? От того, как мы будем держаться... Опять скажешь, не то говорю?..

— Я об этом и сам все время думаю. Понимаю, что не дивизию в бой ведем и даже не полк, а всего лишь батальон, а отделаться от этого чувства не могу. Медленно идем! — неожиданно добавил Пастухов. — Скомандуй прибавить шагу!

Суровцев остановился, молча расстегнул планшет и вынул вчетверо сложенную карту.

— А ну посвети, — сказал он Пастухову.

Тот вынул из кармана фонарик и, прикрыв ладонью стеклянный колпачок над лампочкой, включил.

— Так, — сказал Суровцев, — гаси. До Средней Рогатки осталось метров пятьсот. А гнать быстрее не могу: устали люди.

Они продолжали шагать, с трудом передвигая отяжелевшие после долгого перехода ноги.

— Как полагаешь, где воевать будем? — тихо спросил Пастухов.

— Чего гадать! — махнул рукой Суровцев. — Да и не все ли равно? Впрочем, судя по направлению, полагаю, что где-нибудь в районе Пушкина или Гатчины в бой вступим.

— Оставлены они уже — и Пушкин и Гатчина, — мрачно сказал Пастухов, — немцы там.

— Значит, вышибать придется. Словом, найдут нам место, где немца бить, об этом не беспокойся.

— А я и не беспокоюсь, просто хочу скорее на место прибыть. Думать не могу, что пока идем-бредем, там люди гибнут.

— Пришли, кажется, — проговорил Суровцев, вглядываясь в темноту. — Видишь, вон машины стоят...

Действительно, метрах в тридцати впереди угадывались силуэты выстроившихся цепочкой полуторок. По чистой случайности они стояли как раз в том самом месте, где в начале июля Пастухов и Суровцев ожидали с бойцами прибытия майора Звягинцева.

— Помнишь?.. — тихо спросил Суровцев.

— Все помню, комбат, — так же тихо ответил Пастухов. — Только не время сейчас для воспоминаний. Кончится война, будет генерал Суровцев ребятам в школах рассказывать, откуда он начинал свой боевой путь. А теперь... давай действуй!

Суровцев повернулся лицом к колонне и громким голосом скомандовал:

— Батальон!.. Стой!

К Пулковским высотам батальон Суровцева прибыл перед рассветом, когда там неожиданно наступило затишье: немцы перенесли ожесточенный огонь на городские кварталы.

Никто из командиров частей и подразделений, занимавших южные склоны главной Пулковской

высоты и подступы к ней, не задумывался над тем, что это затишье означает. Для них оно было просто передышкой после неоднократных атак противника, и сколько эта передышка продлится, никто не знал.

Командира полка Суровцев нашел с трудом. Пробираясь по ходам сообщений, меж окопов, из которых санитары поспешно выносили убитых и раненых, обходя артиллерийские позиции, он наконец добрался до КП, оборудованного в пещере на восточном склоне Пулковской высоты.

Не дослушав рапорт Суровцева, комполка обрадованно сказал:

— Вовремя явились, вовремя! У меня фрицы-сволочи за последние трое суток первый батальон почти целиком из строя вывели. Остатки нужно отводить во второй эшелон. Так вот, слушай, капитан, задачу...

Батальону Суровцева надлежало оборонять Пулковскую высоту непосредственно с юга. Именно оттуда немцы вели фронтальные атаки.

«Везучий я человек, — невесело подумал Суровцев, — тогда, на Луге, в самом пекле оказался, и теперь вот...»

— Позиции занимай немедленно, — продолжал командир полка, — траншеи, окопы, ходы сообщений — все уже отрыто, видишь, как для тебя постарались! Лечь костьми, но высоту не отдавать. Ясно?

— Так точно, — угрюмо ответил Суровцев.

Он думал о том, что его батальон сформирован наскоро и внутренне еще не сплочен. Но понимал, что у командира полка нет иного выхода, что его решение поставить на ответственный участок обороны свежее подразделение правильно, и сам он на месте комполка поступил бы точно так же.

— Разрешите выполнять? — спросил Суровцев.

— Выполняйте! — уже подчеркнуто официально приказал комполка, но, когда Суровцев, откозыряв, сделал уставной поворот, задержал его: — наблюдателей расположишь там, на верхотуре, — он ткнул пальцем в потолок пещеры, — ну... в обсерватории. Лучшего обзора не придумать. Что это за высота, сам поймешь, когда наверху побываешь. Теперь все. Иди.

Пока бойцы стрелковых рот занимали окопы и траншеи на подступах к высоте, а связисты тянули свои провода от глубокой воронки, где Суровцев решил расположить КНП батальона, к командирам рот и на КП полка, стало светать.

Суровцев и Пастухов решили подняться на гору, туда, где комполка приказал оборудовать наблюдательный пункт. Сопровождаемые телефонистом с катушкой кабеля и двумя связными, они оказались на вершине, когда солнце подходило уже к горизонту и первые его лучи пытались пробить затянутое облаками и пеленой дыма небо.

Войдя через огромный пролом в стене в здание обсерватории, Суровцев и Пастухов попали в большой зал, потолок которого был разбит прямым попаданием бомбы или снаряда. Стены здания — там в мирное время размещалась картинная галерея обсерватории — также были полуразрушены. По каменному полу, гонимые ветром, носились листки каких-то бумаг.

Вернувшись к пролому, выходящему на юг, Суровцев и Пастухов поднесли к глазам бинокли. Отсюда были прекрасно видны не только наши, но и вражеские позиции.

Земля до самого горизонта была изрезана паутиной траншей, ходов сообщений, причудливыми зигзагами тянулись заграждения из колючей проволоки, чернели разбитые танки и бронетранспортеры.

Лишь в одном месте на этой искореженной, израненной, взрытой снарядами и бомбами, пересеченной окопами, траншеями и противотанковыми рвами земле каким-то чудом уцелел крохотный клочок почвы, на котором желтели колосья несжатой пшеницы.

Они сохранились по странной прихоти стихий войны, их не тронули ни солдатские сапоги, ни гусеницы танков, снаряды и бомбы ложились где-то совсем рядом, не задев их. И несжатые колосья беззащитно выделялись на фоне черной, обескровленной, мертвой земли.

На западе небо заслоняла густая пелена дыма. Очаг огромного пожара находился неблизко, в нескольких километрах, однако ветер доносил и сюда запах гари.

Суровцев вытащил карту.

— Наверное, Урицк горит,— мрачно сказал он.

Пастухов поднес к глазам бинокль.

— Похоже, что так, комбат...

Они перешли к пролому стены, выходящей на север, и оба на какое-то мгновение застыли в изумлении.

С северной стороны гора была не пологой, как с южной, а обрывистой. От ее подножия к городу устремлялось Киевское шоссе, перегороженное противотанковыми надолбами и баррикадами. Весь Московский район города отсюда, с высоты, был как на ладони. Слева в туманном рассвете отчетливо различалась и часть Нарвского района, во всяком случае, сооружения Ждановской судоверфи можно было легко рассмотреть невооруженным глазом.

Только сейчас до Суровцева полностью дошел грозный смысл слов, сказанных ему командиром полка: «Поймешь, когда наверху побываешь...»

— Слушай, комиссар, — тихо сказал он молча стоявшему рядом Пастухову, — ты представляешь себе, что натворит немец, если захватит эту высоту?

Пастухов ничего не ответил.

Да и что он мог сказать? Без слов было ясно, что, захватив высоту, немцы оказались бы поистине хозяевами положения. Город превратился бы в открытую мишень.

— Пойдем, — проговорил Пастухов. Они повернулись и увидели двух командиров, вошедших через пролом в стене.

— Здравствуйте, товарищи! — громко сказал один из них.

Суровцев и Пастухов сразу узнали его. Это был член Военного совета фронта Васнецов. Второй — среднего роста человек со щеточкой усов над верхней губой, с генеральскими звездами в петлицах — был им незнаком.

Сделав несколько шагов вперед, Суровцев и Пастухов вытянулись по стойке «смирно». Но Суровцев не знал, кому именно он должен рапортовать.

Очевидно, Васнецов почувствовал некоторое замешательство комбата.

— Доложите командующему армией генералу Федюнинскому, — сказал он.

Несколько робея и стараясь взять себя в руки, Суровцев коротко доложил, когда прибыл батальон и какую получил задачу.

— Вас поддержат огнем несколько артдивизионов, — сказал Федюнинский. — Высоту надо отстоять. Надеюсь на вас.

Мгновение Суровцев колебался, следует ли ответить «Служу Советскому Союзу!» или промолчать. И неожиданно для себя сказал:

— Ясно, товарищ командующий! Командир полка приказал лечь костьми, но высоту не отдавать.

— Кости ваши нам не нужны, — нахмурился Федюнинский. — Это немцы хотели бы найти здесь кости вместо бойцов. Вы живые нужны Родине. Живые и с оружием в руках.

— Вы комиссар батальона? — спросил Васнецов, заметив красную звезду на рукаве у Пастухова.

— Так точно, старший политрук Пастухов, — доложил, вытягиваясь, тот.

— Послушайте, мы с вами раньше нигде не встречались?

— Я вас видел, товарищ член Военного совета, — спокойно ответил Пастухов, — а вот заметили ли вы меня, не знаю.

— Где это было?

— Под Лугой. В июле. Вы с маршалом Ворошиловым к ополченцам ехали. Бомбежка тогда прихватила.

— Помню, помню, — закивал головой Васнецов. Лицо его оживилось. — Послушайте, — сказал он, — ведь тогда с вами майор Звягинцев был, верно?

— Верно, — угрюмо ответил Суровцев, — был, а сейчас вот нету. Ранило его под Кингисеппом. Не знаем даже, жив ли теперь.

— Жив, жив ваш майор! — улыбаясь, сказал Васнецов. Чувствовалось, что ему доставляет удовольствие в этой трудной, критической обстановке принести людям радостную весть. — На Кировском заводе он сейчас, помогает организовать оборону. Я его совсем недавно видел.

— Слышишь? Жив наш майор! — воскликнул Суровцев и, словно забыв, что перед ними высокое начальство, ударил Пастухова по плечу. — Слышишь, комиссар?

— Это большая радость для нас, товарищ член Военного совета, — подчеркнуто корректно сказал Пастухов, чтобы как-то загладить мальчишескую выходку своего комбата. — Мы вместе с майором Звягинцевым первый бой на Луге принимали. Этого не забудешь.

— Да, этого не забудешь, — проговорил Васнецов. — На Луге вы действительно стояли насмерть.

— Поглядим, как здесь стоять будут, — сухо откликнулся Федюнинский. — Прошу вас, Сергей Афанасьевич... — И повел Васнецова обратно к южному пролому.

Суровцев и Пастухов нерешительно переглянулись, не зная, уходить им или подождать.

Несколько минут Федюнинский и Васнецов стояли у пролома, о чем-то вполголоса разговаривая и время от времени поднося к глазам бинокли. Потом перешли на противоположную сторону, откуда открывалась панорама города.

Васнецов обернулся к стоявшим в отдалении Суровцеву и Пастухову.

— Подойдите сюда, товарищи. Вы видели это?.. — сказал он, когда командиры подошли. — Все мы уже много раз повторяли: «За нами Ленинград». Это «за нами» измерялось сначала сотнями, потом десятками километров. А теперь оно измеряется уже шагами. Если отдадите высоту, Ленинграду придется очень туго. Разумеется, это не значит, что в тылу Пулковской высоты нет наших войск. Но если немцы захватят высоту, они будут расстреливать город в упор. Это все, что я хотел вам сказать.

Во время боя рядовой воин смотрит смерти прямо в глаза. И, как бы учитывая это, война не нагружает его другим неимоверной тяжести грузом — ответственностью за исход сражения в целом, за жизнь других таких же бойцов.

Эту ношу несут командиры. И чем выше рангом командир, тем тяжелее ноша. Она ощущается не плечами, а умом, сердцем, каждым нервом.

Именно такой тяжелый груз нес на себе генерал-майор Федюнинский с тех пор, как получил приказ принять командование 42-й армией, оборонявшей южные и юго-западные окраины Ленинграда.

В последние дни второй декады сентября обста-

новка под Пулковом, Урицком, на Стрельнинском направлении накалилась до крайности.

Тщетно пыталась 21-я дивизия НКВД вернуть захваченный врагом Урицк. Несколько раз город переходил из рук в руки, пока немцам не удалось прочно там закрепиться.

Бойцы 5-й дивизии народного ополчения самоотверженно дрались за деревню Кискино, которая имела большое оперативное значение, поскольку находилась на фланге Пулковских высот. Но и здесь потеснить врага не удалось.

Однако защитники Ленинграда недаром проливали свою кровь, недаром стояли насмерть. Бои, с такой силой разгоревшиеся во второй половине сентября, показали, что если войска, обороняющие Ленинград, пока что не в состоянии погнать врага вспять, то и немцы не в силах продвинуться ближе к городу.

Все новые и новые танки и части мотопехоты бросали они, пытаясь прорваться в Ленинград, но, встретив активный отпор армии Федюнинского, откатывались на исходные позиции. Казалось, что стрелка весов, ежеминутно вздрагивая и колеблясь то вправо, то влево, снова и снова застывала на середине шкалы, фиксируя неустойчивое равновесие сил. Это не было равновесие затишья, какое нередко складывается на отдельных участках фронта, когда обессилевший после бесплодных попыток изменить ситуацию противник временно прекращает атаки, а обороняющиеся войска, тоже измотанные, пользуются передышкой для перегруппировки сил.

Нет, равновесие, создавшееся в те дни под Ленинградом, было не затишьем, а непрерывной, ожесточенной схваткой. Распаленные мыслью о близости Ленинграда, немцы, истекая кровью и неся огромные потери, всячески старались преодолеть считанные километры, отделяющие их от города, а войска Ленинградского фронта не только отражали натиск врага, но и использовали каждую возможность для контратак.

Как долго при этих условиях может сохраняться создавшееся равновесие противоборствующих сил и где именно немцы попытаются сделать решающую попытку нарушить его — таков был главный вопрос, стоявший перед Федюнинским и Военным советом Ленфронта.

Жуков, убежденный в том, что немцы пойдут на прорыв именно у Пулковской высоты, причем попытаются обойти ее с юго-запада, приказал срочно соорудить в этом районе дополнительные противотанковые препятствия.

Выполнение этой неотложной задачи наталкивалось на почти непреодолимые трудности, так как сделать это нужно было в условиях ожесточенных боев, непосредственно перед вражескими позициями, под непрерывным артиллерийским обстрелом. Создание простейших и вместе с тем наиболее эффективных препятствий такого типа — противотанковых рвов — требовало большого количества рабочих рук. Скопление же людей перед передним краем обороны немедленно оказалось бы обнаруженным врагом...

Начальник инженерных войск фронта полковник Бычевский предложил выход: перебросить сюда из Кронштадта и расставить перед немецкими позициями крупные морские мины.

Выполнение этой задачи было сопряжено с огромной опасностью. Мины можно было доставить лишь по связывающему Кронштадт с Ленинградом Морскому каналу, а канал, как и весь город, находился под обстрелом вражеской артиллерии. Прямое попадание хотя бы одного снаряда в груженное минами судно повлекло бы за собой чудовищной силы взрыв и множество жертв среди городского населения.

Однако балтийским морякам удалось доставить мины без потерь. Переброска же их из города к линии фронта, в район Пулковских высот, была уже относительно несложным делом.

Ночью под покровом темноты мины были установлены. Это потребовало от саперов, которыми руководил полковник Бычевский, огромного мужества.

Той же ночью мины взорвали, и на полоске земли, разделявшей наши и вражеские позиции, образовались глубокие противотанковые рвы.

Эти взрывы прогремели за несколько часов до того, как батальон Суровцева достиг Пулковских высот. Именно с целью лично проверить результаты произведенных взрывных работ прибыл на КП Федюнинского Васнецов, на которого еще с начала войны обком возложил общее руководство строительством оборонительных сооружений в Ленинграде и на подступах к городу.

...Ничего этого, естественно, не знали Суровцев и Пастухов, когда стояли у пролома в стене Пулковской обсерватории, глядя вслед спускавшимся по склону горы Федюнинскому и Васнецову. Глубокие черные рвы, зиявшие перед немецким передним краем и хорошо различимые с высоты в бинокль, они приняли за уже давние, своевременно подготовленные противотанковые препятствия.

Зато комбату и комиссару было хорошо известно другое: примерно полукилометровый по ширине участок фронта, отлично видный отсюда, надлежит оборонять именно их батальону. На этом сейчас сосредоточились все мысли Суровцева и Пастухова.

Командиры высшего ранга могут целиком обозреть те рубежи, которые занимает их дивизия, армия или фронт, лишь на карте. И лишь по карте могут они, как правило, следить за коллизиями боя, за наступлением или отступлением подчиненных им частей. Но командиры рот и батальонов со своего командного или наблюдательного пункта обычно видят воочию ту землю, которую им пред-

стоит оборонять. И каждая пядь этой земли, каждый ручеек, протекающий по ней, каждое дерево, каждый пригорок или лощинка приобретают для них неповторимое значение, на какое-то время вбирают в себя их души. И даже исход всей войны в минуты и часы боя неразрывно связывается в сознании этих командиров с судьбой того рубежа, который их бойцы защищают.

Проводив взглядом спускавшихся по склону Федюнинского и Васнецова, Суровцев посмотрел на часы.

— Я пошел вниз, комиссар, — проговорил он озабоченно. — Проверю, как оборудован КНП и обеспечена ли связь с полком. Останься пока здесь. Когда вернусь, пойдешь в роты. Одного связного я возьму, другой пусть будет с тобой.

Суровцев ушел. Пастухов, стоя у пролома, снова и снова оглядывал в бинокль передний край немцев.

Внезапно он услышал за спиной:

— Видать, большое начальство наведывалось, товарищ комиссар?

Пастухов обернулся. Рядом с ним стоял связной.

— Немалое, — ответил Пастухов.

— Беспокоятся, значит, за высотку. И правильно. Проклятое место.

— Это смотря кто им владеет.

— Тоже верные слова, — согласился боец.

В Ленинграде у Пастухова просто не хватило времени, чтобы познакомиться со всеми бойцами вновь сформированного батальона, и этого пожилого красноармейца в мешковатой гимнастерке, в огромных кирзовых сапогах с широкими голенищами, в которых болтались тонкие ноги, он не помнил.

— Ополченец? — спросил он.

— Был ополченцем. Сегодня, можно сказать, кадровый, — ответил боец, вытягиваясь, отчего живот его выступил над низко затянутым ремнем.

— Фамилия?

— Воронихин.

— Что-то я вас на марше не приметил.

— А я с вами не шел, товарищ комиссар, я вам в наследство достался. От того батальона, что в тыл отвели, когда вы на смену пришли.

— А почему же вы остались? Отдохнули бы после боев, отоспались, — удивленно спросил Пастухов.

— Чего туды-сюды ходить! Ноги-то не чужие, — махнул рукой Воронихин. — А сплю я совсем мало. И до войны так было. Старикам, говорят, не спится.

— Связному тоже придется «туды-сюды» ходить, — усмехнулся Пастухов.

— Так то по делу...

Пастухов посмотрел на бойца с любопытством.

— Где работали до войны?

— В Государственном академическом имени Кирова театре оперы и балета, — ответил Воронихин так торжественно, точно рапортовал о принадлежности к какой-то особо прославленной части.

— Что же вы там делали? — с невольной улыбкой спросил Пастухов. — Пели?

— В гардеробе работал. Ну, а потом, кто чего по художественной ценности стоил, тех в другой город эвакуировали.

— А вас оставили?

— Зачем? — обиженно сказал Воронихин. — Я в Мариинке, почитай, четверть века работал. И мне было сказано: пожалуйста, Степан Гаврилыч, эвакуируйтесь, поезд двадцать семь, вагон восемь.

— Ну и что же вы?

— Я-то? Как подумал: ну его, туды-сюды ездить... Спросил: а в солдаты можно? Давай, говорят, Воронихин, возьмем, без тебя и ополчение не ополчение. Вот так оно и получилось.

Последние фразы связной произнес уже с явной усмешкой.

Но Пастухов предпочел ее не заметить.

— Ладно, друг Воронихин, — сказал он, — будем воевать вместе. А пока вот что, наведи-ка ты тут на полу порядок. Видишь, вон книжки какие-то ветер треплет, листки вырванные — словом, собери все это в стопку, бечевку найди и свяжи. Может быть, что и ценное звездочеты впопыхах забыли.

Где-то внизу разорвался снаряд.

Пастухов поднес к глазам бинокль. Наши позиции у подножия высоты оживали: бойцы тащили пулеметы, устанавливали противотанковые ружья. Немцы, видимо, заметили движение и начали обстрел.

За спиной Пастухова снова раздался голос Воронихина. Обернувшись, Пастухов увидел, что связной, вместо того чтобы собирать разбросанное, сидит на корточках и читает вслух:

— ...Цель учреждений Главной обсерватории состоит в производстве: а) постоянных и сколь можно совершеннейших наблюдений, необходимых для географических предприятий империи и...

— Отставить, Воронихин, здесь не библиотека, — сердито сказал Пастухов. — Вам было приказано...

— Больно интересно, товарищ комиссар, — с обезоруживающей улыбкой произнес Воронихин, вставая, но не выпуская книги из рук.

— Дайте сюда.

Пастухов перелистал грязные, уже покоробившиеся от дождя и ветра страницы книги. Это была популярная брошюра, посвященная истории сооружения Пулковской обсерватории. Глаза Пастухова скользили по строчкам: «Точное определение положения звезд...», «В галереях хранятся меридианные инструменты...»

«Положение звезд... меридианные инструмен-

ты... — мысленно повторил он про себя. — Как странно звучат сейчас эти слова!.. Подумать только: все хочет знать человек, когда на земле мир, — и положение звезд на небе, и все эти меридианы и параллели... А сейчас смысл жизни сводится к одному — выстоять, не пустить фашистов в родной город, уничтожить врага».

Снова где-то внизу разорвался снаряд. Пастухов бросил книжку в угол и опять повернулся к пролому. Он увидел Суровцева, поднимающегося наверх в сопровождении трех командиров. Двое из них, лейтенанты Сухарев и Огарков, командовали ротами, третьего Пастухов не знал.

«А где же командир третьей роты лейтенант Рыжов?» — тревожно подумал Пастухов.

— Так вот, комиссар, — сказал, подходя, Суровцев,— еще бой не начался, а уже потери имеем. Рыжова убило. Пока бойцы окоп для ротного НП отрывали, его и убило. То ли пулей шальной, то ли осколком. Командир полка в это время в расположении роты находился, приказал принять командование вот ему... младшему лейтенанту... извините, запамятовал фамилию...

Пастухов взглянул на нового ротного. Он был явно старше других командиров, небольшого роста, с рыжеватыми усами на морщинистом лице. Ротный выпрямился, прижал свои короткие, с несоразмерно широкими ладонями руки к бедрам и медленно, точно не отдавая рапорт, а начиная спокойную беседу, сказал:

— Горелов я, Михаил Игнатьичем звать.

— Из ополчения? — спросил Пастухов.

— Из него. С «Электросилы», может, слышали, такой завод есть.

— Чем командовали? — настороженно спросил Пастухов, от которого не укрылось, что два других ротных, молодых, стройных, подтянутых, смотрели на Горелова несколько иронически.

— Взводом командовал,— все так же спокойно и рассудительно ответил тот. — Да и ротой пришлось. Помене суток. Ротного у нас вчера миной убило. Прямое попадание. На клочки, можно сказать, разнесло человека. Вот я командование и принял.

— Насколько я понимаю, вы из батальона, который мы сменили. Почему не ушли на переформирование?

Горелов пожал плечами:

— Дак как же уйти-то? Комполка приказал в распоряжение комбата поступить. — Он кивнул на Суровцева.

— Мог бы посоветоваться со мной, — вырвалось у Суровцева.

— Приказы командования обсуждать прав не имею, — бесстрастно ответил Горелов.

— Ладно, — махнул рукой Суровцев, — для разговоров времени нет.

Он расстегнул планшет, вынул карту, огляделся, на чем бы ее расстелить, и крикнул:

— Связной! Тащи эту библиотеку сюда!

Воронихин приподнял кипу книг и рукописей, которые уже успел сложить и перевязать обрывком телефонного провода, и понес к Суровцеву.

— Здорово, Воронихин! — сказал, увидев его, Горелов. — Ты здесь откуда?

— А я ведь и вас о том же спросить бы мог, товарищ младший лейтенант, — усмехнувшись, ответил Воронихин. — Только знаю, по чину не полагается, вот и молчу.

— Разговорчики! — пробурчал Суровцев и, дав знак Воронихину отойти, сказал, обращаясь к командирам:

— Я привел вас сюда, товарищи, чтобы вы могли с высоты ознакомиться с местностью. Глядите... — Он подождал, пока командиры рот осмотрели район боев. — Теперь попрошу внимания, товарищи. Противник много раз атаковал эту высоту, и не исключено, что снова попытается захватить ее. Не только не исключено, — поправился он, — наверняка будет атаковать. Недавно здесь были командующий армией и член Военного совета фронта. Командующий сказал, что нас надежно поддержит артиллерия. Если противник бросит танки, артиллерия поставит перед ними заградительный огонь. Да и ваши бойцы знают, что делать, — противотанковых бутылок в ротах достаточно.

Командиры слушали Суровцева с напряженным вниманием.

— Как только немцы залягут, — продолжал он, — а мы должны сбить их с ног, — рота Сухарева на правом фланге, а на левом — рота Горелова, ваша рота, — обратился Суровцев непосредственно к младшему лейтенанту, точно опасаясь, что этот пожилой ополченец недостаточно ясно поймет его приказ, — начнут контратаку. Я буду находиться здесь, на НП. Вопросы есть?

Последовало несколько обычных в подобных случаях вопросов: о снабжении боеприпасами, о соседях справа и слева.

Когда все было выяснено, Суровцев приказал:

— А теперь подойдите на минуту туда, — он кивнул на пролом в противоположной стене, — и посмотрите, что́ будете защищать.

Командиры рот подошли к пролому и молча глядели на раскинувшийся перед ними Ленинград.

— Можете отправляться в свои роты, — сказал комбат. — Младшего лейтенанта Горелова прошу задержаться.

Командиры первой и второй роты ушли.

Комбат испытующе посмотрел на стоявшего перед ним далеко уже не молодого человека.

В душе Суровцев был уверен, что назначать командиром роты, обороняющей ключевую высоту, пожилого ополченца, даже если он и получил командирское звание, было неправильно. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не дать понять это са-

мому Горелову: назначение уже состоялось, и показать подчиненному, что комбат ему не доверяет, значило посеять в его душе если не страх, то неуверенность в себе, во всяком случае.

— Вам уже приходилось участвовать в боях? — спросил Суровцев и тут же понял нелепость вопроса, — ведь батальон, в котором прежде служил Горелов, вел бои именно за эту высоту.

– Приходилось, — спокойно ответил Горелов.

— Только здесь?

— Да в разных местах, товарищ капитан. Под Кингисеппом воевал, под Красным Селом. Как Воронихин говорит,«туды-сюды» мотался. А под этой горкой мне ногу перешибло.

— Ногу? — с недоумением переспросил Суровцев: когда они шли сюда, на НП, Горелов ступал твердо, не хромая. — Давно это случилось?

— Лет двадцать тому назад с гаком.

— Что?! При чем здесь двадцать лет назад?! — раздраженно посмотрел на пожилого младшего лейтенанта Суровцев.

— Постой, постой, капитан! — поспешно вмешался в разговор до сих пор молчавший Пастухов. Он понял, о чем говорит Горелов. — Михаил Игнатьевич, вы здесь дрались с Юденичем?

— Именно здесь, — кивнул Горелов, — здесь мы его в гроб и вогнали. — Усмехнулся и добавил: — Молодежь этого, разумеется, не помнит. Вы Юденича-то только в тире видели. Фанерного.

Пастухов, некогда заведовавший музеем, мгновенно вспомнил экспозицию, посвященную гражданской войне: карту, на которой синими стрелами были отмечены направления удара войск Юденича на Петроград, и висевшее рядом с ней воззвание Ленина к защитникам города.

«Как же я не подумал об этом раньше! Кем теперь будет считать меня этот Горелов? Тупым бурбоном, не знающим истории гражданской войны?..»

Чтобы хоть как-то выйти из неловкого положения, Суровцев сказал:

— Ну, Юденич — это еще не Гитлер. Сила не та.

И понял, что опять сказал глупость.

— Сила у него, конечно, была не та, что теперь у Гитлера, — спокойно и точно не замечая смущения Суровцева, ответил Горелов, — но ведь и наши силенки тогда тоже не те были... Так что выходит одно к одному...

— Вот что, Михаил Игнатьевич, — снова называя младшего лейтенанта по имени-отчеству, решительно сказал Пастухов, — я сейчас пойду в вашу роту. Вместе пойдем. Обо всем этом надо рассказать бойцам. Как жалко, что негде достать того воззвания Ленина!

— Почему же? — все так же спокойно заметил Горелов. — Всего воззвания у меня нету, но кое-что имею при себе. Когда в ополчение собирался, попросил парткомовскую машинистку перепечатать.

Он не спеша расстегнул нагрудный карман гимнастерки, вынул оттуда партбилет в красной обложке и, достав из него сложенный вчетверо, лоснящийся на сгибах листок бумаги, развернул его и протянул Пастухову.

Пастухов пробежал листок глазами и стал читать вслух:

— «Бейтесь до последней капли крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, будьте стойки до конца, победа недалека! Победа будет за нами!..»

Дочитав, он бережно сложил листок, вернул его Горелову.

— Держи, Игнатьич! Храни, не потеряй!

Горелов пожал плечами:

— В партбилете храню. А партбилет терять не полагается. С ним живут, с ним и помирают...

Он в первый раз в упор и с вызовом поглядел на Суровцева.

Тот опустил глаза.

— А теперь пошли вниз, товарищ Горелов, — сказал Пастухов. — Прощай, капитан! Связь буду держать... Пошли!

Глава XVII

Части армии Кюхлера начали задуманную фельдмаршалом фон Леебом операцию.

Ровно в одиннадцать часов утра на подступах к Пулковской высоте и южном ее склоне загрохотали разрывы артиллерийских снарядов. Одновременно на высоту обрушились десятки бомб.

Командный пункт генерал-майора Федюнинского был оборудован в подземной галерее главной Пулковской высоты. Саперы пробили в толще ее вместительный туннель-убежище, где расположились командующий армией, начальник штаба и армейский узел связи. Из туннеля было два выхода, один вел к подножию высоты, через другой можно было по траншеям пробраться наверх, в развалины обсерватории, а также на огневые позиции артиллеристов.

Как только немцы начали артподготовку, Федюнинский, которому Жуков приказал о любых акциях немцев докладывать ему лично, немедленно сообщил командующему, что противник начал обстрел и бомбежку Пулковской гряды.

— Следи за правым флангом! — напомнил Жуков. Он уже не раз за последние часы повторял это Федюнинскому.

Невзирая на сильный обстрел, Федюнинский поднялся наверх, на свой наблюдательный пункт, внимательно осмотрел в бинокль южный и западный склоны Пулковского хребта. Вернувшись на КП, он снова соединился с Жуковым и доложил, что артобстрел высоты продолжается и, судя по доносящемуся гулу моторов, противник концентрирует танки

на том же участке, что и раньше, — видимо снова намереваясь штурмовать высоту в лоб.

Жуков слушал его, не прерывая, и, когда Федюнинский кончил, сказал:

— Возможно, ты и прав. А все же следи за правым флангом.

Через сорок пять минут артиллерийский обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. На немецкой стороне взвились две ракеты — красная и белая, и сразу же солдаты в серо-зеленых кителях, лежавшие в укрытиях, поднялись и устремились к высоте, в атаку.

Теперь сомнений не оставалось: противник — в который уже раз! — пытался штурмовать Пулковскую высоту с юга, а не обходить ее, как предполагал Жуков.

Убедившись в этом окончательно, Федюнинский вздохнул с облегчением.

Отбивая штурмующих в лоб немцев, советские войска пользовались всеми теми преимуществами, которые дает владение командной высотой. Кроме того, за истекшую неделю боев не только полевая артиллерия, но и дальнобойная морская, ведя огонь как по тылам противника, так и по его переднему краю, успела хорошо пристреляться.

Со своего КП Федюнинский видел, что все происходит по разработанному им плану: заградительный огонь семи артиллерийских дивизионов заставил противника снова залечь. И тогда, отсекая наступавших цепями немцев от их тылов, открыла огонь тяжелая артиллерия.

Не только генерал-майор Федюнинский, но и командир немецкой дивизии, брошенной на штурм высоты, не знал, что бой, который сейчас ведут его войска, имеет не решающее, а вспомогательное значение: ни фон Лееб, ни Кюхлер не посвятили его в свой замысел. Обходить высоту должно было другое соединение — ударная танковая группа, которая, пользуясь тем, что все внимание русских привлечено к частям, штурмующим высоту, заняла исходные позиции в мелколесье Финского Койрова.

Приказ же Кюхлера атакующей высоту дивизии был короток и предельно ясен: захватить высоту, установить на ее вершине артиллерийские орудия и подавить сопротивление советских войск, расположенных на Московском и Киевском шоссе.

Когда наступающие цепи врага оказались меж двух огней, командир немецкой дивизии правильно решил, что только бросок вперед, непосредственная схватка с советскими солдатами могут спасти его войска, зажатые артиллерийскими клещами, от истребления. Он приказал начальнику штаба немедленно передать командирам полков приказ о новой атаке, но советские войска опередили его. Когда огонь артдивизионов заставил немцев залечь, Суровцев приказал ротам начать контратаку.

Пастухов в это время находился на НП младшего лейтенанта Горелова. Выслушав приказ, Горелов спокойно сказал:

— Что ж, значит, я и начну.

И, схватив лежавший на дне окопа автомат, стал выбираться на бруствер.

Пастухов хотел удержать его, напомнить, что лично вести бойцов в атаку должны командиры взводов, но не решился: после разговора в обсерватории он несколько робел перед необычным младшим лейтенантом.

Пригнувшись, Горелов добежал до места, где залегли бойцы его роты, перепрыгнул через окоп и, повернувшись к бойцам, крикнул неожиданно звучным, молодым голосом.

— Третья рота! За Родину, за Сталина — впере-ед!

Пастухов знал, как трудно подняться под свистом пуль и разрывами мин, знал, что именно первые секунды являются решающими: или бойцы, подчиняясь чувству долга и воле своего командира, находят в себе силы вскочить на ноги и в упор взглянуть в лицо смерти, или остаются в укрытиях.

К радости своей, Пастухов увидел, что из окопов поднимаются десятки бойцов. Обгоняя Горелова, они устремились вперед.

Казалось, земля задрожала от выстрелов, грохота разрывов, топота сапог и криков, в которых слились воедино высокие призывные слова и рвущаяся из души ругань...

Только тут Пастухов заметил, что и он бежит вперед, размахивая трофейным парабеллумом, бежит, обгоняя стреляющих на ходу бойцов, туда, где виднеются серо-зеленые фигурки вражеских солдат.

Уже в который раз была перебита телефонная линия между наблюдательным пунктом Суровцева и КП полка, уже несколько связных погибло на склонах высоты, пробираясь с КНП батальона к командирам рот, уже в груду камней и щебенки была превращена стена обсерватории, за которой расположился батальонный НП, а бой все продолжался. Казалось, не приказы, отдаваемые командирами, не почерпнутые из уставов и наставлений знания, а нечто иное руководит людьми в этом яростном бою.

Суровцев давно покинул свой КНП и, находясь в боевых порядках, пытался с помощью связных давать указания командирам рот.

Бойцы ворвались в первую линию немецких окопов и сцепились с вражескими солдатами врукопашную. Теперь уже не слышно было ни лозунгов, ни призывов. Только самые страшные ругательства сотрясали воздух, который, казалось, стал раскаленным, как в пустыне, от жара пулеметных и минометных стволов, от горящих танков и броне-

транспортеров, от ненависти, владеющей сотнями людей...

Только когда оставшиеся в живых немцы отступили во вторую линию траншей, Пастухов словно очнулся. Он все еще сжимал в руке рукоять парабеллума, хотя патроны давно были расстреляны. В ушах звенело, глаза запорошила пыль.

Пастухов не знал, ни где сейчас Суровцев, ни где командиры рот, ни каковы потери батальона. Одно он знал наверняка: враг отброшен. По крайней мере, на их участке.

Пастухов шел, почти не пригибаясь, в сползшей на затылок стальной каске и взмокшем от пота подшлемнике, в разорванной гимнастерке, сжимая рукоять бесполезного уже парабеллума, не думая о том, что шальная пуля или осколок могут задеть его.

И вдруг он заметил, что Пулковскую высоту обволакивает туман. Это был какой-то странный туман грязно-желтого цвета. Он стелился по низине и, медленно поднимаясь, прикрывал высоту.

«Наверное, взорвались какие-нибудь старые склады с химикатами», — устало подумал комиссар.

В сгущающемся желтом тумане сновали санитары с носилками, раздавались чьи-то стоны, кто-то кого-то звал...

По рогатине стереотрубы, возвышающейся над бруствером, Пастухов узнал окоп, где недавно располагался наблюдательный пункт Горелова. Спрыгнув вниз, он увидел, что в углу окопа сидит какой-то боец, странно согнувшись и прижав руки к животу.

Пастухов тронул его за плечо. Боец повалился на землю, и Пастухов понял, что боец мертв. Вылез из окопа и, пошатываясь от усталости, двинулся к едва различимым в тумане людям.

— Товарищи! — громко позвал он. — Это я, комиссар батальона! Кто-нибудь знает, где командир третьей роты?

— Убит! — донеслось до Пастухова в ответ.

— Что?! — замер на месте Пастухов и тут же крикнул: — Ко мне!

Через мгновение перед ним вырос рослый боец с карабином в руке.

— Какой роты? — торопливо спросил Пастухов с безотчетной надеждой, что боец совсем из другого подразделения и что-то напутал.

— Третьей, товарищ старший политрук. Второй взвод третьей роты.

— Что с Гореловым, где он?! — прямо в лицо бойцу выкрикнул Пастухов.

— Да убит же, — хрипло повторил боец. — Мы его в землянку перенесли, тут, неподалеку. Хотите, проведу?

В тесной сырой землянке, едва освещенной тусклым огнем коптилки, на расстеленной прямо на земляном полу плащ-палатке лежал Горелов.

Склонившийся над ним боец крикнул, не оборачиваясь:

— Ну? Есть носилки?

— Что с ним? — спросил с порога Пастухов.

Боец повернул к нему голову и поспешно поднялся.

— Связной командира третьей роты, — доложил он. — Извините, товарищ старший политрук, не признал. Носилки вот все прошу принести.

«Если нужны носилки, значит, он жив!» — лихорадочно подумал Пастухов, выскочил из землянки и, схватив пробегавшего мимо бойца за рукав, проговорил, задыхаясь и глотая слова:

— Я... Пастухов... комиссар! Немедленно раздобудь носилки! Быстро! Вот в эту землянку доставить!

Боец исчез в темноте.

Пастухов бросился обратно в землянку.

— Жив? Я спрашиваю, жив он? — крикнул он связному, все еще стоявшему на коленях перед Гореловым.

— Да вот разобрать не могу, товарищ комиссар, — ответил боец, — то, кажись, дышит, а то совсем нет... В медпункт его надо! Вот только носилки...

— Сейчас принесут!

Грудь Горелова была перебинтована поверх гимнастерки, на бинтах расплывались красные пятна. Лицо было черным от грязи и копоти.

— Осколком в грудь, — тихо пояснил связной. — Он бойцов в атаку поднимал. Мы из первой линии окопов фрицев вышибли, а тут они из пулеметов ударили, головы не высунешь! Ну, комроты первым из окопа выскочил, за мной, кричит, товарищи, тут, кричит, белые банды смерть свою нашли!.. Бей контру! И один вперед побежал на немцев! Полсотню метров, пожалуй, один бежал, а потом ребят наших, должно, стыд взял, все из окопов — и за ним... Вот в этот самый момент его осколком в грудь и садануло...

— Осколком, говоришь? — переспросил Пастухов связного.

Где-то в глубине души у него еще теплилась надежда, что Горелов жив, что он просто потерял сознание.

— Осколком в грудь, — повторил боец, понизив голос, точно боялся, что Горелов может его услышать. — Все, все разворотило! Легкое видать... Страсть! Я перебинтовал, как умел, только что толку...

Пастухов уже не слушал связного. Склонившись над лицом Горелова, он тихо произнес:

— Игнатыч, друг, ты слышишь меня?.. Отстояли мы высоту, слышишь?

Закопченное лицо Горелова было неподвижно. Но Пастухов, словно не замечая этого, почти касаясь губами уха Горелова, продолжал с еще большей настойчивостью:

— Ты, Игнатыч, молчи, не тревожь себя, толь-

ко слушай. Отстояли мы высоту, понимаешь? И хрен теперь немцам Ленинград увидеть! Лежать им теперь до скончания веков в этой земле вместе с теми беляками, слышишь?!

Ни один мускул не дрогнул на лице Горелова. Но комиссар продолжал говорить, то возвышая голос, то снижая его до шепота:

— Бойцы твои, Игнатыч, дрались геройски, слышишь? Ты держись, не смей помирать, дел впереди много, завтра, может, снова в бой. Ты меня слышишь?

И вдруг Пастухову показалось, что окровавленные бинты на груди Горелова чуть шелохнулись.

— Давай сюда свет! Ближе! — крикнул он и, выхватив коптилку из рук бойца, поднес ее к лицу Горелова.

Но глаза ротного по-прежнему были закрыты. Смерть, казалось, уже наложила свою печать на его морщинистое, со впавшими щеками лицо.

У входа послышался шорох осыпающейся земли, и в землянку поспешно вошли двое. Пастухов приподнял коптилку и увидел, что один из вошедших был рядовым, в петлицах другого зеленели два кубика. В руке он держал маленький дерматиновый чемоданчик.

— Товарищ комиссар, — доложил тот, что был с чемоданчиком, тщетно пытаясь выпрямиться и упираясь головой в потолок землянки, — военфельдшер Курбатов. Носилки там, у входа. Сейчас мы его...

Не договорив, он склонился над Гореловым, приложил ухо к его забинтованной груди, поднял голову и почему-то шепотом сказал:

— Дышит!

Торопливо раскрыл чемоданчик, вытащил из продолговатой металлической коробки шприц и, закатав Горелову рукав гимнастерки, сделал укол. Несколько секунд глядел на по-прежнему неподвижно лежавшего Горелова, потом скомандовал:

— Взяли! — и добавил: — Пособите к носилкам вынести, товарищ комиссар.

Поставив коптилку на пол, Пастухов приподнял Горелова за плечи и вдруг заметил, что тот открыл глаза.

— Игнатыч! — не помня себя от радости, вскрикнул Пастухов. — Это я, комиссар! Лучше тебе?

— Товарищ старший политрук, нести надо! — настойчиво сказал военфельдшер и скомандовал пришедшему с ним бойцу и связному:

— Вы за ноги берите, а мы с товарищем комиссаром...

Он не договорил, потому что в этот момент Горелов едва слышно, но отчетливо произнес:

— Не трожьте!..

Все, невольно подчиняясь его приказу, опустили руки.

— Михаил Игнатьевич, — снова склонясь над Гореловым, сказал Пастухов, чувствуя, что не может справиться с охватившим его волнением, — держись, все в порядке будет! Мы тебя сейчас в ПМП[1] доставим, а ты лежи, спокойно лежи, ни о чем не думай, только лежи!.. Давайте, товарищи, взяли!

— Оставьте! — на этот раз уже громче проговорил Горелов.

Все опять застыли в нерешительности.

Пастухов увидел, что губы Горелова снова зашевелились, но слов не было слышно. Комиссар опять склонился над раненым, почти касаясь ухом его запеченных губ. И тогда услышал затухающий шепот:

— Как... высота?

— Отстояли, Игнатыч, наша высота! Как была, так и есть: наша! — на одном дыхании выпалил Пастухов.

— Ну... вот... значит, и теперь тоже...

— Что он говорит, товарищ комиссар? — торопливо спросил военфельдшер.

— Погоди, тихо! — перебил его Пастухов.

Горелов снова пытался что-то сказать.

Приникнув к его губам, Пастухов с трудом разобрал:

— Партбилет возьми, комиссар, партбилет...

Губы Горелова сомкнулись, глаза закрылись.

— Просит взять партбилет, — нерешительно повторил Пастухов. И добавил: — Он у него в кармане лежал, в гимнастерке...

— Какой уж там партбилет, товарищ комиссар! — наклоняясь, проговорил связной, — я же докладывал, у него вся грудь разворочена! Что внутри и что в кармане — все теперь воедино смешано...

«Да что же я делаю?! — растерянно подумал Пастухов. — Ведь каждая минута дорога...»

— Быстро, взяли! — скомандовал он, приподнимая Горелова за плечи.

С трудом развернувшись в тесной землянке, они вынесли ротного наружу и уложили на носилки. Странный желтый туман по-прежнему мешал что-либо разглядеть даже вблизи.

— Под голову ему надо подложить, под голову! — бормотал Пастухов.

Связной нырнул обратно в землянку и выбежал оттуда, держа в руке солдатскую стеганку. Военфельдшер сложил ее вчетверо, наклонился, чтобы подложить в изголовье, и вдруг припал ухом к груди Горелова. Выпрямился и сказал:

— Все. Скончался.

— Врешь! — яростно крикнул Пастухов.

— Зачем врать, товарищ комиссар, — с обидой сказал военфельдшер. — Не дышит. Да и кровь ртом пошла, глядите.

Но заставить себя снова заглянуть в лицо Горелова Пастухов не мог. Руки и ноги его онемели, в горле стоял ком.

---

[1] ПМП — полковой медицинский пункт.

Наконец он проговорил:

— Несите туда. К главной высоте. Похороним на вершине.

Теперь Пастухов стоял один, окутанный желтым туманом. Где-то гудели самолеты. Слышались редкие орудийные выстрелы.

Глава XVIII

С того момента, как командующий 42-й армией Федюнинский доложил Жукову, что немцы начали артподготовку в районе Пулковских высот, командующий фронтом не отходил от телефонов.

Минут через двадцать к нему зашел Жданов.

— Георгий Константинович,— сказал он, — вы, конечно, знаете, что немцы снова обстреливают Пулковскую?

— Да.

— Сорок вторая просила штаб Балтфлота сосредоточить огонь Кронштадта на подступах к высоте.

Жуков кивнул.

— Но им ответили, — продолжал Жданов, — что вы приказали произвести все расчеты для ведения огня по району Финского Койрова. Словом, моряки утверждают, что им приказано держать на прицеле именно этот район и по другим объектам пока не стрелять.

— Не знаю, кто именно пожаловался, — хмуро сказал Жуков, — но все действительно обстоит так, как вы сказали. В Кронштадте создалось трудное положение, немцы ведут бомбежку кораблей. Трибуц сообщает, что в налетах участвует до двухсот семидесяти самолетов. В этих условиях единственная задача, которую я мог поставить перед моряками, — это по первому требованию обеспечить массированный огонь по Финскому Койрову. Учтите и другое: запас тяжелых артиллерийских снарядов в Кронштадте не беспределен.

Жданов опустился в кожаное кресло у стола, за которым сидел Жуков, побарабанил пальцами по массивному подлокотнику.

— Георгий Константинович, вы по-прежнему придерживаетесь своей гипотезы? — спросил он.

— Да, — сухо ответил Жуков. — Впрочем, теперь ждать уже недолго. Ближайшее будущее покажет.

— Но оно может решить и судьбу Ленинграда,— тихо проговорил Жданов.

— Из Ленинграда мы, пока живы, не уйдем. А убьют, так и уходить не придется, — со злой усмешкой сказал Жуков.

— Но если враг захватит Пулковскую...,

— Андрей Александрович, — прервал его командующий, — Пулковскую высоту обороняют сейчас дивизия народного ополчения, морская бригада и часть сил дивизии НКВД. На этом рубеже сосредоточен огонь нашей полевой и железнодорожной артиллерии. Большего дать не можем. Впрочем... я слежу за обстановкой.

— Хорошо. — Жданов встал. — Тогда я пойду. Сейчас должен приехать Козин с Кировского. В случае чего, буду у себя.

Жуков остался один. Он посмотрел на часы, нажал кнопку звонка и, едва порученец появился в дверях, приказал:

— Федюнинского!

Услышав в трубке голос командующего 42-й, Жуков отрывисто проговорил:

— Обстановку!

По характерным звукам в трубке он понял, что обстрел Пулковской высоты продолжается, и, когда Федюнинский начал докладывать, что немцы вот уже тридцать минут ведут ураганный огонь, прервал его на полуслове:

— Не глухой, слышу, как по тебе барабанят. В дальнейшем докладывай обстановку каждые полчаса.

— Товарищ командующий, — поспешно заговорил Федюнинский, боясь, что Жуков положит трубку. — Имею просьбу. Я звонил адмиралу Грену и просил огонька морской артиллерии. Но связь очень плохо работает. Кроме того, Грен вообще неважно слышит. Я вас прошу...

— Не хитри, — остановил его Жуков. — Грен тут ни при чем. Ты ведь уже жаловался на меня Жданову?.. Нет, говоришь? Ну, значит, это член Военного совета у тебя больно прыткий. Так вот: огонь из Кронштадта получишь своевременно и в нужном месте. Пока обходись своими силами. И каждые полчаса на провод, понял?

Повесив трубку, Жуков чуть усмехнулся — вспомнил ходивший в военных кругах анекдот о Грене, заслуженном морском артиллеристе, страдавшем недостатком слуха. Якобы на одном из совещаний по военно-морским вопросам Сталин обратил внимание на безучастно сидевшего морского командира и спросил наркома Кузнецова, кто это такой. Кузнецов дал Грену блестящую аттестацию. Сталин заметил вполголоса: «Тогда ему следует присвоить более высокое звание...» Сидевший в отдалении Грен немедленно вскочил и громко произнес: «Служу Советскому Союзу!..»

Всплывший в памяти анекдот на какое-то мгновение вернул Жукова назад, в мирное время... Однако в следующую секунду он снова был в настоящем.

«Что означает этот артобстрел?— уже в который раз за последние полчаса спрашивал себя Жуков. — Что это, подготовка к ставшей уже традиционной лобовой атаке высоты или отвлекающий маневр?»

Жуков по-прежнему был убежден, что фон Лееб попытается обойти высоту, и отдал на этот случай необходимые распоряжения. Кронштадтская артиллерия ждала команды, чтобы открыть огонь по району Финского Койрова, летчики-штурмовики готовы были вылететь в тот же район.

Но немцы меж тем продолжали ожесточенный обстрел Пулковской высоты и, казалось, даже не помышляли о ее обходе.

«Может быть, я не прав? — с тревогой думал Жуков. — Может быть, немцы по-прежнему будут ломиться напролом? Нет. Сколько можно повторять бесплодные попытки! Фон Лееба поджимает время. Он в цейтноте!»

Вошедший порученец доложил, что генерал Федюнинский просит командующего к телефону. Мельком взглянув на часы и отметив, что с момента их последнего разговора прошло менее получаса, Жуков схватил трубку.

Федюнинский докладывал, что пять минут назад обстрел закончился и вражеская пехота поднялась в атаку. Активности противника на фланге не наблюдается.

— Ладно, отбивай атаку! — приказал Жуков и повесил трубку.

«Черт побери! — сжимая кулаки, мысленно произнес он. — Неужели фон Лееб настолько туп, что в состоянии действовать только тараном? Неужели ему не приходит в голову возможность маневра?.. Нет, нет, — ответил он себе. — Гитлер не разрешит Леебу столько времени топтаться на месте! Фельдмаршал должен что-то предпринять!»

Бой за Пулковскую высоту подходил к концу, когда Федюнинскому позвонил командир дивизии народного ополчения генерал-майор Зайцев и доложил, что противник сосредоточивает огонь по его правому флангу.

Федюнинский поспешно вышел из туннеля. Едва он приник к окулярам стереотрубы, как прибежал его адъютант: генерал Зайцев снова просил командующего к телефону.

Комдив сообщил, что со стороны занятых немцами деревень Кискино и Гонгози появилось нечто похожее на дымовую завесу.

Федюнинский насторожился. «Что бы это могло значить? — думал он. — До сих пор противник не применял в этих местах никакой маскировки. Может быть, то, что Зайцев принял за дымовую завесу, просто клубы дыма от взорвавшегося у немцев склада с боеприпасами?.. Докладывать или не докладывать Жукову? Что, если это и в самом деле всего лишь пожар и я дезориентирую командующего? Нет, прежде всего надо убедиться самому».

То, что Федюнинский увидел справа, сразу же уничтожило все его сомнения: из района Финского Койрова, юго-западнее высоты, поднималось грязно-желтое облако и, постепенно разрастаясь, надвигалось на Пулковскую гряду.

Услышав от Федюнинского, что немцы ставят в районе Финского Койрова дымовую завесу, Жуков с размаху грохнул кулаком по столу.

— Что я говорил?! — крикнул он в трубку. В этом восклицании слились воедино и торжество от сознания сбывшегося предвидения, и тревога в связи с новой опасностью, и призыв к немедленному действию. — Теперь тебе ясно, что они хотят обойти высоту под прикрытием дыма?! Немедленно прикажи своим артиллеристам ставить заградительный огонь перед Кискином и Финским Койровом! Вам поможет Кронштадт и авиация. Дашь врагу прорваться — лучше не жить тебе на свете!

Прошли считанные минуты, и сотни снарядов обрушились на немецкие танки, двинувшиеся в обход высоты. Часть из них была уничтожена сразу, а уцелевшие и продолжавшие рваться вперед — намертво отсечены от живой силы, от тех солдат, которые должны были вслед за танками подняться в атаку.

Два артиллерийских полка и кронштадтская морская артиллерия в течение часа вели огонь по плацдарму, с которого немцы попытались обойти высоту, одновременно этот плацдарм бомбила авиация.

Командующий ВВС фронта Новиков доложил Жукову, что летчики наблюдают в Финском Койрове настоящий хаос: горящие машины, разбитые орудия и разбегающихся в панике немецких пехотинцев.

Попытка немцев обойти Пулковскую высоту была сорвана.

Но в тот же день новая страшная опасность нависла над Ленинградом: в одиннадцать часов вечера Жуков получил донесение, что противник полностью овладел Петергофом. Занявшие Петергоф моторизованные части соединились со стрельнинской группировкой врага.

Никто в Смольном, естественно, не знал, не мог знать, что 41-му моторизованному корпусу, который фон Лееб бросил на Петергоф, предстояло уже завтра быть отправленным на Московское направление, что фельдмаршал делал последнюю отчаянную попытку прорваться в Ленинград.

Жуков и Жданов исходили из одного: если врагу, сосредоточившему на побережье Финского залива крупные силы, удастся преодолеть еще несколько километров, бои перекинутся в Кировский район города.

Поэтому Военный совет на экстренно созванном заседании, длившемся всего несколько минут, принял постановление немедленно подготовить к разрушению Ленинградский железнодорожный узел и подходы к нему, после чего командующий фронтом сам выехал в Кировский укрепрайон.

Когда полковнику Бычевскому, находившемуся в 42-й армии, передали приказ немедленно явиться в штаб фронта, он решил, что его сейчас же направят куда-либо на строительство новых оборонитель-

ных укреплений. Прибыв в Смольный, он направился прямо к начальнику штаба. Однако адъютант генерала Хозина сказал, что ему следует пройти к секретарю Военного совета.

Невысокий молчаливый майор при появлении полковника поднялся, раскрыл, не говоря ни слова, одну из лежавших на столе папок, вынул оттуда листок бумаги и протянул ему.

До Бычевского, измученного двумя бессонными ночами, проведенными на передовой, не сразу дошел смысл отпечатанных на машинке строк. Он ошеломленно читал и перечитывал короткое постановление Военного совета. На него, а также на начальника отдела военных сообщений комбрига Тулупова и уполномоченного НКПС Бещева возлагалась подготовка к разрушению Ленинградского железнодорожного узла!..

Бычевский лихорадочно подумал о том, что, видимо, в последние часы произошло нечто катастрофическое. Узнав, что Жукова нет на месте, он бросился к генералу Хозину.

Начальник штаба говорил с кем-то по телефону. На столе лежала трубка, снятая с другого телефонного аппарата.

Увидев Бычевского, он прикрыл рукой микрофон и сердито бросил:

— Я занят!

— Извините, товарищ генерал, — настойчиво сказал Бычевский. — Я только что получил важнейший приказ... Мне надо уточнить.

— Выполняйте приказ! — резко сказал Хозин и, уже не глядя на Бычевского, заговорил в трубку: — Да, да, слушаю вас...

В это самое время в приемную Жданова быстро вошел начальник разведотдела штаба фронта Евстигнеев и, обратившись к полковому комиссару Кузнецову, попросил доложить, что у него неотложное дело.

Жданов сидел за письменным столом и что-то торопливо писал. Недопитый стакан крепкого, почти черного чая стоял в стороне.

Когда Евстигнеев вошел, он поднял голову и настороженно спросил:

— У вас что-нибудь новое?

— Андрей Александрович, — сказал, подходя к столу, Евстигнеев, — я только что заходил к командующему, но его нет на месте...

— Жуков на передовой, в районе больницы Фореля, — ответил Жданов, — я только что говорил с ним по телефону...

— Каково положение? — не смог удержаться от вопроса Евстигнеев.

— Танковая атака отбита, — все так же, скороговоркой, ответил Жданов, — но положение остается очень серьезным... Так что у вас, товарищ Евстигнеев? Садитесь. Слушаю.

Евстигнеев сел, машинально пригладил волосы.

— Андрей Александрович, — как всегда, неторопливо начал он, — вы помните, я в вашем присутствии докладывал командующему о донесении нашей разведгруппы из-под Луги?..

— Но ведь командующий уже высказал вам свое мнение, Петр Петрович, — раздраженно сказал Жданов. — И я с ним вполне согласен. Как можно в такой обстановке вести разговоры о каком-то отходе противника! Пока не будет весомых подтверждений, внушать себе подобные мысли просто опасно!

— Так точно, Андрей Александрович, — согласился Евстигнеев. — Но дело в том, что речь идет именно о новых подтверждениях.

— Неужели?! — взволнованно проговорил Жданов, но взял себя в руки и сухо и требовательно спросил: — Каковы они и от кого?

— Подтверждений два. Одно от нашей разведгруппы. Другое — от товарищей из НКВД.

— Что именно сообщает НКВД? Доложите подробнее.

— Слушаюсь, — кивнул Евстигнеев. — Еще в начале июля погиб сотрудник НКВД капитан госбезопасности Кравцов. Он инспектировал разведывательно-диверсионные группы, создаваемые в районах Острова и Пскова, на территории, которая была тогда еще в наших руках. Поезд, в котором этот капитан ехал, попал под бомбежку, Кравцову пришлось добираться пешком. Как раз в это время немцы прорвались к Острову. Кравцов был схвачен и расстрелян.

— Какое это имеет отношение?.. — перебил его Жданов.

— Сейчас доложу, Андрей Александрович, — опять кивнул Евстигнеев. — Так вот, этот Кравцов успел объехать группы, проверить их боеспособность, передать шифры, пароли — словом, все, что полагается. В одной из групп, перешедшей уже на нелегальное положение, обнаружились какие-то неполадки с питанием для рации. Кравцов обещал достать батареи в Белокаменске и завезти их в группу на обратном пути в Ленинград. Как я уже доложил, доехать ему не удалось. Однако он успел через своего случайного попутчика, ленинградского студента, передать шифрованную фразу, означавшую, что в районе Пскова группа существует и заслуживает полного доверия. Студент добрался до Ленинграда, явился в управление НКВД и сообщил то, что ему было поручено.

— Я снова спрашиваю: какое все это имеет отношение к делу?.. — раздраженно повторил Жданов.

— Сейчас объясню, Андрей Александрович. Ведь вы приказали докладывать подробно... Так вот, несмотря на то, что шифрованная фраза была передана, у чекистов оставались сомнения насчет той разведгруппы. Обстоятельства гибели Кравцова были туманны. Настораживал и тот факт, что студенту удалось прибыть в Ленинград целым и невредимым, хотя, судя по его словам, они после бомбежки доби-

рались вместе с Кравцовым. Короче говоря, прежде чем полагаться на псковскую группу, надо было как-то перепроверить показания студента, убедиться в том, что он получил задание именно от Кравцова.

Жданов бросил взгляд на часы, но слушал внимательно.

— Студент утверждал, — продолжал Евстигнеев, — что у Кравцова был с собой тяжелый чемодан, который ему пришлось бросить в озеро. Месторасположение этого озера студент более или менее точно указал на карте. В середине августа чекисты поручили партизанскому отряду, начавшему действовать в том районе, отыскать этот пруд или озеро и постараться выловить чемодан. Вскоре поступило сообщение, что чемодан извлечен из воды. В нем действительно оказались батареи для питания рации.

— И что же из этого следует?

— А то, что студент говорил правду, поручение он получил действительно от Кравцова и, следовательно, на информацию псковской группы полагаться можно.

— Но ведь у них не было питания для рации?

— Очевидно, удалось раздобыть на месте. Так вот, только что от них поступило сообщение, в точности совпадающее с донесениями наших разведчиков из-под Луги: колонны немецких войск движутся от Ленинграда к Пскову.

Евстигнеев умолк. Молчал и Жданов.

«Неужели это правда?! — думал Жданов. — Неужели Гитлер пришел к выводу, что не в силах овладеть Ленинградом, и перебрасывает войска на другой фронт, для другой операции?! Но что тогда означает сегодняшнее наступление в районе Петергофа? Главное, не принять желаемое за действительное! Может быть, то, о чем сообщает Евстигнеев, — всего лишь смена частей и взамен войск, отводимых на юг, сюда посланы другие соединения? Но в таком случае трудно объяснить, почему колонны, движущиеся от Ленинграда, обнаружены нашей разведкой, а части, идущие им на смену, остались совершенно незамеченными! Вряд ли можно перебросить значительные танковые и моторизованные соединения скрытно, в обход, по бездорожью».

— Значит, вы полагаете, — тихо произнес наконец Жданов, — что немцы отказываются от своей цели и...

— Нет, Андрей Александрович, — твердо ответил Евстигнеев, — такой вывод был бы преждевременным. Тем более что я только что получил донесение от разведчиков сорок второй армии: на петергофском участке фронта обнаружены убитые и захвачены пленные из двести пятьдесят первой и пятьдесят восьмой дивизии противника.

— Как? Позвольте!.. — воскликнул Жданов и, вскочив из-за стола, подошел к висящей на стене карте. — По вашим же сведениям, эти дивизии находятся на Красногвардейском и Пулковском направлениях!

— Так точно, — ответил, тоже поднимаясь с места, Евстигнеев, — они были там. А сейчас, после неудачи с обходом Пулковской высоты, по-видимому, переброшены под Петергоф.

Снова наступило молчание.

— Значит, двести пятьдесят первая и пятьдесят восьмая... — повторил Жданов и переставил синие флажки на карте. Некоторое время он напряженно всматривался в конфигурацию линии фронта, потом повернулся к Евстигнееву:

— Немедленно подготовьте донесение обо всем этом в Москву.

— Но командующий... — с сомнением проговорил Евстигнеев. Однако Жданов прервал его:

— Командующий требовал подтверждения. Теперь вы его имеете. Готовьте донесение и лично отнесите его товарищу Жукову, как только он вернется в Смольный.

Евстигнеев ушел.

Глаза у Жданова болели от бессонных ночей, на мгновение он закрыл их, и ему показалось, что под веками — сотни мелких острых песчинок.

Он потушил верхний свет, потом прикрыл газетой зеленый абажур настольной лампы.

«Что же все это значит?! — мучительно спрашивал он себя, ходя взад-вперед по кабинету. — Каковы истинные намерения гитлеровцев? Является ли сегодняшнее наступление последним отчаянным рывком или началом новой серии ударов? Но если это так, то почему они отводят часть войск? Но, может быть, сведения Евстигнеева односторонни? Может быть, разведчики, которым удалось зафиксировать отвод немецких соединений на юг, проглядели переброску новых частей врага к Ленинграду? Может быть, этот отвод части войск не более чем хитрый маневр с целью ослабить бдительность защитников города?»

Жданов старался объективно сопоставить факты, чтобы найти единственно правильный ответ. И хотя ему страстно хотелось, чтобы предположение Евстигнеева оправдалось, хотя он понимал, что два с половиной месяца героического сопротивления бойцов Ленинградского фронта не могли пройти для врага бесследно, что немцам приходится вести бои на гигантском фронте и бесконечно держать значительную часть своих войск под Ленинградом они не в состоянии, тем не менее он не спешил с окончательными выводами. Он отдавал себе отчет в том, что малейшее самоуспокоение, малейший просчет могут оказаться сейчас гибельными.

Поздно ночью вернувшийся из Кировского укрепрайона Жуков вызвал Евстигнеева для очередного доклада и в конце как бы между прочим спросил:

— Вы подготовили для Москвы те свои разведданные?

Евстигнеев не удивился вопросу командующего, совсем недавно категорически запретившего передавать в Ставку какие-либо сведения об отходе части немецких войск. Он уже знал, что Москва, видимо,

получившая аналогичную информацию по другим каналам, сама запросила у командования Ленфронта разведданные о положении четвертой танковой группы немцев. Поэтому на вопрос Жукова Евстигнеев ответил как ни в чем не бывало: «Так точно, донесение подготовлено».

Командующий внимательно поглядел на Евстигнеева и, слегка прищурившись, сказал:

— Правильно сделал. Иди передавай. Но обольщаться рано. Враг может в любой момент предпринять новую попытку прорваться в город.

В тот час Жуков еще не знал, что враг отчаялся взять город штурмом и возлагает теперь свои надежды на блокаду.

Пройдут годы, и по ту сторону границы, разделяющей новый и старый миры, найдутся люди, которые попытаются фальсифицировать и эту главу битвы советского народа с немецким фашизмом.

Они станут объяснять причину того, что немцам не удалось ворваться в Ленинград, чем угодно, только не героическим сопротивлением ленинградцев.

Они будут утверждать, что главная причина неудачи фон Лееба заключалась в том, что ему пришлось перебросить часть войск на Центральное направление.

Они будут стыдливо замалчивать тот факт, что войска фон Лееба, блокировав Ленинград, более двух недель в полном своем составе штурмовали город, но сломить сопротивление советских войск так и не смогли.

Они утаят и то, что уже в конце сентября, когда советские войска, нанеся южнее Ладожского озера удар по 16-й немецкой армии и отбросив их 8-ю танковую дивизию, сузили участок, занятый противником на левом берегу Невы, Гитлер снова начал посылать под Ленинград подкрепления. Он приказал направить туда два полка парашютистов и один пехотный, забрав их у фон Бока, и, кроме того, разрешил фон Леебу задержать моторизованную дивизию, предназначенную для переброски под Москву.

Но ничто не помогло.

Советские войска оказали решительный отпор врагу. Стойкость и героизм бойцов Красной Армии, ополченцев, моряков Балтийского флота, летчиков, всего населения города Ленина — вот что было причиной неудачи немецких войск под Ленинградом.

Глава XIX

Да, Ленинград выдержал натиск фашистских полчищ. Снова штурмовать Пулковскую высоту фельдмаршал фон Лееб не без оснований считал бессмысленным. Все попытки немцев прорваться к городу по берегу Финского залива тоже провалились. По-прежнему передний край проходил у больницы Фореля, но дальше врагу не удалось продвинуться ни на шаг.

На побережье фон Лееб попытался взять реванш: не сумев прорваться к Кировскому заводу, немцы ударили на Ораниенбаум. Трое суток не умолкало сражение на Бабигонских высотах. Два полка и танки бросил враг на рубеж, который в те дни обороняла всего одна стрелковая рота и отряд морской пехоты. Но каждый метр земли враг оплачивал здесь сотнями жизней своих солдат.

На рассвете 22 сентября после ожесточенной артподготовки враг предпринял наступление на Новый Петергоф. На подступах к Розовому павильону их встретил огнем ополченский пулеметно-артиллерийский батальон. До поздней ночи гремел бой. Артиллеристы выкатили орудия на открытые позиции и прямой наводкой расстреливали противника. Они защищали павильон до последней возможности, а потом, подорвав орудия, отошли на правый фланг укрепленного района.

На следующий день наши части начали ожесточенную контратаку, отбили у врага платформу «Фонтаны» и снова вышли к Розовому павильону. Попытка немцев прорваться к Ораниенбауму и уничтожить Кронштадт была сорвана.

В этих боях кадровые бойцы и ополченцы сражались бок о бок с моряками Балтийского флота и рабочими-судостроителями.

По-прежнему на шее Ленинграда была затянута удавная петля блокады. Но рвануть веревку столь сильно, чтобы задушить город, фон Лееб не мог. Всю свою злобу, всю горечь неосуществившихся надежд вложил он теперь в бомбардировку и обстрел города.

Стремясь отрезать Кронштадт от Ленинграда и уничтожить корабли, вражеская артиллерия обстреливала Морской канал и рейд. Уже были выведены из строя линкор «Марат», крейсер «Киров», миноносец «Грозящий»...

Непрерывный грохот сотрясал стены ленинградских домов: рвались на улицах немецкие снаряды, не умолкала и наша артиллерия, в воздухе в смертельной карусели кружились немецкие и советские самолеты.

В городе ежедневно регистрировалось до двухсот пожаров, сотни раненых жителей поступали в больницы.

Но по-прежнему в три смены работали заводы, и рабочие отходили от станков, лишь когда бомбы или снаряды рвались в непосредственной близости.

Лозунг «Все для фронта, все для победы», которым жила теперь вся страна, приобрел особое значение для города, на пороге которого стоял истекающий кровью, но все еще яростный враг...

В полночь пятого октября начальник Управления связи фронта генерал Ковалев известил Жукова, что в два часа с ним будет говорить Ставка. Зная распорядок работы Верховного, Жуков не сомневался, что разговор предстоит с ним самим.

Жуков подошел к картам, разложенным на длинном столе, и склонился над ними. Готовясь к докладу, он хотел подвести итоги на сегодня, суммировать для себя события, происшедшие на фронте за этот неполный месяц — с тех пор, как он прибыл сюда.

«Итак, — размышлял Жуков, — фронт под Ленинградом стабилизовался. Пятьдесят пятая армия прочно удерживает позиции по линии Пулково — Большое Кузьмино — Путролово — Новая. Все попытки врага прорвать нашу оборону в районе Колпина провалились.

42-я армия закрепилась на рубеже Лигово — Нижнее Койрово — Пулково. На участке Петергоф — Стрельна противнику удалось выйти к Финскому заливу, пользуясь тем, что части 8-й армии оказались отрезанными от основных сил Ленинградского фронта.

Предпринятая нашим командованием в конце сентября попытка разорвать кольцо «изнутри» успехом не увенчалась, двум дивизиям и морской бригаде, брошенным через Неву на Невскую Дубровку, северо-западнее станции Мга, удалось захватить по ту сторону Невы лишь небольшой плацдарм. Безрезультатно закончилась и высадка десанта балтийских моряков в Петергофе, предпринятая, чтобы рассечь вражеский «петергофский клин» и помочь частям 8-й армии, находящимся в районе Ораниенбаума, соединиться с правофланговой дивизией 42-й армии. Десант погиб в неравном бою.

Балтийский флот прочно удерживает все важнейшие опорные пункты в заливе. О героической обороне полуострова Ханко и островов Койвисто, Тиурин-сари и Пий-сари Верховный, конечно, знает из докладов наркома Военно-Морского Флота. Впрочем, он вообще прекрасно осведомлен о положении под Ленинградом.

Вопрос, который Сталин, несомненно, задаст, будет таким: надолго ли, по мнению Военного совета, стабилизировался здесь фронт?

Что ж, если немцы и в самом деле отказались от намерения взять город штурмом и возлагают теперь основные надежды на блокаду, то они будут стремиться упрочить осадное кольцо, закрыть единственный путь, соединяющий Ленинград с Большой землей — по Ладожскому озеру и далее от его восточного берега в глубь страны по железной дороге. В этом случае фашисты, наверное, предпримут очередное наступление с рубежа реки Волхов, в северо-восточном направлении.

Но полностью исключить возможность новых попыток прорвать линию обороны Ленинграда тоже нельзя. И об этом надо сказать Сталину...»

В своих прогнозах на будущее Жуков был осторожен. Он учитывал тот непреложный факт, что более двадцати немецких дивизий, несколько бригад и финская армия по-прежнему стоят под Ленинградом, и расстояние, отделяющее их от города, измеряется считанными километрами.

Он не знал и не мог знать о том, что фельдмаршал фон Лееб уже послал в ставку фюрера телеграмму, в которой вынужден был признать, что оставшимися в его распоряжении силами продолжать дальнейшее наступление на Петербург не в состоянии.

Жуков не знал и не мог знать также, что в те дни даже сам Гитлер внутренне смирился с бесславным поражением под Ленинградом и, утешая себя мыслью, что задушит город голодом, разрушит его огнем артиллерии и ударами с воздуха, уже дал генштабу указание немедленно начать осуществление новой операции под кодовым названием «Тайфун»: армейская группировка фон Бока, усиленная соединениями, переброшенными с севера от фон Лееба и с юга от Рунштедта, должна была перейти в решительное наступление на Москву.

Всего на шесть — восемь недель планировал Гитлер восточную кампанию, печально знаменитый «блицкриг». Прошло пятнадцать недель с того раннего утра, когда его войска вторглись на территорию Советской страны. Но не только главная цель войны — сокрушить Советское государство — не была достигнута, по-прежнему оставались неприступными Ленинград и Москва. И вот теперь поход на советскую столицу стал решающей ставкой Гитлера...

Без десяти два Жуков спустился из своего кабинета на втором этаже в подвальное помещение, где размещался переговорный пункт, и направился к аппарату, непосредственно связывавшему Смольный со Ставкой Верховного Главнокомандующего.

Больше трех недель прошло с того момента, как Жуков по этому же аппарату доложил Сталину о вступлении в должность командующего фронтом.

Сегодня Жуков с полной ответственностью мог утверждать, что неоднократные попытки врага взять Ленинград штурмом провалились, что противник понес огромные потери и захватить город сейчас не в силах.

Стараясь ничем не проявить своего волнения, Жуков кивком головы ответил на приветствие вытянувшегося при его появлении телеграфиста, положил на край столика блокнот, взглянул на ручные часы и приказал:

— Передавайте. У аппарата Жуков.

Пальцы телеграфиста пробежали по клавишам.

Ответ на узкой бумажной ленте последовал тут же:

— С вами будет говорить товарищ Сталин. Ждите.

Прошло несколько томительных минут. Аппарат на мгновение ожил и снова умолк. Жуков подхватил ленту, поднес к глазам. На ней было отпечатано всего одно слово:

— Здравствуйте.

— Здравия желаю! — продиктовал в ответ Жуков и раскрыл свой блокнот.

Снова поползла лента.

Было необычно читать на ней не сухие, строго официальные слова приказа, а почти разговорную речь. Казалось, что Сталин не диктует, а ведет беседу.

— У меня к вам один вопрос, — отбивал аппарат, — не можете ли сесть в самолет и прилететь в Москву? Ввиду осложнения обстановки на левом крыле Резервного фронта, в районе Юхнова, Ставка хотела бы с вами посоветоваться о необходимых мерах. За себя оставьте кого-либо, может быть, Хозина.

Лента остановилась.

Всего чего угодно мог ожидать Жуков, только не вызова в Москву. Прошли мгновения, прежде чем он осознал, что доклада от него не требуется и что Сталин пригласил его к аппарату по совершенно иной причине.

Жуков захлопнул блокнот, отодвинул его в сторону и поспешно продиктовал:

— Прошу разрешения вылететь рано утром шестого октября.

— Хорошо. Завтра ждем вас в Москве, — ответил Сталин.

Аппарат замер. Разговор был окончен.

Конец третьей книги

Александр Борисович Чаковский

БЛОКАДА

(Книга третья)

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ Редактор В. ШАТЫГИН

Художественный редактор *Г. Масляненко* Технический редактор *Т. Таржанова*
Корректор *Т. Кибардина*
Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 24/I-1972 г. Подписано в печать 1/III-1972 г. А05841. Бумага 84×108 1/16. 7 печ. л, 11,76 усл. печ. л, 14,91 уч.-изд. л. Тираж 1 500 000, 1-й завод: 1—1 000 000 экз. Заказ 152. Цена 48 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1, Кронверкская, 7